

# НИЖНИЙ НОВГОРОД

ISSN 2313-836X

NIZHNY NOVGOROD 4(45)/2022



АНДРЕЙ  
КОРОВИН  
Подольск

4



АНДРЕЙ  
ДМИТРИЕВ  
Нижний Новгород

9



ВИКТОР  
ЛЯПИН  
Костово

15



ЛЮДМИЛА  
ТОБОЛЬСКАЯ  
Джорданвилл, США

26



МИХАИЛ  
ПЕСИН  
Нижний Новгород

69



ТАТЬЯНА  
БАТУРИНА  
Волгоград

77



ЮРИЙ  
ФАНКИН  
Муром

82



ПАВЕЛ  
ЛАПТЕВ  
Вькса

101



СВЕТЛАНА  
РИВЕРА  
Нижний Новгород

105



МАРИНА  
БУШУЕВА  
Москва

107



ВЛАДИМИР  
ВАСИЛИНЕНКО  
Хабаровск

115



АЛЕКСАНДР  
ВЫСОЦКИЙ  
Нижний Новгород

170



РУСТАМ  
МАВЛИХАНОВ  
Салават

176



НИКОЛАЙ  
БЕНЕДИКТОВ  
Нижний Новгород

191



АЛЛА  
НОВИКОВА-  
СТРОГАНОВА  
Орел

199

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

# НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y   N O V G O R O D   4 ( 4 5 ) / 2 0 2 2



АНДРЕЙ  
КОРОВИН  
Подольск

4



АНДРЕЙ  
ДМИТРИЕВ  
Нижний Новгород

9



ВИКТОР  
ЛЯПИН  
Кстово

15



ЛЮДМИЛА  
ТОБОЛЬСКАЯ  
Джорданвилл, США

26



МИХАИЛ  
ПЕСИН  
Нижний Новгород

69



ТАТЬЯНА  
БАТУРИНА  
Волгоград

77



ЮРИЙ  
ФАНКИН  
Муром

82



ПАВЕЛ  
ЛАПТЕВ  
Выкса

101



СВЕТЛАНА  
РИВЕРА  
Нижний Новгород

105



МАРИНА  
БУШУЕВА  
Москва

107



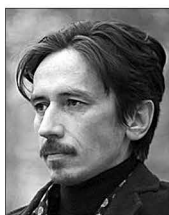
ВЛАДИМИР  
ВАСИЛИНЕНКО  
Хабаровск

115



АЛЕКСАНДР  
ВЫСОЦКИЙ  
Нижний Новгород

170



РУСТАМ  
МАВЛИХАНОВ  
Салават

176



НИКОЛАЙ  
БЕНЕДИКТОВ  
Нижний Новгород

191



АЛЛА  
НОВИКОВА-  
СТРОГАНОВА  
Орел

199

16+

## В НОМЕРЕ

### *Поэзия*

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>Андрей КОРОВИН</b>                      |    |
| ...НО ВСЁ-ТАКИ ЛЕТАТЬ НЕОБХОДИМО . . . . . | 4  |
| <b>Андрей ДМИТРИЕВ</b>                     |    |
| КЛИКНИ НАДЕЖДУ ПО ССЫЛКЕ . . . . .         | 9  |
| <b>Виктор ЛЯПИН</b>                        |    |
| НАСЛАЖДЕНИЕМ ТЫ БЫЛА... . . . .            | 15 |

### *Проза*

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>Павел ЧХАРТИШВИЛИ</b>            |    |
| НЕПРЕКЛОННЫЙ ГОЛОС . . . . .        | 19 |
| <b>Людмила ТОБОЛЬСКАЯ</b>           |    |
| РЯБКОВСКИЙ ПОВОРОТ . . . . .        | 26 |
| <b>Владимир ГУЛЯЕВ</b>              |    |
| НЕ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС . . . . .         | 42 |
| <b>Денис КОЛОМИЕЦ</b>               |    |
| МАМА, Я ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ . . . . . | 47 |
| <b>Андрей ПУЧКОВ</b>                |    |
| УДАЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ . . . . .           | 52 |

### *Поэзия*

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>Михаил ПЕСИН</b>                        |    |
| СЧАСТЛИВЫЕ СОЗВУЧЬЯ . . . . .              | 69 |
| <b>Денис КАЛЬНОВ</b>                       |    |
| ШАГ В БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОЕ ЕСТЬ ШАГ . . . . . | 74 |
| <b>Татьяна БАТУРИНА</b>                    |    |
| ЦЕВНИЦА . . . . .                          | 77 |

### *Проза*

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Юрий ФАНКИН</b>                |     |
| ПРОПАЛО КОЛЕЧКО... . . . .        | 82  |
| <b>Павел ЛАПТЕВ</b>               |     |
| САЛОН КРАСОТЫ . . . . .           | 101 |
| <b>Светлана РИВЕРА</b>            |     |
| НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ . . . . . | 105 |
| <b>Мария БУШУЕВА</b>              |     |
| ТРИ ЛЕГКИЕ УЛЫБКИ . . . . .       | 107 |
| КОГДА ВСЕ СПЯТ . . . . .          | 109 |
| ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ . . . . .           | 112 |

### *Из будущих книг*

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>Владимир ВАСИЛИНЕНКО</b>    |     |
| СВЕТЛЕЙШИЙ АЛЕКСАШКА . . . . . | 115 |
| <b>Марина ТАРАСОВА</b>         |     |
| УМРИ ВМЕСТО МЕНЯ . . . . .     | 148 |

## *Стихи по кругу*

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Валерий СУХОВ</b> . . . . .      | 163 |
| <b>Михаил ПОПОВ</b> . . . . .       | 166 |
| <b>Арсений ЛИ</b> . . . . .         | 167 |
| <b>Петр РОДИН</b> . . . . .         | 168 |
| <b>Алексей ШИХАЛЁВ</b> . . . . .    | 169 |
| <b>Александр ВЫСОЦКИЙ</b> . . . . . | 170 |
| <b>Мстислав ШУТАН</b> . . . . .     | 171 |
| <b>Евгений ХАРИТОНОВ</b> . . . . .  | 172 |
| <b>Сергей УТКИН</b> . . . . .       | 173 |
| <b>Олег ИГНАТЬЕВ</b> . . . . .      | 174 |

## *Нон-фикшен*

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>Рустам МАВЛИХАНОВ</b><br>СОБИРАЯ ПЛОДЫ . . . . . | 176 |
|-----------------------------------------------------|-----|

## *Публицистика*

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Николай БЕНЕДИКТОВ</b><br>ТРУДНЫЙ ПУТЬ СБЛИЖЕНИЯ?<br>Истоки социализма – в идеях христианства . . . . . | 191 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## *Вехи памяти*

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА</b><br>«РУСЬ, КАК МОЛИТВУ, ТВЕРДИ НАИЗУСТЬ»<br>155 лет со дня рождения Константина Бальмонта . . . . .      | 199 |
| <b>Галина МУХИНА</b><br>«ОН БЫЛ ПОХОЖ ТОЛЬКО НА РУССКОГО И ЕЩЁ НА СЕБЯ САМОГО»<br>200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева . . . . . | 209 |

## *Литпроцесс*

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Елена КРЮКОВА</b><br>ВДОХ И ВЫДОХ<br>О библейских и евангельских образах и сюжетах в русской литературе . . . . .                       | 219 |
| «СТАРИК ЕРЁМИН НАС ЗАМЕТИЛ...» . . . . .                                                                                                   | 223 |
| <b>Татьяна КРИНИЦКАЯ</b><br>ЧЕЛОВЕК ДОЛГОЙ ДОРОГИ<br>О книге Евгения Шишкина «Николай Булганин.<br>Рядом со Сталиным и Хрущевым» . . . . . | 230 |
| О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН<br>О романе Елены Арсеньевой «Лукавый взор» . . . . .                                                                | 236 |

### Андрей КОРОВИН

Поэт, прозаик, руководитель культурных проектов. Родился в 1971 году в п. Первомайском г. Щёкино Тульской области. Окончил Юридический институт МВД РФ (гражданско-правовое отделение), Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького (семинар поэзии Ю. П. Кузнецова). Работал в тульских газетах, в московских СМИ – телекомпании ТСН, на телеканале М1, в ВГТРК.

Автор одиннадцати поэтических книг. Стихи переведены на десять языков мира. Проза публикуется в сборниках издательства «ЭКСМО». Руководитель международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь», Литературного салона в музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва) и других проектов. Живёт в Подольске.

## ...НО ВСЁ-ТАКИ ЛЕТАТЬ НЕОБХОДИМО

### Кидекша

воспоминание о Суздале (начало)

мы лежали с тобой в реке  
в её глинистом молоке  
и в песчаном иле  
в сундуке её в рукаве  
и в прибрежной густой траве  
мы о времени позабыли

и плыла над рекой река  
из небесного молока  
из молочного её ила  
нам казалось что на реке  
мы от времени вдалеке  
и река нас с тобой поила

плыли волосы по воде  
плыли рыбы среди людей  
барражировали стрекозы  
в речке Каменке на Нерли  
мы влюбиться с тобой смогли  
в полотняные эти росы

и холодный старинный храм  
открывавшийся всем ветрам



нас провёл на пустые хоры  
и смотревшие нам в глаза  
облетевшие образа  
наши слушали разговоры

мы слышали тишину  
по воде прошли и по дну  
замороженные вернулись  
и смотрели на нас с небес  
охранители этих мест  
мы ни разу не обернулись

## Тёплая Суздаль

воспоминание о Суздале (продолжение)

тёплая Суздаль и пряничный кремль на пригорке  
раньше был вал а теперь только малые горки  
речка змеится чтоб весело Богу молиться  
Суздаль шептали девица а может быть птица

тёмная Суздаль в реке молодые русалки  
шепчутся девы играют с купальщиком в салки  
тайные игры во тьме очарованной ночи  
за руки тянут и пятки нахалки щекочут

долгая Суздаль давно я здесь кажется не был  
тянется память морозною строчкой по небу  
если любовь бесконечна то память нетленна  
память о нас это тёплые звёзды вселенной

## Тёмная Суздаль

воспоминание о Суздале (продолжение)

о тёмной Суздали о солнечной печали  
мы целый век с тобой зачем-то промолчали  
и жизнь прошла и боль прошла считай – эпоха  
и только Суздаль все цветёт себе дурёха

да что ей судьбы этих призраков ходячих  
она видала здесь и конных и подъячих  
здесь все эпохи как одна перемешались  
в реке как камешки любви пообчесались

никто не помнит как их звали что им пели  
да разве важно это всё на самом деле  
лишь только камешки в реке дрожат неслышно  
да комары в траве шуршат почти прилично

здесь и пейзажи как старинные иконы  
и старый город в них глядит многооконно  
и в доме треснувшем вещает половица  
когда проходит мимо добрая девица

ладья мне вспомнилось из ночи выплывала  
ты всем русалкам проплывающим кивала  
я с головой нырял в соцветие речное  
и что-то нежное случалось и ручное

## Ночное купание в Каменке

воспоминание о Суздале (продолжение)

помню ладью что в ночи на меня выплывала  
помню русалок ты им головою кивала  
помню как мы раздевались стесняясь друг друга  
— первая я, отвернись — говорила подруга

я не смотрел как ты платье земное снимала  
как твою грудь темнота за спиной обнимала  
как полетели в траву белоснежные крылья  
как ты вошла в эту воду почти без усилия

— я же просила! — ты мне обернувшись сказала  
в мягком наречье дрожали мембраны металла  
я улыбался тебе через сумерки ночи  
что я там видел лишь твой силуэт непорочен

в вязкой воде тяжело обнажённое тело  
ты уплыла на тот берег и выйти хотела  
тут же меня окружили стихии ночные  
ветки и листья и тёмные девы речные

— кто ты? — я крикнул  
и ты мне ответила:  
— птица  
птица речная  
ночная кружится водица  
то что случилось со мною осталось со мною  
тёмное небо стоит у меня за спиною

\* \* \*

как вкусно пахнет мыслями природы  
о вечере о звёздах о дожде  
дрожат призывно трепетные воды  
стрекочет в палисаднике диджей

кричит в кустах какая-то жар-птица  
бросает вызов небу иван-чай  
бежит купаться голая девица  
природу возбуждая невзначай

парит река над лесом пролетая  
не сходятся друг с другом берега  
и выбегает женщина нагая  
бросается с разбега в облака

\* \* \*

тянитесь одуванчиками вверх  
зелёными худыми стебельками  
как тянется к подсолнцу челOVERX  
чтоб подключиться к абсолютной каме

в розетке солнца – не евроразъём  
но каждый одуван – земная вилка  
наш каждый день – подсолнечный заём  
земля – одна огромная копилка

мы – одуваны мы сперва цветём  
а после засыпаем отцветая  
но всё равно до старости поём  
слова роняем в небо улета

\* \* \*

деревня примостилась у реки  
все люди в мире – только рыбаки  
хоть каждый был на миг в душе джедаем  
коль нет у рыб простого языка  
не дрогнет даже женская рука  
мы молчаливых заживо съедаем

закинуть сети с вечера на ночь  
ночное небо в омуте толочь  
где среди звёзд подлещик или щука  
у чайки рыбу снимешь с языка  
и заворчит запенится река  
ночная память тяжкая наука

допустим рыбинспектор будет строг  
оставит и без рыб и без сапог  
он как назло тут рядом приселился  
но сеть стоит на каждого из нас  
и каждый пойман пусть не в этот раз  
и из воды на небо приземлится

\* \* \*

я знаю что вы сделали прошлым летом  
вы молодые тучи распарывали джилетом  
и выпускали свет из брюшины поднебесья  
знаю всех поимённо  
Дима Света Ирина Роман Олеся

вы молодые повесы транжиры света  
свет для вас лишь игрушка приправа лета  
вам бы в нём как в пиратской реке купаться  
в свет опускать как в мёд золотые пальцы



что ж вы наделали как вы могли такое  
свет иссякает как на картинах Гойи  
света осталось мало совсем на донце  
сердится небо  
свет это дети солнца

\* \* \*

янтарные глаза — на солнце виноград  
как светятся они смолой в овальной раме  
янтарные глаза как ягоды висят  
на веточках бровей в их огненной гамме

вот носа тонкий ствол вот губ её побег  
вот скалы мягких скул вот робкий подбородок  
вот холмогорье лба где бродит человек  
вот волосы летят беспечно от природы

как солнечная дань — янтарь и виноград  
и медь её волос звенящая от зноя  
янтарные глаза от дерзости горят  
и вспыхивает взгляд случайною слезою

\* \* \*

ни облачка ни яблочка ни дыма  
но всё-таки летать необходимо  
летать важнее даже чем дышать  
мы дышим молодыми мотыльками  
и в воздухе парим над облаками  
нас можно как коктейль перемешать

когда в крови дыхание мотыльково  
мы в ткань крыла преобразуем слово  
поэзия и есть земной полёт  
и те кто может крылья ткать словами  
как облака парят над головами  
и их сбивают снайперскими — влёт

но не противься восходящей силе  
летать опасно испокон в России  
но летунами родина сильна  
на крыльях оловянных деревянных  
разбитых запрещённых покаянных  
пока мы живы — держится страна

## Андрей ДМИТРИЕВ

Родился в 1976 году в г. Бор Горьковской области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Служил в милиции, работал в частных охранных структурах. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская».

Автор трех сборников стихов. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Нева», «Дружба народов», «Новая Юность», «Юность», «День и ночь», «Бельские просторы», «Байкал» и других, а также в сетевых изданиях. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Нижнем Новгороде.

## КЛИКНИ НАДЕЖДУ ПО ССЫЛКЕ

\* \* \*

Вдали от моря продуктивна память,  
с подошв которой золото песка  
пока стряхнуть не в силах та тоска,  
что, улыбнувшись волчьими зубами  
и сделав моментальный снимок, шлёт  
портрет по электронной почте в каждый  
досужий час. В ответ вздохнёшь протяжно.  
Нога судьбы – в штанине летних шорт.

Какой-то пляж под цитрусовым солнцем.  
Волна щекочет пятки праздных дев,  
чей мокрый шпиг, как огнегривый лев  
в миниатюре, за мячом несётся.  
Вдали гарцует катер, сделав круг:  
следить за ним – отождествляться с ветром.  
Резвятся дети – их святая вера  
в простое чудо – шанс, что не каюк.

Сидишь на валуне – швыряешь гальку  
в зеленоватый омут прежних дум.  
Июльский зной спадает ближе к двум,  
чего особенно зимой так жалко.  
Дербанят корку хлеба воробьи –  
единственно уместные вторжение  
и авианалёт, поскольку жертвой  
лишь булка стала (кстати, по любви).

Курортных улиц пряная тесьма –  
привязывает время оно к месту.  
Мы – выпавши из сводного оркестра –  
насвистываем сольно адреса

домов с наделом пышущей земли,  
где персики в союзе с виноградом  
доступным раем ждут из-за ограды  
того, кто вместе с ними в корень зрил.

Но тут губу прикусишь и вернёшь  
себя из тех разнеженных идиллий,  
чьи нынче льются слёзы крокодилы  
по поводу того, что правят нож  
и плеть. Метеоцентр прочит дождь –  
свинцом налиты тучи, жмёшься в угол,  
откуда наблюдал недавно выюгу  
в окне, всем телом ощущая дрожь.

Вдали от моря – только не вдали  
от горя. Не нырнуть с разбега  
в живую воду, зная, что калекой  
оставлена во рву команды «Пли!»  
сама природа счастья. Ставишь фильм,  
где всё ещё надеялись актёры  
изобразить раздёрнутые шторы,  
а в дом уже вползал тревожный дым.

\* \* \*

Вот фавн крадётся, а взглядишься – кошка,  
и так во всём фантастика несёт  
урон, когда реальность – будто коршун –  
на нас летит с обрушенных высот.  
Внимает грёзам старая колдунья –  
прикрыв глаза, тайком ушла в астрал,  
а подойдёшь поближе – баба Дуня  
на лавке у подъезда уж с утра

на солнце млеет, заступив на вахту,  
как наблюдатель за войной миров  
в черте двора, и ждёт подмогу, маху  
вновь давшую – проспав, что не впервой.  
Не два эльфийских стражника с дозором  
(хотя один – скорее грозный гном),  
а лишь наряд полиции сквозь город  
идёт в свой пункт опорный за углом.

На сильном удалении у сквера  
не кучка юных гоблинов стоит,  
а недорослей группа, что, наверно,  
в битве баклуш – давно уж кустари.  
Драконом в небесах авиалайнер  
заходит на посадку – чертит круг  
крылом железным с тайным знаком клана  
и издаёт при этом трубный звук.

Растут как на дрожжах окраин замки,  
но феодалы нынешних эпох

предпочитают, двинув шашки в дамки,  
дворцы и виллы, а не этот вздох  
бетона в долгих путах ипотеки  
с охапкой черни на квадратный метр.  
Замедлив шаг, отметь, что в смысле неком  
миры пересекаются, и нет

причин не доверять трудам фантастов,  
рисующих властительное зло,  
как видимое нами ежечасно  
перерождение воздуха в стекло.  
И тут уж безо всякого сомненья  
не ошибёшься в главном, тень войны  
приняв за назгула, что вследствие подмены  
не оставляет ни за кем вины.

\* \* \*

*Я ехал в поезде. Дымились пассажиры.  
Кондуктор танцевал. Летал рояль.  
Поэт лениво грыз бесформенную лиру,  
Чужих мышей ему давно не жаль.*

Джордж Гуницкий

О чём-то думает детина,  
в стекло уткнувшись головой  
под мерный стук локомотива,  
ползущего в последний бой.  
В окне струится аксельбантом  
берёз святое макраме.  
Рисует пальцем циферблат он,  
небось, число держа в уме.

Не закурил – давно не курит,  
больное сердце бережёт,  
но по привычке ищет урну  
или пустую банку шпрот.  
На дёснах флюс, дыра в кармане,  
и песня бренькает в ушах,  
чтоб стать гвоздём репертуара  
себя в плечах на слух ужав.

Всё это стонет и дымится  
в коробке черепа, пока  
вслед за вагоном кобылица  
пустилась вскачь по облакам.  
Детина – духом-то Есенин,  
иначе нитью б не связал  
её с провидческим посевом,  
что в закромах томили зря.

Локомотив гремит железом,  
втекает в тамбур пустота,

а горизонт кровит порезом,  
напоминающим уста.  
Детина глаз не закрывает,  
хоть и укачивает путь,  
и в них плывут стальные сваи,  
готовые насквозь проткнуть,

раз ничего давно не держат  
на инженерный свой манер,  
но вызванный простоем скрежет –  
надрывный признак крайних мер.  
Что там за станция клубится?  
Что там за бабушки снуют?  
Жаль, поотстала кобылица –  
вплели бы васильки в хомут.

\* \* \*

*Пусть пыльный стол, где много пыли,  
Узоры пыли расположит  
Седыми недрами волны.  
И мальчик любопытный скажет:  
Вот эта пыль – Москва, быть может,  
А это Пекин иль Чикаго пажить.*

Велимир Хлебников

И мальчик не молчал, а говорил и говорил –  
ходящим кадыком толкал туда-сюда  
слов погремушку. Монорельс перил  
меж тем вёл лестницу на верхний край стола,  
откуда виден ужас перспектив  
того, по отношению к чему  
глаголил истину ребёнок, посвятив  
свою болезнь уездному врачу...

Ложилась пыль, витала пыль, ложась  
на крепкий стол, берущийся в квадрате –  
трезубец вилки, рядом сельдь ножа,  
поодаль – галька павших виноградин:  
здесь явно подытожен был обед.  
И мальчик говорил, снеся тарелку в мойку,  
о том, что тщетно по столу идти на свет,  
раз пыль не поддаётся тряпке мокрой.

И мальчик не молчал, и девочка сияла,  
на голове поправив синий бант.  
И плыл Пекин с московского вокзала,  
и философствовал калининградский Кант,  
окинув взором прусские могилы,  
и шло венозное Поволжье рыбьим горлом,  
и шлях Муравский приближал погибель,  
и был король червей козырно голым.

Кружилась пыль, похожая на время  
в условиях закрытых помещений,  
ноге судьбы грозящее гангреной,  
не находя себе, чтобы сочиться, щели.  
Но мальчик не молчал, а говорил и говорил,  
и чей-то карандашик шёл по следу,  
как будто под него траншею рыл,  
соединив её с фамильным склепом деда.

\* \* \*

Чудовище людей, дремавшее доселе –  
не шибко безобидное, но всё же  
не брызгавшее кровью рассуждений,  
вдруг ошетинилось всем ворсом шкуры серой  
и, выйдя в дверь из маленькой прихожей –  
в болезный мир, в клокочущие дебри

разрушенной реальности, завыло,  
залаяло, ощерив пасть стальную  
и явно увеличившись в размерах.  
Теперь оно кругом – с фронтов и с тыла.  
Пока игрался с кольцами Сатурна,  
оно сломало под окошком вербу

на хворост, обвинило время  
в экспансии часовщиков швейцарских,  
а куриц в нежелании самим  
иди в тотальный ошип. Впредь уж всем нам  
с чудовищем быть порознь не удастся,  
и даже тем, кто не роднился с ним.

Оно столь обло, озорно, огромно  
и далее – как сказано по тексту,  
что затмевает враз иную сущность  
возможных отношений в гулах грома,  
и потому по праву сути ест нас,  
обсасывая хрящики и души...

\* \* \*

Какие тут уже смешки, ужимки,  
когда из куклы вылезли пружинки,  
и лопнула связующая жилка  
под гнётом дум на бронзовом виске  
у крепкого мыслителя Родена.  
Течёт живая лава из мартена,  
где утонуть Джульетте и Ромео  
на школьной предначертано доске.

Запей ком в горле киселём стоялым.  
Стареет под лоскутным одеялом  
лежащий камень. Рядом из металла  
сооружают новую кровать,



одобренную ведомством Прокруста,  
заверенную боссами минюста,  
снабжённую глушителями хруста –  
сомнамбулам и то не устоять.

Мы ехали в метро – с изнанки почвы:  
нёс ветер сквозь тоннель сырую почву,  
но на конверте неразборчив почерк  
(среди погребённых жив ли адресат).  
Наверх не выйти через турникеты,  
здесь даже Кая не пустили к Герде,  
хоть он, как то отражено в анкете,  
внебрачный внук того, чей этот ад.

Какие тут уже смешки, ужимки,  
когда слова намазаны аджикой,  
а в рот не лезут. Дядя, нам скажи-ка:  
почто Москва медузам отдана?  
Мы сами-то – неместные, мы – с Волги,  
где рыщут по следам Мазая волки,  
и ищет царь Кощей в стогу иголку,  
чтоб шить из человеческого сукна.

\* \* \*

Если ты – гусеница, можешь утешиться тем,  
что быть тебе бабочкой – пусть и какой-нибудь вредной  
в рамках растениеводства, а всё ж таки – на высоте.  
Ползи уж, чего там – ищи у природы ответы,  
из чуши какой произрастает крыло.  
Жуй себе травку, остерегаясь злой тени  
алчущей птицы – изящно пернатое зло,  
и тоже, небось, чьё-нибудь вдохновение...

Если ты гусеница – слейся с зелёным листом  
в наши стихи вбитой белёсым колом  
тонкой берёзы. Слышишь за рощицей стон?  
Это извечная песня, что правдоподобнее хором.  
Медленно, медленно. Даром, на вид – неказист:  
всюду пупырышки, лезут из них ворсинки,  
так в довершение к тому – вечно падаешь вниз.  
Помни о бабочке – кликни надежду по ссылке.

Если ты гусеница – малым довольствуй свой быт  
и за свободу благодари природу.  
Много нас тщетно ползущих у корпоративной судьбы:  
ей надоест – кинет детям: то смерть Квазимодо.  
Рай в огороде, когда колосится ботва –  
жизни триумф, хоть, увы, холодна для пальмы.  
Взмоешь из кокона: вот, мол, каков, братва.  
Пусть был не гусеницей, а червяком банальным...

## Виктор ЛЯПИН

Родился в 1959 года в городе Кстово Нижегородской области. Окончил Литинститут имени М. Горького (семинар Е.М. Винокурова) и журфак МГУ. Работал футболистом, журналистом, помощником мэра, дворником, сторожем.

Автор двух сборников стихов (Волго-Вятское книжное издательство и московское издательство «СТИХИ») и нескольких сборников пьес. Стихи публиковались в журналах «Студенческий меридиан», «Литературная учеба», «Нижний Новгород», «Урал», в альманахах «Поэзия», «Истоки» и «Земляки». Пьесы поставлены в театрах России, Германии, Украины, Испании, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Австралии, Албании.

Живет в Кстове.

## НАСЛАЖДЕНИЕМ ТЫ БЫЛА...

\* \* \*

Наслаждением ты была  
в соловьиной чаше мая;  
предрассветная текла  
тишь, туманом обнимая;

и казались так легки  
вдалеке от всех компаний  
полусгнившие мостки,  
плеск воды и дрожь купаний;

и, близка не навсегда,  
на твой шёлк, прилипший к телу,  
та последняя звезда  
все глядела и глядела...

\* \* \*

Дворник высшей учености,  
устав от насмешек,  
пьет вино обреченности,  
разгрызает орешек.

Сквозь отсутствие закуси  
проступает невинность.

Он под снегом не в ракурсе,  
как судьбы половинность.

Нужно – что ж тут поделаешь? –  
приниматься лопатой  
разгребать море белое  
на участке немятом.

Снегопадом обидели,  
наказали сурово.  
Нужно заново, видимо,  
нужно, видимо, снова.

Дворник горькой наивности  
на участке горбатым  
пьет вино неизбежности,  
запивая закатом.

### Вольный перевод из Горация (Книга первая, ода девятая)

Глянешь – и сердце замрет от ужаса:  
снегом засыпана, льдиста в инее,  
горстка берез под февральской стужей  
смотрит в заволжские дали синие.

Чтоб не замерзнуть налей мне, милая,  
водки иль джина из амфор кухонных;  
сразу прогоним мыслишки хилые  
в домике, в кокон снегов закутанном.

Светлым богам мы оставим прочее,  
им нипочём сдвинуть горы снежные  
или ветра усмирить, охочие  
скинуть нас прямо во тьму кромешную.

Что с нами будет – к чему гадания?  
Полон любви этот день дарованный.  
Выпьем – и станет теплей свидание,  
сердце нежней и душа раскованней.

Ждет ведь нас дальше старость та еще,  
горькая память о днях, что минули.  
Не дожидайся, чтоб жар пылающий  
хладные вьюги из сердца вынули.

Жди иль не жди, от судьбы не спрячешься;  
немошь годам как сестрица сводная.  
Лучше уж ты от любви наплачешься,  
чем от упрямства уснешь холодная.

\* \* \*

*Он некогда придет вздохнуть в сени густой  
своих черемух и акаций.*

Константин Батюшков. «Беседка муз»

Ещё постой,  
любимец муз, питомец Граций,  
в сени густой  
своих черемух и акаций.

Отсрочь тот миг,  
в котором врозь душа и тело.  
Ах, брось, старик,  
и вспомни, как Лаиса млела.

Сквозь пыль веков,  
где бьются Цезари и Туллы,  
лишь мед стихов  
в твоей шкатулке для Катулла.

Пусть та, кем жил,  
отбрила, выкинула штуку,  
колпак держи  
и пей в черемухах разлуку.

## Осень в Андрониковом

Мокрых листьев омуты, солнца лоскуты.  
На осеннем золоте спящие мосты.

Растолкали бестолочь кофе растолочь –  
сладкой дремой пестуя, в ней танцует ночь.

Просыпайся, нежная, буря на дворе –  
в ней дождейки снежные мчатся в серебре.

Забредем в Андроников тихий монастырь.  
А его не тронь никак – небо да пустырь.

Не ищи Андрея там, ветру не свищи.  
Видишь – «Бакалей» хлам, ветер из пращи...

И ныряя в горькую темноту дождя,  
заплутаем в улочках, семь веков скостя.

\* \* \*

...Замерзают пожарные пирсы.  
Только старый кораблик один,  
с лучших мест за ненужностью списан,  
разбивает фарфор первых льдин.

Как больничный калека хромает,  
снежных волн огибают коньки,  
иглы бакенов вынимая  
из простывшего сердца реки.

Тянет-водит его на аркане  
здешний, мирный речной Посейдон,  
то на черные волны толкает,  
то скрывает в тумане седом.

И, собрав, что ему подобает,  
и продравшись сквозь волн пережат,  
уплывает, гудя, уплывает  
невозвратный кораблик в закат.

И, свободна от игл человеческих,  
легче двигает волны река,  
вместо бакенов звезды-свечи  
поднимая в холодных руках.

\* \* \*

Пропадает осень ни за грош.  
Никакой от листопада прибыли.  
Липы в желтом ворохе калош,  
голые, грустят: «Куда ж мы прибыли?»

Как мальчишка, отведешь от глаз  
две ладошки – словно осень-школьница  
для тебя разделась в первый раз,  
и так нежно листья в сердце колотятся...

### Зимний сонет

Ночной узор дыханием сведу  
с замерзшего стекла... Прозрачным шаром  
сияет сад, заснеженным бульваром  
внук бабушку и пса ведет к пруду.

Из домика, забытого в саду,  
закутан в теплый шарф, морозным паром  
дыша – ребенок без подмоги (даром  
что мал!) легко покатится по льду.

Слепящий свет. Скользящие фигурки.  
Сор. Фантики конфетные. Окурки.  
И в бабушку летящий снежный ком.

Мир, как вино, волшебный и чудесный,  
где девочка, надев ботинок тесный,  
ревет над разорвавшимся шнурком.

## Проза

### Павел ЧХАРТИШВИЛИ

Родился в 1948 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного университета. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем истории. Более 40 лет трудился в Госархиве РФ. Почётный работник Госархива РФ.

Неоднократно публиковался в российских журналах. Лауреат премии литературного журнала «Байкал» (2019). Живет в Москве.

### НЕПРЕКЛОННЫЙ ГОЛОС

*Сирано. Я выбрал путь себе кратчайший и прямой.  
Ле Бре. Какой же?*

*Сирано. Быть самим собой.*

Э. Ростан. «Сирано де Бержерак»

*...Непробываемо здоровая совесть – не что иное, как  
отсутствие её.*

В.Ф. Тендряков. «Свидание с Нефертити»

#### 1

На стене часы в дубовом корпусе, покрытом матовым лаком. Моя тёща купила их в 1990 году в подарок своей дочке Ангелине и мне в честь нашей с Ангелиной свадьбы. Царство небесное жене и её маме. В часах уже не работает переводная головка, поэтому надо помнить, что они отстают на три минуты.

Я не представился. Тихон Лукич Дроголюбов, историк и философ, вдовец, неработающий пенсионер. Мне сегодня исполнился семьдесят один год. Немало. Но всё-таки не девяносто один. В отличие от тёщин часов, во мне винтики пока исправны. Тьфу-тьфу.

Иногда думаю: неужели мне было шестнадцать? восемнадцать?

Мерю давление. Семьдесят семь на пятьдесят три. Мерю снова. Сто двадцать девять на сто девять. То ли оно скачет, то ли тонометр врёт. Японский, китайская сборка. Дорогой. Когда выбирал тонометр, решил: потрачусь, но будет качество.

#### 2

В юности я давление не мерил и ел, пил не то, что разрешено, а то, что хотелось. Героями моими были тогда убитые Томас Мюнцер,

Сергей Киров, Эрнст Тельман. На втором курсе я купил в букинистическом на улице Богдана Хмельницкого за 7 рублей 50 копеек «Речи бунтовщика» Петра Алексеевича Кропоткина, прочёл их и стал анархистом-коммунистом. О, студенческая пора! Вам не приходилось сдавать историческую географию? Покажите на политической карте европейской части Советского Союза границы Обонежской пятины Новгородской земли в XVI веке.

В те годы был в Москве с визитом Шарль де Голль: северный пикардиец, «вздорный француз», тоскующий монархист, национальный герой. Пережил тридцать два покушения. Дома по утрам пил кофе и читал газеты; если в газетах его – президента – не ругали, у него портилось настроение. В Москве замечательный старик накануне отъезда на родину произнёс по телевизору по-русски добрые пожелания «всем русским, мужчинам и женщинам».

Обретя диплом, я искал место. В музее вахтёр разрешил позвонить в отдел кадров. Мужчина задал мне вопрос:

– Вы член партии?

– Нет.

На этом беседа закончилась.

В другом музее кадровик по той же причине смог предложить только должность инженера по оборудованию. Который, я подумал, развешивает картины. Для этого я изучал отечественную и всемирную историю, а также диалектический и исторический материализм. Я отказался. Кадровик:

– Вы не найдёте работу.

Я позвонил из дома в одну из центральных библиотек. Женщина сказала:

– Только в хранилище. Сто рублей.

Я согласился. Она пообещала позвонить. И я неделю ждал звонка.

Ничего у меня не получилось и в издательствах.

После очередного фиаско я увидел на проезжей части улыбающегося рабочего. Он колот лёд. И я сказал себе: у тебя образование; пусть тебе не светит приличная таньга, но в какое-нибудь учреждение в конце концов возьмут. Чего ты раскис? Не так уж тебе плохо. Вон человек зимой зарабатывает кусок хлеба на улице и улыбается.

В перестройку нарисовались комшиза и демшиза, я был в последней, хотел отпустить республики Балтии. Был влюблён в Бориса Николаевича и Егора Тимуровича: ну конечно, рынок всё отрегулирует!

Мой начальник Бражнов говорил, что Путин слабый президент, нужен сильный государственный, который расстреляет олигархов и посадит либералов в ГУЛАГ.

### 3

Смотрю новости по телику.

Главу одного из пяти крупнейших мафиозных кланов Нью-Йорка Фрэнка Кали по прозвищу Фрэнки Бой застрелили в Нью-Йорке. Погода в Москве на завтра – 15 марта 2019 года...

Ну вот! Вырубилось электричество: сюрприз в мой день рождения. Хорошо, что запасся свечами с подсвечниками. Найти в темноте их и спички... Не надо: включился свет. Смотрю: двадцать один час двадцать семь минут. Прибавляю три минуты. Половина десятого. Сейчас начнётся сериал «Шифр». Что такое? Вместо «Шифра» – «Капитан-



ские дети». В ролях: Флоринская, Остроумова, Акиньшина, Макарова, Толубеев, Маховиков... В комнату входит жена. Живая! Я себя ущипну. Двенадцатый год её нет на свете.

– Геля! Какой сейчас год?

Она садится в кресло. Удивлена:

– Тиша, ты что? 2007-й. 14 марта.

Неужели такое возможно? Так вот почему был перебой с электричеством: я перенесён на двенадцать лет назад. Мне сегодня исполнилось пятьдесят девять. Рядом Ангелина. У неё третья стадия рака печени. Снова пережить всё...

С трудом прихожу в себя. Никогда не верил в чудеса, теперь придётся поверить. А может быть, это не чудо, а нечто в духе теории относительности: время остановилось и понеслось вспять. Альберт Эйнштейн был умницей, но до такого не додумался. Ну и что? Мало ли кто до чего не додумался. Шуточка Всевышнего. Сколько же мёртвых сейчас на земле воскресло? Миллиард? А дети, родившиеся за последние двенадцать лет, – куда им деваться? Обратно в утробы матерей? Нет. Невозможно. Я всё-таки ущипну себя. Щипли не щипли, нравится не нравится, а надо как-то приспособиться: предстоит опять жить в 2007 году. Я ведущий специалист Научно-исследовательского центра философии истории (НИЦФИ). Не доктор, всего лишь кандидат, но всё-таки не путаю Николая Кузанского и Николая Луганского. Да, завтра мне на службу. Я ещё не дожил одного года до назначенной мне в 2008 году пенсии 3907 рублей 70 копеек. Особенно трогательны 70 копеек. Потом Путин пенсии повысил: в каком году? Предстоит девять лет таскаться на работу – до увольнения в 2016-м. Повеситься можно. За три года лежания на диване, с 2016-го по 2019-й, я, наверное, растерял квалификацию.

Когда в страну пришла Демократия с Рынком, сотрудники НИЦФИ перестали соблюдать распорядок дня. Однажды утром я работал, позвонила ведущий научный сотрудник Копцова Арабелла Агафоновна:

– Тихон, передай Бражнову: у нас вчера были гости, посуда немытая, я помою и приеду.

Я положил трубку и взглянул на часы: без четверти одиннадцать.

Когда в 2016 году я наконец уволился – отпали все раздражители, с каждым последующим годом у меня становилось лучше настроение; единственно по чему я соскучился – по общению с Арнаткевичем. Он однажды мне сказал, что назначение Руси, Третьего Рима, – спасти человечество. Я тогда подумал: нам бы себя спасти. Коррупция, плохие дороги, массовая бедность, веселие Руси есть пити – не можем без того быть. Шестидесятидевятилетний Арнаткевич всё ещё работает, в другом секторе нашего Центра. Если кто-нибудь его поддевает (у нас любят подкалывать), старик три дня думает; потом, когда обидчик забывает про свою шутку, придумывает наконец ответную колкость, является и припечатывает насмешника, а тот уже не понимает за что. Арнаткевичу присущи и яркие проблески ума, и сбои, когда мозги ему отказывают. Думаю, не надо ни от кого ожидать невозможного; всегда следует исходить из реальных способностей того или иного человека. В молодости Арнаткевич в отпуске нащёлкал в карельских местах малоформатной «Сменой» плёнку, оставался один неистраченный кадр, и он на аэродроме в Ленинграде сфотографировал лайнер Ту-154Б. Философу, как он ни просил пощады, плёнку тут же засветили, пропали Кижы. Долго будет Карелия сниться.

14 марта 2013 года, в день своего шестидесятилетия, я принёс на службу торт «Ягодный шик», разрезал на части. Сослуживцы уписывали свои порции, двое запаздывали, а нетронутых кусков оставалось три, поэтому я пригласил Арнаткевича угоститься. Но не предупредил, что подойдут ещё двое. Арнаткевич решил, что его позвали прикончить всё, налил себе чаю, сел, умял один кусок... и взялся за второй. Я обомлел. Останавливать старика было неловко, он слоупал и третий.

Ангелина, оторвавшись от фильма:

– Ты что-то неразговорчив. Неприятности?

– Да как тебе сказать... В день тридцатипятилетия моей работы в Центре Бражнов даже не поздравил. Будто в отделе каждый день такие даты.

– Может, не знал?

– Знал. Кадровик отслеживает юбилеи и докладывает начальникам отделов.

– Плюнь, – утешает жена.

Смотрит на циферблат на стене. Говорит:

– Помнишь, эти часы мы повесили на кухне, и мама обиделась. Ты перевесил сюда.

Да, так и было. Часы хорошие. Двадцать один час пятьдесят одна минута. Прибавляю три минуты. Без шести минут десять.

– Геля, у меня на педагогической практике во время урока в седьмом «В» Виталик Половец брызнул водой из трубки в щёку Лёле Клопман. Я сказал безобразнику: «За это есть статья». На следующий день на уроке в том же классе Антоша Негоднов дал учебником по голове Артуру Касимову, и последний, цитируя меня, сказал обидчику: «За это есть статья». Ребята всё схватывают. А в седьмом «Б» был неуспевающий Гоша Дойнов. Я поставил его у доски перед классом и сказал: «Ты давал торжественное обещание юного пионера жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Разве так завещал учиться великий Ленин?» Пацан стоял красный: действительно, не так завещал учиться великий Ленин.

Жена улыбается:

– Тиша, ты страшный человек.

Я-то? Да, страшнее не бывает.

Гелюся приложила руку к краю нижнего правого ребра. Боль у неё порой отдаёт в другие части тела, иногда сопровождается рвотой. После завтра её поместят в онкологическую больницу. Там боль будут снимать сильнодействующими наркотическими анальгетиками. Через два месяца и шестнадцать дней жена умрёт, в первый день лета, в полдень, когда равнодушная природа будет красою вечною сиять.

Я читал, что наркозависимыми из-за лекарств больные становятся крайне редко.

Может, хоть фильм отвлечёт Гелю, ослабит боль.

На тётчиных часах двадцать два двенадцать. То есть четверть одиннадцатого.

Вчера прочитал в интернете о городе Александрове Владимирской области: «В течение семнадцати столетий Александровская слобода являлась столицей нашей Родины». Прелесть. Российскому государству одиннадцать столетий с половиной.

В силу своей профессии я всё датирую. Можете разбудить ночью, назову любые даты.

Помню: лето 1962 года. Мне четырнадцать. Дождь. На Пушкинской площади кого-то ждёт девушка лет восемнадцати в плаще и туфельках. Я загляделся на неё. Осталась в мозгу картинка на всю жизнь. Где эта женщина теперь? Ей шестьдесят три.

Варваре сейчас пятьдесят девять. Не может быть, чтоб забыла меня. В 1981 году нам с Варей было по тридцать три. Я к этому времени был давно разведён, детей не имел, а она была замужней женщиной, матерью двух девочек: четырёх и шести лет. Мы с ней крутили любовь до 1983 года. Варя потеряла было голову, подумывала о разводе с мужем, но в итоге оказалась не способной предать своих малюток. Остановилась на краю, взяла себя в руки, рассталась со мной. Хороший человек.

Олеся на год моложе меня. Ей сейчас пятьдесят восемь. В 1984 году ей было тридцать пять, мне тридцать шесть. Она была одинокой, детей не имела. Наша связь длилась три года. Я не сделал ей предложение. Как-то в 1986 году я ехал из НИЦФИ на метро с сорокадвухлетним Арнаткевичем, и он сказал, что женат на двадцатидвухлетней, безумно в неё влюблён, совершенно счастлив; правда, жена любит «Жигулёвское» (проблем с добыванием пива нет: её тётя – продавщица в филиале гастронома № 40), из-за пива растолстела, и ему уже снятся стройные стриптизёрши; признавшись мне в этом, он вздохнул: «Нехорошо». Я ответил, что рад за него и что я, хоть не женат, тоже счастлив. Я действительно тогда блаженствовал с Олесей. Но в 1987 году она бросилась в религию. Да как заговорила: «Свободная любовь – страшный грех; случайные связи – происки сатаны; ну а в Великий пост особенно». Наш роман завершился.

У Варвары малыши-внуки, в которых не течёт моя кровь. Вряд ли вышла замуж Олеся. Две милые бабушки, в нынешнем 2007-м (чуть не подумал: в 2019-м) ещё не старые. Позвонить им? Вдруг вспомнят, что у меня сегодня день рождения.

Расставшись с Олесей, я не сразу нашёл себе пару. Было много работы, знакомиться было некогда. Думал: всё, перевалил за сорок, упустил время. Но под новый, 1990 год в мельтешении дней и дел явилась тридцатишестилетняя Ангелина Баташова. Вскоре чувство уже полыхало во мне сильнее, чем когда-либо прежде. Мы поженились, я удочерил её трёхлетнюю девочку. Впервые за долгие годы я открыл душу женщине. Она ответила исповедальной искренностью. Ангелина хотела ребёнка от меня, у неё случились два выкидыша: в 1990 и 1992 годах. После этого я не мог допустить, чтобы любимая вновь проходила через боль и муки. Знать, мне не суждено стать отцом. Сегодня Ксюшенька – двадцатилетняя девушка.

К сорокапятилетию Ангелине сшили бежевое зимнее пальто с английским воротником из коричневой норки. Как она радовалась! У метро продавали горячие чебуреки, она надкусила – и пролила жирный бульон на пальтовый драп. Жалко было и Гелюсю, и пальто.

## 5

В пятницу 1 июня 2007 года Геля в пятьдесят четыре года оставит на Земле меня и Ксюшу.

Пожилые женщины и мужчины часто покидают сей мир в страданиях. Почему? Я считал, что у Всесильного в этом вопросе упущение, не всё

здесь логично. Но знаменитый беллетрист недавно объяснил: «У Господа не бывает не продуманного. Прощальные человеческие муки замышлены Им специально, чтобы смерть стала освобождением».

Всемилоостивый! Ты не хочешь сохранить Гелю для её мужа и дочери. Сделай хотя бы, чтоб моей жене и Ксюшиной маме не было больно.

Врачу, который придумает прививку от рака, при жизни поставят пятиметровый памятник из платины.

## 6

Итак, у меня начинается повторение двенадцати лет в одиночестве: с 2007 года по 2019-й. Как я проведу их, ежедневно зная, *что* будет завтра, послезавтра, через месяц? Ведь от этого можно подвинуться рассудком. Всемогуший раскрутил планету назад – гениальная задумка: чтобы люди ещё раз прожили предшествующую дюжину лет, исправляя содеянное. Непреклонный Голос спросит из космоса:

– Ты – газосварщик, телятница, боцман, свекловод, водитель – как вёл, вела себя в эти годы? можешь ли сказать, что тебе не в чем себя упрекнуть? А ты, сытый столоначальник в тёплом кабинете: не обижал ли людей? ведь измена народу есть измена Родине. Наконец ты, Дроголюбов, напряги память: наверное, есть в чём повиниться.

Есть. Однажды в супермаркете бомж попросил у меня денег, я отвернулся и ушёл. Ситуация повторится; он снова подойдёт, и я подам ему. Далее. Кассирша всучила мне на сдачу надорванную тысячу, я заметил разрыв только дома, подклеил, через день в том же магазине удалось этой купюрой расплатиться. Был доволен. Кому-то она досталась. Теперь отнесу бумажку в отделение Сбербанка, там её заменят.

В декабре 2016 года, когда я был у падчерицы на её тридцатилетии, её муж Ярослав сказал, что, судя по рассказам его родителей, при социализме было лучше; конечно, надо было тогда кое-что подправить, например чтоб был рынок. Я подумал: рынок при Сулове. Потом я упомянул, что пересчитываю «Фаворита». Ярослав бросил презрительно:

– Вы читаете Пикуля?

Затем, 14 марта 2017 года, был мой день рождения. Ксанчик мне позвонила, сообщила, в частности, что муж лежит с температурой. Я выразил сочувствие, затем мы болтали с ней, и я, совсем не из-за обиды на реплику Ярослава, а просто забыв о болезни зятя (слаба память в шестьдесят девять лет), сказал падчерице, что у меня всё хорошо. У женщины мужик больной, а у меня всё хорошо! Надо же такое брякнуть! Ксанчик сказала «пока» и положила трубку. Обиделась. Ничего, дождусь, когда через десять лет, в 2017 году, падчерица снова будет поздравлять меня с шестидесятидевятилетием, тогда я не ляпну бестактность.

«Всё?» Нет, не всё. Был промах покрупче: я долго соглашался кое с кем из политиков и журналистов, от которых потом отшатнулся, как от чумы. Древние греки Пиррон и Тимон учили: чтобы не ошибиться, воздержись от суждений. Вот и я впредь умерю свои политические симпатии. Далее. Меня на работе нередко хвалили; да, я, исполняя служебные обязанности, старался, но не от сознательности, а из-за боязни нагоняя. «Теперь всё?» Подожди. Я лгал в публикациях. «Почему?» Да мало ли почему. Вынуждали обстоятельства, приказывал Бражнов, печататься полагалось и было престижно, не хотелось неприятностей,

опасался за карьеру, деньги были нужны. Чего ты от меня хочешь? Я не Чаадаев. Можно ли требовать подвига от простого обывателя? Что говоришь? Порядочность – не подвиг?

## 7

Жена отняла руку от ребра: отпустило. Господь услышал мою мольбу. Я тоже попытаюсь посмотреть фильм. Нет, не получается, мои мысли далеки от него.

Экран и торшер снова гаснут. Мы с Гелей погружаемся в темноту. Хронологический эксперимент продолжается? Куда сейчас отправят меня и жену? Хорошо бы в 1990 год, в котором я и Геля полюбили друг друга и в котором у неё не было страшной болезни. А вдруг меня одного – в Древний Египет, где я буду потеть на строительстве пирамиды фараона Хеопса? Или я стану питекантропом, выкапывающим в первобытных джунглях вкусные корешки и не философствующим на исторические темы. Может, ещё пикантней: меня перенесут в будущее.

Вот-вот загорится свет.

Зажёгся торшер. Мигнул и заработал телик. На экране Спивак, Панова, Дюбуи, Вилкова, Пускепалис... это не «Капитанские дети»! это сериал «Шифр»! Я возвращён в 14 марта 2019 года. Мне опять семьдесят один год. Ну и хорошо: на службу завтра не надо. Повтора двенадцати лет не предвидится. Ничего не придётся исправлять и менять. Какой была моя жизнь – такой пусть и остаётся, она не хуже, чем у других.

Я один в комнате. Гелюси нет почти двенадцать лет. Годы, прожитые с ней, были для меня самыми счастливыми. С ней я познал совершенство отношений, одержимость в сексе, привязанность и проникновенную близость двух сердец. О ты, последняя любовь!

Сегодня было три градуса тепла. Это не оттепель, это весна.

## Людмила ТОБОЛЬСКАЯ

Родилась в 1940 году в Новосибирске в семье балерины и оркестрового музыканта, артистов театра оперы и балета. Окончила музыкальное училище в Нижнем Новгороде по классу скрипки, работала в театре и симфоническом оркестре города Сарова, преподавала музыку в музыкальных школах Сарова и затем Нижнего Новгорода. В Сарове также вела программу истории искусства на местном телевидении. В 1973 году окончила театроведческий факультете ГИТИСа, работала в Управлении музеев в Москве, потом главным хранителем шереметевского дворца-музея в Останкине (музей-театр XVIII века). Автор семи книг стихов и прозы. Печатается в русских и зарубежных изданиях, лауреат и дипломант нескольких международных конкурсов.

С 1991 года живет в Америке, в настоящее время – в штате Нью-Йорк близ Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, центра Русской зарубежной православной церкви.

## РЯБКОВСКИЙ ПОВОРОТ

*Слово для любви и для молитвы  
Каждый выбирает по себе.*

Юрий Левитанский

Всё началось на фоне самых простых, что называется, житейских событий.

Появления на свет своего первого внука они ждали со дня на день. Появиться он должен был в далеком Ленинграде, и, конечно, к поездке туда готовились задолго до ожидаемого известия. И всё счастливо удалось: и ее, и даже его отпуск, хотя, будучи начальником важной для города стройки, он уже второй год работал без отпуска и порой – даже без выходных. Удались и подарки.

Когда взволнованный зять наконец позвонил поздней ночью с радостным сообщением и успокаивающими подробностями, Влад еле дождался утра, чтобы кинуться за авиабилетами, о которых тоже была давняя договоренность.

Жена, заодно вручая список последних срочных покупок, назвала его «дед», и вот это «дед» так поразило его, что он начал безотчетно, словно женщина, всё оглядывать себя в стеклах уличных витрин. На деда он был не похож: всё та же жилистая стройность, молодая быстрота движений, даже молодцеватость, и седина почти не видна. Но ведь дед! Представить себя склоненным над крошечным не сыном, а уже внуком – уже! – было странно. Станным было для него и пришедшее убеждение, что с появлением внука жизнь примет какой-то мечтаемый



оборот, как-то выравнивается. Мерещился некий отблеск счастья, стройного лада, который теперь вся эта жизнь начнет приобретать. И как бы залогом этому нахлынуло на него умиротворяющее спокойствие. Он ушел в это чувство и безропотно предоставил жене командный пост перед отлетом.

Сборы на скорую руку жена не любила. Поэтому накануне отлета, в четверг вечером, всё было хорошо, обстоятельно организовано: квартира чисто убрана, вымыты полы – это чтобы в дом приятно было возвращаться; два объемистых чемодана, главным образом с подарками, аккуратно застыли в прихожей. Запланированное чаепитие с соседкой, на которую на три недели их отсутствия оставлялись цветы, оказалось приятным, вкусным и отдохновенным.

Но – сразу после ухода соседки с запасными ключами позвонил Николай, приятель из Управления, вечный драгоценный вестник ветра перемен.

Теперь Владу кажется, что именно этот звонок и был первым «стукком судьбы в дверь».

Поначалу полетели к чертям собачьим семейные планы. Нет, был сорван его, только его отъезд.

– Хорошо, что успел застать тебя, Влад, – заполошно дышал в трубку Николай. – Не время тебе уезжать. В понедельник задумали в нашем Управлении внеплановое совещание. Средства перекраивать, людей перебрасывать...

– С чего это вдруг?

– А как же – Перестройка на дворе! Кому-то наверху галочка, прореагировали, дескать...

– Да на что прореагировали?

– Ну, я не знаю, что-то там уловили в последнем высказывании самого на встрече со строителями.

– А что там было-то? Ты конкретно...

– Ну вот пристал. Скажи спасибо и на том, поищи в газетах на досуге речь-то. Время есть... Уезжать тебе никак нельзя хотя бы до понедельника. Сам знаешь, что наместник твой без тебя не справится.

Влад едва не взвыл, повесив трубку. Не удаётся ему ни отдохнуть, ни поработать без помех!

Жена тоже не пожалела:

– Вечно с тобой одни нервы. Ну вот почему я никогда не могу быть с тобой спокойна!

И пошло, и пошло... Плакала, ругаясь, потом пила успокоительное. И всё восклицала: ну почему ей с ним столько лет так невыносимо трудно!

Он пытался миролюбиво что-то объяснять:

– Ты же знаешь, – работа у меня такая.

А потом сказал неудачную фразу, тоже в сердцах:

– Тебе легче в твоём буфете.

И – обвал! Одной фразой можно так всё испортить, что потом не воротить... Брови жены поднялись в тихом изумлении, и она почти пропела ядовито:

– Мне легче? Что ты знаешь о моём буфете?! Ты знаешь только нахваливать деликатесы из этого буфета... – потом она отвернулась от него, как бы потеряв всякий интерес к разговору с мужем, и, переключая что-то в сумке, деловито отчеканила: – Кстати, напomini нельму не забыть забрать завтра утром из холодильника.

– Почему завтра?

– А что, ты думаешь, я ждать тебя буду? Я полечу одна. Всё равно полечу! А ты уж потом как знаешь.

Спать легли не помирившись, в разных комнатах. У нее в спальне долго горел свет, видимо, что-то читала. И он слышал, как она плакала.

Утром перепаковывали чемоданы. То есть все его вещи были вынуты и свалены на их общую кровать в спальне, куда был отправлен и будущий его чемодан, а другой, с вещами жены, подарками, и сумку с вкусностями, добытыми женой главным образом в ее привилегированном буфете, он снес вечером, провожая жену, к такси. Проводы на этом и закончились: она резко захлопнула дверь машины у него под носом и укатила в аэропорт одна.

Он молча отступил перед натиском ее эмоций – последние два-три года она позволяла себе такое всё чаще и чаще, и он уже не вступал в перепалку с ней так яростно, как мог в молодости.

Провожая глазами машину, а затем поднимаясь по лестнице в квартиру, он даже подсмеивался над собой, снова ощущая всегда приходившую после вот таких ссор знакомую последовательность чувств. От раздражения, постепенно затихающего, к холодному, спокойному пониманию полного краха их отношений, когда выход видится однозначно уже только в разводе. Эта, такая ясная уверенность всегда сменялась размышлением о жестокой простоте причины этих перемен в жене – явном дисбалансе гормонов в процессе ее старения. Затем через сочувствие приходило ощущение жалости и собственной беспомощности. И когда подходило уже совсем близко отчаяние, мучительное и бесплодное, вот тут он и научился переключать себя на работу, которой всегда было невпроворот.

Но сегодня был вечер и еще три недели как раз без работы. Впереди был понедельник в Управлении, обещавший нервотрепку. И кроме того, он знал, что и потом, уже в Ленинграде, вместо безоблачной радости по приезду, ещё ждет его улаживание отношений с женой, такой неотходчивой теперь!

В общем – тоска.

Взбадриваться с помощью кофе перед сном было не к месту. Ужинать не хотелось, но, прежде чем отправиться на боковую, Влад все-таки плеснул себе немного коньяку и, не закусывая, побрел в ванную чистить зубы.

Утром он старался как можно дольше не просыпаться. Пришлось стараться не просыпаться сначала в шесть, потом в шесть тридцать, потом в девять.

Спать уже совершенно не хотелось, и он дремал, по временам лишь на мгновения погружаясь в сны. Это были даже не сны, а какие-то фрагменты снов, с переходящими одно в другое красочными пятнами, на фоне которых вдруг раздавались обрывки чьих-то фраз, заставлявшие его вздрагивать и просыпаться. Но всякий раз, как только глаза намеревались раскрыться, Влад вспоминал, что просыпаться ему придется в пустой квартире, что он проведет весь этот день бессмысленно убивая время, и следующий день, и еще половину следующего, и на него находила такая тоска, что он снова закрывал глаза и призывал сон, сон, сон.

Он не любил оставаться один. Со времен молодости любил, чтобы дома его встречали. Возвращаясь, всегда нарочно звонил в дверь соб-



ственной квартиры и упорно отмалчивался на вопросы домашних, почему он не пользуется своими ключами. Потом его перестали спрашивать. Все привыкли.

Одинокое приготовление завтрака прервал телефонный звонок. Ленинград сообщал о прибытии жены-бабушки, а потом зять вдруг по-серьезней и торжественно объявил, что «на семейном совете» было решено назвать новорожденного именем деда, Владиславом. Итак, маленький Влад ждет прибытия Большого Влада.

Новость улучшила настроение. А дальше...

А дальше – такое впечатление, что судьба теперь уже просто вошла в дверь и, взяв его за руку... Да бред, бред!

Ну действительно, что тут необычного, что вспомнилась вдруг давно припасенная в кладовке вобла и захотелось с пивком отметить обрадовавшую новость!

Собственно, вход на рынок был гораздо дальше, а здесь на его территорию можно было попасть сквозь забор, отодвинув одну из досок. Влад всегда входил на рынок здесь, за ларьками. «Дед... Дед, у которого родился внук...» – думал он, протискиваясь между досками и легко спрыгивая на территорию рынка рядом со штабелями пустых ящиков магазина «Овощи и фрукты».

И тут, за ящики, несколько ближе к магазину, вбежал человек в клетчатой кепке. В руках его было что-то белое. Стоя спиной к Владу и не видя его, человек взмахнул этим белым, оказавшимся матерчатым халатом, быстро надел его на себя и сорвал с головы кепку, обнажив лысый череп. Затем он бросил кепку в один из пустых ящиков и понес его перед собой, медленно двигаясь к магазину. Он явно имитировал грузчика. Влад смотрел ему вслед, ничего не понимая. Затем он услышал приближающиеся крики, быстрый топот погони, и за ящики вбежал запыхавшийся парень, лицо которого, распаренное и красное, выражало крайнюю степень отчаяния.

– Что делать, что делать? – выкрикивал он тоскливо, заглядывая с разных сторон за штабеля ящиков, и, увидев Влада, крикнул, объясняя: – Халат украл! Деньги в ём...

«Ах, сволочь!» – мысленно отправил Влад в адрес лысого и жестом приказал парню замолчать. Тот застыл на месте, раскрыв рот.

– Вон видишь, с ящиком? – сдавленным шепотом кинул Влад парню, указывая на удалявшегося за угол магазина, – туда, к людям, – лысого. – Заходи по тихой...

Парень с выражением недоверия взглянул по направлению магазина, потом в лицо говорящего, потом опять на лысого в халате. Неизвестно, что убедило парня в правоте Влада, но всё остальное произошло мгновенно. Парень в три прыжка оказался у магазина и, не успев Влад ахнуть, крепко обхватил лысого сзади за шею. Влад подбежал. Лысый стоял, хрипя, не в силах шевельнуться и всё еще держа в руках ящик.

– Ты что же это делаешь, а? Мать твою... – Натужно бормотал в затылок лысому парень.

– А я что, я перепутал... – спокойно и довольно нахально отвечал лысый, продолжая держать перед собою пустой ящик с кепкой на дне. Владу стало смешно.

– Хватит придуливаться, – сказал он лысому. – Отдай ему деньги.

– Не брал я никаких денег! – огрызнулся тот, зыркнул на него птичьим черным глазом и отвернулся...

– Это как же ты не брал? А вот в этом карма... – рука парня потянулась к халату, к боковому карману и... – он не закончил фразы. – И правда. Вот они! Не успел... Не успел – не успел! – запел он. И начал объяснять: – Я их тут булабочкой прихватил, вот он и не успел, видать.

Парень, нагнувшись, стал откалывать булавку, лысый стоял, словно окаменев, под бдительным оком Влада.

– Врезать бы тебе, – обратился Влад к нему, нахмутив брови. – Тот напряжился и начал медленно приседать, загораживаясь своим ящиком. – Только бить я тебя не буду. – Влад улыбнулся. – Ради праздничка. Внук у меня родился! – неожиданно для себя обратился он счастливой интонацией к обоим слушателям. – Да, внук. В Ленинграде. Так что живи. И снимай халат!

Потом они вдвоем с Федькой (так звали парня) сдавали в контору рынка весы и пресловутый халат, и Федька, поминутно оглядываясь на Влада и улыбаясь всем своим круглым лицом, рассказывал окружающим, как «друг» помог ему изловить вора.

Прохлада утра сменилось жарой, Влад таскался с Федькой по базару от нечего делать и наконец предложил ему обмыть оба радостных события: рождение внука и спасение Федькиной дневной выручки.

– Куда пойдем-то? – сразу деловито осведомился Федор и подхватил с земли свои пустые корзинки.

– Ко мне пойдем. Тут близко. У меня вобла есть свежая.

В гастрономе, как раз открывшемся после перерыва, они купили пива, погрузили его в одну из корзин, подумали и прикупили еще колбасы и сыру.

– Хлеб есть, – сказал Влад.

– А у меня лук и огурцы.

– Ну вот, видишь – царский пир!

В лифте и потом в квартире у Влада лицо Федьки продолжало сиять. Он сразу оценил хозяйскую руку в доме. Потрогал кожаную обивку входной двери, двустороннюю, с протяжкой тонкого шнура, разувшись и расхаживая в носках, похвалил порядок и чистоту в доме. Влад не удержался и повел его в лоджию, недавно застекленную им самим.

– Вот, посмотри, как ходят, – продемонстрировал он раздвижные рамы и откидной столик. – Здесь, на воздухе, и посидим. Не возражаешь? Федька не возражал, и хозяин отправился на кухню.

Таская тарелки, вилки, ножи и кружки, а потом раскладывая хлеб, колбасу, сыр и воблу, он не сразу заметил, что Федька заснул, сидя на диване в гостиной. Спал он тоже улыбаясь. Это умилило Влада. «Вот ведь какой, а?» – неопределенно подумал он и не захотел будить парня.

Он послушался по квартире, накрыл полотенцем еду на лоджии. В спальне увидел книгу, что жена оставила на тумбочке у кровати – ее, видимо, она читала допоздна перед отъездом. И плакала. Книга была перевернута раскрытыми страницами вниз, на переплете значилось: «Сирано де Бержерак». Пьеса. Когда-то, в период жениховства, он повел свою будущую жену на спектакль по этой пьесе. Сто лет назад. Смутно помнилось, что на сцене всё было полно юмором и дуэлями, но в чем там было дело, Влад забыл. Он не читал пьес и сейчас удивился, что жена набралась терпения читать такой специальный текст. На раскрытой странице он прочел действительно кусок перепалки о дуэли. Дальше в книге была закладка. Что-то, видимо, отмеченное специально:

Я всё в тебе люблю! Я счастлив, вспоминая  
Твой каждый жест пустой и каждую из фраз!  
Я помню, год назад, двенадцатого мая,  
Переменила ты причёску первый раз!

Это было так сентиментально! Невыносимо. Просто неловко читать.  
И дальше:

Я волосы твои с их золотистым цветом  
Давно привык считать, мой ангел, солнца светом.  
Ты знаешь, если мы на солнце поглядим,  
То алые круги нам кажутся повсюду;  
Так, с взором пламенным расставшись вдруг твоим,  
Всё пятна светлые я долго видеть буду.

И над этим плакать?! Толпились мысли об архаике, о бабском восприятии, о вечных «их» мечтаниях, и было немного смешно.

А в общем, бедная. Опять всё нервы и нервы. И скандалить мастерица, и хорошего отношения не ценит. Красивых слов захотела... Он попробовал произнести:

Я всё в тебе люблю! Я, счастлив, вспоминая  
Твой каждый жест пустой и каждую из фраз...

Нет, ваше величество, я тут вам не потатчик. Он нервно захлопнул книгу.

– Ты чего не разбудил меня? – заглянул в дверь спальни проснувшийся Федор, и оба они отправились пировать.

Но злополучная книжка как-то расстроила, и, чтобы отвлечься, Влад спросил:

– У тебя, Федор, жена есть?

– Есть, а как же, – просиял Федор. Влад про себя усмехнулся: «И тут доволен. Ну и человек!»

– А дети?

– Нет пока. А надо бы детей-то.

– ???

– Чтобы не ушла.

Вот те на! Влад продолжал вопросительно смотреть на Федора. Но не успел задать вопроса, как тот сам всё объяснил. Просто и обстоятельно:

– Жена у меня очень красивая. До сих пор удивляюсь, как удалось мне ее охмурить. Да... Сначала я всё боялся, что уйдет. Да и сейчас, если честно, боюсь... Красивая до ужаса. Но гидра-а, каких свет не видал.

– Злая, что ли?

– Да не пойму я. Вроде и добрая, а не знаешь, как повернуться. То не так, это не эдак.

«Это мы знаем», – мысленно посочувствовал себе и гостю Влад.

– И всё фантазии. В город меня сговаривает. А что мне делать в городе-то, зоотехнику! Ну и что, что колхоз отменили? Перестройка же! Всё к лучшему еще может повернуться. Как думаешь?

– Тут я не знаю. Мне, строителю, всегда работы хватит.

– А я тоже со своей земли не побегу. Да и мать, хоть и не старая еще, а зачем ее бросать, метаться куда-то. В общем, от уговоров этих расстройство одно.

– Устал? – посочувствовал Влад.

Федор понял буквально:

– Да я ведь прямо с рыбалки на рынок-то поехал, устал, конечно, ночь не спамши, вот и задремал у тебя.

– Ты что, рыбу, что ли, продавал?

– Ну да... рыбу. Быстро расхватали.

– А какую?

– Всякую... Язей, щук тоже. Окунь были, крупные... во!

– И много в ваших местах рыбы?

– Завались, только ею и промышляем. Правда, теперь, с новыми порядками, говорят, озеро наше какой-то кооператив откупил. Да мы их, хозяев-то новых, пока еще не видали. Вот-вот прибыть должны. Ждем разборки, – подмигнул он.

Лицо Федора, необыкновенно живое и доброе, поминутно менялось вслед его словам. Он жестикулировал, а рассказывая о рыбе, как бы играл то язя, то щуку.

– А я, – вздохнул Влад, – вот уж который год всё собираюсь и собираюсь на рыбалку... К вам, что ли, когда съездить?

– Господи, да в любое время приезжай прямо ко мне! Вот хоть сейчас поехали!

– Сейчас? – переспросил Влад и подумал, что до обеда понедельника еще есть время. – А что? И поеду, коли не шутишь!

– Какие тут могут быть шутки?! Дело самое простое.

– Да у меня и снасти нет...

– Снасть мы тебе найдем. У нас снасть артельная, – хохотнул Федор. – Так что собирайся.

И Влад вдруг обрадовался, как в детстве.

Ехали автобусом, и чем дальше от города, от асфальта, от дымящих труб, тем больше в открытые окна входил запах леса, полевых трав. Федька спал, наказав Владу разбудить его на остановке со странным названием «Рябковский поворот».

– Деревня наша называется Рябково, – пояснил он, засыпая.

Влад вспомнил, что деревня, где он гостил в детстве у бабушки, тоже называлась странно и как-то ласково – Меленки. Хотя никаких мельниц там и помину не было. Тогда, может, и не было, а раньше, значит, были... Стал вспоминать, сколько лет не бывал на бабушкиной могиле, и не смог вспомнить. Как-то мало что связывало его с теми местами, с оставшимися, наверно, еще там хоть и дальними, а, смутно помнится, многочисленными родственниками, судьбой которых он мало интересовался. Да он и не видел их с тех пор, как началась его взрослая студенческая жизнь.

Нет, у него с внуком будет не так. Внук не забудет деда. Дед будет летать к Владу младшему в Ленинград, дед будет залучать его к себе на каникулы. Научит его обязательно конькам, любимым своим горным лыжам, рыбалке вот...

– «Рябковский поворот» – следующая, – со свистом выдал в микрофон водитель, и Влад растолкал Федора.

– Рано будишь, – широко и беззлобно улыбнулся тот, не открывая глаз.

И действительно, до остановки ехали еще минут пятнадцать и высадились с корзинами Федора и рюкзаком Влада на перекрестке асфальтированной дороги и проселка у самого указателя: «До деревни Рябково 5,5 км».

– Пешком? – спросил Влад.

– Да, попутных к нам теперь не бывает.

Они свернули на проселок и пошли вдоль леса. От запаха луга, к которому примешивался запах соснового леса, слегка кружилась голова.

– Влад, а Влад, – почти сразу начал Федор. – Ты не обижайся, только я тебя к Ерёме ночевать сведу. Дома у меня Гидра такое устроит – связываться не захочешь.

– Что еще за Ерёма? – спросил несколько раздосадованный Влад.

– Сосед мой, хороший мужик. Я за тобой на рыбалку утром прямо к нему зайду. Он тебе и резиновые сапоги даст, высокие...

– Что это ты так за него ручаешься? – даже рассмеялся Влад.

– А знаю я его. Хороший мужик! Безотказный. Я с ним век в соседях живу, еще когда он веретёнщиком был...

– Кем, кем?

– Веретёнщиком. Веретёна точил для наших баб деревенских. Из всех деревень у него брали. Да это когда было... Тогда колхозы вокруг на овцеводчество переводили, а теперь уж мало кто прядет... Да... И скажу я тебе, красивые веретёна делал.

Федор произнес это раздумчиво и уловил удивленный взгляд собеседника.

– Ты знаешь веретёна-то, видел когда?

– Ну, видел в детстве, в деревне у бабушки. Токарные... Серенькие такие...

– То-то и есть серенькие... Только он не просто серенькие делал. Сначала, конечно, на токарном станке как обычно выточит... Выточит-выточит, значит, а по низу маленький поясок с рисунком сделает. Мелкий такой рисунок. И ведь рисовал, шельмец, всё про наше деревенское. Даже меня, – Федор хохотнул. – Да, меня изобразил, представляешь? Сома я большого мальчишкой вытянул, так он меня с этим сомом на своем веретене и вывел. А веретено это одна тут баба, Анна, у него купила. У нее и увидали меня на веретене. Смеялись все, глядя на меня-то. А я гордился... Только я же Ерёму и подвел!

– Это как же?

– А вот как. Бабы-то наши любили брать веретёна именно у Ерёмы. Расписные, а стоят не дороже простых, совсем дешевые, а куда красивее гладких, от других-то мастеров. Только нет-нет да теряли они свои веретёна, и то та, то другая, значит, приходили к Ерёме за новыми. А он серчал. «Ворёны, говорил, вы полоротые. Ведь это худо-же-ство, а у вас уважения к художеству нет. Так что бабы уж и боялись признаваться в пропаже. Молча купят и ходу.

Кузнецова баушка, бывало, говорит бабам: «Веретено, оно вещь не простая. Его без присмотра оставлять никак нельзя. Потому – мыши их очень даже любят и в норы свои закатывают».

Так бы всё и шло, да случился в нашей деревне пожар. Тогда множество домов у нас сгорело, и Ерёмин дом, значит, тоже. И спасти ему удалось только инструмент свой да еще какой-то сундучок небольшой соседи ему с веранды вытащили. Толпятся все около погорельцев и Ерёму тоже жалеют.

Я маленький был, бегаю между перинами и узлами. Увидел сундучок Ерёмин, открыл его да и вижу: лежат там веретёна, штук десять. Веретёна как веретёна, Ерёмино работы, только больше – старые; с обрывочками ниток которые, а некоторые и сломанные даже. А на одном из них – я с сомом!



Взял я его в руки, а Анна тут как тут. Присмотрелась:

– Моё веретено, – говорит. Да как заорет: – Бабы-ы-ы-ы!

Ну тут и поднялся крик! Многие свои веретёна потерянные узнали, орут да – к Ерёме. Крохобором его да по-всякому.

– А он что же?

– А он... Он как сказал – всех их отбрil! Тебе, говорит, Анна, лучше было бы и не начинать обвинять-то. Я где у тебя это веретено взял? Не помнишь? Окно ты им подперла.

– Чтобы не раскрывалось, значит, – пояснил от себя Федор. – Подперла, говорит, ты им окошко, да плохо. Рама хлопает, скребет прямо по рисунку. А на нем глянь-ко, нет, ты глянь, – Федька наш с сомом!

Так и чехвостили их, одну за другой! Ха-ха-ха!

А ты, говорит, Верка, что глядишь на меня во все глаза? В дому бы ты лучше ими глядела, тогда ребятишки твои не таскали бы что попало по двору да в огород. Веретено-то твое я у самого забора в луже между грядок увидал. Там же и ножницы валялись. Веретено-то я забрал, это правда, – обидно мне стало. А ножницы твои – удивлялась поди – это я на ворота тогда повесил: ножницы всё-таки, а ребятишки маленькие...

Ну и всякое такое, в том же роде, им повысказывал...

Веселость Федора передалась и Владу. Он шагал рядом с парнем, дышал забытыми запахами природы. Из тени сосновых лапищ над краем дороги они то и дело выходили на открытое солнце и потом снова входили в тень. Федор шел легко, придерживая на плече ручку корзинки побольше и при рассказе размахивая другой корзинкой. Лицо его снова распарилось от жары и воспоминаний.

– Ты сказал, что больше он уж не делает веретёна?

– Ну да, только это не из-за баб. Ну, просто после пожара деньги побольше ему стали нужны. И придумал он шкафы да буфеты делать кухонные. С витыми столбиками, да такие, что нарасхват. Но и тут не удержался – и на них росписи делать стал.

– Это как же?

– А вот. Больше поверху, над дверцами. Пояски такие делает и на них уж рисует.

– А что рисует?

– Да опять же больше случаи из жизни. Что у нас происходит, значит. К примеру, вот пожар был, так он в третьем годе на буфете Кланьки Анисимовой такое полыханье развел – всю избу у нее осветило! До сих пор дивятся: улица горит, над деревьями, даром что ночь, птицы поднялись. А вокруг!.. Маленькие-маленькие, премалюсенькие такие человечки! И кто бежит, кто тащит что: воду или пожитки... А то и стоят, глядят, переговариваются. Это больше старики... Ну вот... Осенью свадьбы рисует, летом – девок в лесу. Гулянья всякие на праздниках...

– И что, нравятся людям его шкафы?

– Господи... Да ведь красиво-то как! У девок румянец во всю щеку, свињи в горошек, а у лошадей ноги такие тоненькие...

– Что же, и у тебя есть такой шкаф?

– Есть, да только не знаю, увидишь ли, не от меня зависит... – скис Федор, но, взглянув на гостя и поняв, что тот не сердится и даже понимающе улыбнулся ему в ответ, продолжил, размахивая своей корзинкой: – Я всё удивляюсь, как это он умеет самые маленькие мелочи вывести. Ведь даже цветочки под ногами, ягоды и грибы на шкафах Ерёминых прямо в подробностях разглядеть можно. На базаре я заметил, что многие приходят не покупать, а просто так, поглядеть, что,

дескать, он новенького изобразил. Он теперь хитрый стал: как приедет на базар, сразу с рисунков рогожу сымет, а уж потом шкафы отвяжет да здороваться со знакомыми станет. К тому-то времени покупатели и насмотрятся, и наговорятся, и решат, кто какой... Ой! – тихо вскрикнул Федор и замолчал. Шаг его вдруг замедлился, и он уставился куда-то вдаль.

– Что? Что ты? – на ходу пристраиваясь к медленному его шагу, забеспокоился Влад.

– Гидра моя!

Дорога в деревню, уже видную вдаль, была абсолютно безлюдна.

– Где? – удивился Влад. –

– Направо, около домов гляди. Видишь красное платье? Она это...

И через мгновение:

– Сюда идет.

Вдалеке действительно около одного из домиков виднелось что-то красноватое. Но было это так далеко, что ничего рассмотреть было невозможно.

– Сюда идет, – повторил Федор, и до самого подхода женщины разговаривать с ним было уже невозможно.

Женщина долго шла к ним по извилистой дороге, затем на повороте ее скрыли кусты, и когда появилась она перед путниками, это было как настоящее Явление. Таких огромных синих глаз, таких точеных линий Петрович, кажется, и не видывал никогда. Он ахнул про себя и тут услышал голос Гидры. Голос был бархатный, грудной и певучий:

– А-а-а... – пропела она с неподражаемой издевкой. – Федор Федорыч! Где были, что делали? Кого это ведете в наши края?

Глаза ее прямо и без малейшего замешательства остановились на Владе, и он замер от какого-то томительного счастья, словно это был не взгляд, а дар.

И тут услышал он тихий, нежный лепет Федьки:

– К Ерёме, на рыбалку его веду, Катя... У человека внук родился...

Катя при этом известии снова спокойно, но теперь уже вопросительно взглянула на Влада. Тот кивнул.

– А ты, Катя, куда?

Гидра посмотрела налево, в сторону небольшой рощицы.

– За реку мне надо. К вечеру вернусь.

– А мы у Ерёмы будем...

– Ладно, – миролюбиво произнесла она. И, кивнув Владу: – Поздравляю, – и не глядя больше на мужчин, пошла от них к роще.

«Ну Гидра, ну хороша!» – внутренне ахал Влад, всё вспоминая голос ее и взгляд. Она была так красива и так независима от своего Федора, что было действительно непонятно, что же заставляет ее оставаться с ним под одной крышей. И Федор тоже после этой встречи пришел к себе не сразу.

На их стук долго никто не отзывался. Наконец дверь открылась, и в темноте сеней шаги открывшего удалились вглубь дома.

– Ты обожди, я сейчас... На-ка, – сказал Федор и поставил на крыльцо около Влада корзинки.

Влад разглядывал с крыльца первые ближние домики Рябкова. Завалинки, покосившиеся заборы, деревянные туалеты во дворах. Две девочки, лет по семь, в ситцевых платьицах без рукавов вышли на соседский огород и замерли недвижно, с любопытством разглядывая чужого.



– Пошли, – выглянул из сеней Федор и повел Влада в темноте сначала прямо, а потом налево, где виден был свет из приоткрытой двери. Навстречу им поднялся Ерёма, оказавшийся лет за семьдесят, высоким и крепким.

Видимо, Федька на переговорах выложил о Владе всё, потому что работа Ерёмы у верстака была аккуратно прикрыта газетами, а посреди комнаты уже накрывался стол. Жена Ерёмы, такая же, как он, высокая и крепкая, радушно улыбаясь, собирала, как говорится, «что бог послал», несла всё, что было в доме. На столе появились соленые грибы и жареная рыба, домашний хлеб и салат из помидоров и огурцов, посыпанный зеленью. Влад взглянул на ответившего ему улыбкой Ерёму, на вновь рассиявшегося Федора и поспешил вытащить из рюкзака пиво и дежурную воблу. Он почувствовал себя желанным гостем, и усталость его как рукой сняло.

Ужин длился долго.

Ерёма с Федькой сидели друг против друга, и мастер беседовал с парнем на равных, обсуждая деревенские новости и планы. Влад слушал их вполуха, предпочитая нахваливать хозяйке ее угощение. Потом Федька поведал историю с кражей денег на базаре. Потом начали, наконец, обсуждать новую работу Ерёмы, шкаф, еще не готовый, детали которого лежали у верстака, прикрытые газетой.

Слегка захмелевший Ерёма говорил, поглядывая то на одного гостя, то на другого:

– Как закончу, к Шаломенцевым его повезу. Николай, Шаломенцев-то, сильно просил: завези, говорит, уж сам, а я тебе, говорит, накину. Лошаденка у него слабенькая, чуть не околела весной, когда мертвого жеребенка принесла. Вон Федька знает... Испугалась, вишь, чего-то на выпасе да и скинула. Ну вот... поеду к нему. А на шкапу-то, всё думаю, нешто нарисовать его Резвую? Будто бежит она по полю, а за ней – волки. Растянулась стая, а последние уже по другой стенке, за углом бегут... Как думаешь, а? – обратился он неожиданно к Владу.

Тот не знал, что сказать. Ему нравился такой сюжет с погоней, но ведь он никогда не видал работы Ерёмы, и сейчас было самое время попросить показать.

– Да у меня что же? – ответил тот. – Готового и нет ничего. Работать-то больше в зиму, а летом с хозяйством и спать некогда бывает.

– Есть тут, правда, один... – неожиданно вмешался Федька, и Ерёма недовольно взглянул на него. Возникла пауза, видно было, что мастер колеблется, потом он махнул рукой и повел их на веранду. Зажгли свет. В углу возвышалось что-то, накрытое рогожей. Это оказался красивый буфет изящных вытянутых пропорций, с витыми колонками по бокам. В два ряда буфет опоясывали рисунки.

Подойдя поближе и приглядевшись, Влад с удивлением обнаружил, что изобразил художник две похоронные процессии. На верхней гроб покоился на плечах солдата и трех мужиков. Процессия провожающих разного возраста растянулась слева направо. Центр композиции был отдан идущей за гробом высокой старухе. Узкое ее тело было одето в черное платье, рука опиралась на палку. Голова повязана сбившимся назад платком в розах, из-под платка выбились седые пряди. Левую, свободную руку она воздевала к небу, голову запрокинула...

– Кто это? – спросил Влад удивленно.

– Это плакальщица наша деревенская. Милодорушка. На всю округу знаменитая! В позапрошлом году померла.

В детстве, в Меленках, у Влада тоже была старуха-плакальщица. Старуха неразговорчивая и властная, но плакавшая по покойникам удивительно жалостно. Такие находила она слова отчаяния и печали, что у самой всякий раз слезы сплошь заливали щеки и скатывались по желобкам морщин, попадая ей в открытый рот, а когда она запрокидывала голову, как та, на буфете, слезы текли по шее и за шиворот... Влад до сих пор помнил, как, простирая вперед руки, тонко выводила она, идя за гробом молодой тетки Влада Ольги: «Выйду я поутру на крылечко, спущусь за водой ко колодезю, загляну я в студеную воду и спрошу я лицо своё старое: “Как же это ты еще осталось и где же, где краса ненаглядная Олюшка, что здесь по утрам на себя гляделася? Да и правда ли, что не увидим, не посмотрим мы в глазоньки ее небесные, не услышим песни ее веселые?”»

– Ну, а это уж Милодорушкины проводы.

И по низу верхней половины буфета Влад начал рассматривать второй рассказ. Здесь по-старинному обычаю гроб несли на полотенцах. Провожала вся деревня, со стариками, с малыми детьми. За ними важно шел теленок. Во всем была видна неторопливая обстоятельность. Одна из баб несла под мышкой гуся, видно баба эта тоже была деревенская достопримечательность. Занятый рассматриванием, Влад услышал хлопанье входной двери, затем невнятно донесшиеся приветствия хозяйки и отвечавший ей голос, певучий и опять схвативший его за сердце:

– О-о-ы-и-е-ч-е...

Очевидно, пришла за Федором и, очевидно, сказала «Добрый вечер». При звуках этого голоса Влад вдруг перестал соображать, метнулся куда-то от буфета и замер у темного окна веранды, бессмысленно глядя в темнеющий сад. С одной только мыслью, каким-то звонким внутренним восклицанием: «Что же это за день у меня такой сегодня счастливый!» – он обернулся. Увидел, что остались они с Ерёмой одни, и услышал тоскливые объяснения мастера, что буфет этот он сделал еще весной для дочери Милодорушки, Татьяны.

– Что же не отдаешь? – включился Влад.

Ерёма потупился.

– Отдавал. Не берет. Изругала всего и отказалась. Бесстыдник, говорит, где это видано – похороны изобразил! А я ведь хотел как в книге египетской...

– Где-где?

– Да тут учитель всё книжку одну читал, а в книжке у него картинки. Посмотрел я и диву дался: вот прямо подробно, как у меня... Люди, люди... И работают, и поют, и молятся... Только всё не по-нашему. И одеты – чуть прикрыты. «Кто это?» – спрашиваю. А он говорит: «Египтяне». У них в стране Египте жара несусветная, они и ходят в чем мать родила, худые да черные, сожженные все. Да и ходят-то как-то боком. Потом смотрю – похороны. Он всё мне объяснял, как у них хоронят-то. Тоже не по-нашему. Много он мне рассказывал. Чудно. А тут Татьяна и закажи мне буфет. Я и подумал: всё опишу. И как Милодора сама пела, и как потом мы ее провожали всем миром. Внуки будут знать и правнуки, и зайдет кто – вспоманет... Радовался, долго выводил. Тут у меня видишь: Любка еще брюхатая и Васька ее с мальцом, Колька на лавочке. А это дом Милодорушки, яблони ее в цвету... Всё честь по чести.

Ерёма еще раз взглянул на буфет, восхищенно крикнул и вернулся с Владом к столу. Там он налил себе и Владу по последней, выпил и вдруг, следуя, видимо, своим мыслям, ударил кулаком по столу.

– Так нет же! Уперлась, дура. Не возьму да не возьму. Другой делай. А на вот тебе, говорю! Пусть тебе кто хошь теперь делает. Не берешь – не надо. Пускай у меня стоит. Мне Милодора плохого не сделала. Я ее, почитай, с детства наслушался.

– Что же на веранде-то? – уже тяжелеющим языком спросил Влад. – Вещь красивая. Испортится зимой.

– А вот всё Наталья моя. Убери да убери из горницы. Я, говорит, покойников боюсь. Тоже дура.

Ерёма расстроился вконец. Владу хотелось его утешить, сказать ему, что ничего, всё уладится и что вот, у него, у Влада, внук родился. Но он уже засыпал на ходу и только ласково глядел на Ерёму и улыбался.

Постелили ему на веранде, и, несмотря на жесткую деревянную кушетку и петушиные побудки, выспался он прекрасно.

Уже светало, когда он, полусонный, вышел на задний двор. Деревянный туалет, сарай, курятник и забор, отделяющий огородные грядки, – всё было добротно, аккуратно и носило следы хозяйственной, но и художнической руки мастера. По дороге в дом ему встретилась Ерёмина жена с кормом для кур в большой миске.

– Приходил, приходил уж Федор. Наказывал вам идти к нему, как проснетесь. Хотела уже будить вас. Как ночевали?

Поблагодарив хозяйку и разузнав, как найти дом Федора, Влад подхватил свой полегчавший рюкзак и вышел на улицу.

Ерёму отделяли от Федора два других дома с заколоченными ставнями. Федор сидел на открытой веранде в расстегнутой рубашке и увидев «друга», жестом пригласил подняться к себе. Из открытого окна полыхнуло на Влада чем-то ярко-васильковым и скрылось в глубине дома.

– Не вышла наша рыбалка, ты уж прости. Тут такое дело...

И выяснилось, что хоть и ловят мужики до сих пор в своем озере, но принадлежит оно уже чужому какому-то хозяину, какому-то кооперативу из новейших, что начали создаваться в эти перестроечные дни. Кооперативщики должны появиться вот-вот, а пока подрядили следить за неприкосновенностью «своей» рыбы местного милиционера Трошина. Служба эта для Трошина – левак, он ведь не Рыбнадзор, но неприятность от него получить можно. Составит протокол, а там доказывай. Пока всем сходило с рук, договаривались, а тут уперся, и уже готова телега именно на Федора.

– Выслуживается перед приездом хозяев, – резюмировал Федор, внося на веранду огромную сковороду с яичницей-глазуньей. – Налетай!

За ним вышла Гидра, неся хлеб и салат. На ней было сегодня яркое васильковое платье в мелкий цветочек. Ее синие глаза так и пылали.

– Выслуживается? – повторила она с сомнением. – Да одумается он. Успокойся. Жалко только, что рыбалке помешал.

– Зато дружбе нашей помешать не может! – Федор дотронулся до плеча Влада. – Правда, друг?

– Не може, не может, – весело поддакнул Влад, стараясь не смотреть на Гидру.

– А ты что же, Катя, не присядешь с нами? – спросил ласково муж.

– Некогда, Федор Федорыч. За реку мне надо. Управиться бы до вечера с привезенным. Вы уж тут без меня.

И, кивнув с улыбкой на прощание, она удалилась, слепя васильковым развевающимся подолом.

— А скажи, я всё слышу — «за реку» да «за реку»... Что это значит? — поинтересовался Влад.

— А это наш так называемый административный центр, бывший теперь. Через мост, за рекой, значит. Там у нас и правление было, и Красная площадь своя, и памятник героям погибшим. До сих пор стоит. Там и школа наша. Катя там бухгалтером, по совместительству в библиотеке подрабатывает. Сейчас к сентябрю учебники получили и еще что-то, в ящиках.

После завтрака Федор собирался навестить мать, а Владу посоветовал погулять, посмотреть деревню. Встретиться можно вот как раз «за рекой», потому что к обеду Федор зайдет к жене, помочь с тяжелыми ящиками.

— Какое-нибудь кафе или хоть столовая у вас «за рекой» есть?

— Не беспокойся, голодным гостя не оставим! Торопиться тебе некуда. Автобус твой сегодня в три и в восемь. На вечернем и поедешь. Ладно?

На том и разошлись.

Влад медленно прогулялся по одной улице деревни, потом по другой, что спускалась полукругом к озеру. Здоровался со стариками на лавочках, ему долго смотрели вслед. Попадалось много заколоченных домов. Уезжали люди. А некоторые дома были крепкие, с красивыми резными украшениями по карнизам и вокруг окон. Купить бы такой дом. Будет куда приезжать с внуком. К тому времени, может быть, и у Федора ребятишки появятся. Будет компания. Он размышлял... Уже представил, какой красивой может вырасти дочь Гидры, уже отдал ее в невесты Владу младшему... Шутки шутками, а поговорить о ценах на здешние дома с Федором не мешает.

Вышел к озеру. На берегу никого. Вода холодновата. Всё-таки переоделся в кустах. Искупался. Упрятал плавки в целлофановый пакет и направился длинной дорогой к мосту через реку.

Площадь перед бывшим правлением была завалена стволами спиленных деревьев, что-то здесь затевалось. Над дверью еще сохранился кусок вывески «ПРАВ». Хохотнул: «А кто прав и прав ли?...» У крыльца двухэтажной школы он присел на лавочку. Гудели ноги в городских ботинках, и он чуть не задремал с устатку. Его разбудили голоса из открытого рядом окна.

— Ты думаешь, так легко, взял и перевелся? Я же на службе, Катя!

— Твои проблемы, тебе решать. Моё слово твердое, ты меня знаешь. А до той поры ничего от меня не добьешься. Я по углам с тобой обжигаться не буду. Мне Федора, голубя ласкового, позорить ни к чему.

Гидра! Он не верил своим ушам! Он вжался в спинку лавочки и слушал, не шевелясь.

— Катя, ты пойми... Который год! Я уж от отчаяния...

— Плохо ты, голубчик, придумал от своего отчаяния... В общем, положи эту твою страшную бумажку сюда и больше не затевай такого. Мы же договорились: переведешься в город, устроишься по-серьезному — сразу к тебе перееду.

Где-то внутри хлопнула дверь, потом наружная распахнулась, и на крыльцо выскочил молодой милиционер, перебежал площадь, оседлал мотоцикл с коляской и умчался.

Влад взошел на крыльцо. Постоял немного в ожидании, не выбежит ли следом Гидра, но всё было тихо, и он вошел в вестибюль. Дверь в библиотеку была приоткрыта, оттуда доносился ровный стук пишущей машинки.

– Можно войти? – внутри всё трепетало от противоречивых чувств.

Васильковская Катерина абсолютно безмятежно подняла на него глаза и улыбнулась. «Ну, просто актриса!»

– А Федор не пришел еще? Мы уговорились у вас здесь встретиться...

«И ты тоже не хуже». Но легкие, маскирующие фразы дались с трудом.

Она пригласила его присесть и подождать минуточку. В углу громоздились нераспечатанные коробки и ящики. Он сел на стул, сняв с него стопку учебников.

– Большая у вас школа. И библиотека, видимо, хорошая, – сказал он, чтобы что-то сказать, когда она подошла к нему.

– К сожалению, ждем перемен, уезжают люди, увозят школьников, – вздохнула она, стоя так близко, что мысли его путались. От нее словно шли волны, мешая ему дышать. Он пошел от нее вдоль полки с книгами. Спросил издали, стараясь говорить равнодушно:

– Я слышал, вы тоже хотите переехать в город?

– Хочу.

– А Федор?

Она внимательно всмотрелась в его глаза, сжала губы и отрицательно покачала головой. Он взорвался:

– Да что ж такого притягательного для вас в городской жизни, ведь тут у вас – рай земной!

– Вам не понять.

– И ради этого... – Тут она тревожно взглянула на него и придвинулась ближе. – Ради этого... Да я слышал всё, Катерина! Ради этого оставить Федора?

Она подошла к нему почти вплотную.

– Молчите, – тихо, но твердо сказала она.

– Не бойтесь, – он тоже перешел на шепот. – Я уезжаю сегодня и никому не скажу. Но зачем вам этот Трошин? Ведь вы не любите его.

– Не в любви дело. У женщины должна быть опора, одной труднее.

– И ради этого с любимым... – его трясло.

– Не с любимым, а с самостоятельным. И я нужна ему. Да для человека, который изменит мою жизнь, я на всё готова.

– А для меня, со мной, например, – не понимая, что говорит, выдохнул он.

Он не мог бы определить, сколько длился ее синий взгляд, прямо устремленный в его глаза, потом она подняла руку и положила ладонь к нему на грудь:

– С таким-то соколом ясноглазым... – и она сказала что-то еще, но только время спустя он припомнил и понял эти слова, потому что в тот момент она, мягко обхватив его шею, медленно, томительно и крепко поцеловала его в губы. Ничего не соображая, он притянул ее к себе

– Катя, ты где? – раздалось у двери.

Она отстранилась, приложила палец к его губам.

– Иду! – и пошла на голос Федора, нетерпеливо махнув Владу рукой за полки, туда, где сквозь открытую заднюю дверь виднелся школьный двор. Влад не помнил, как выкатился в этот двор, как добрался до дороги.



Как это с ним случилось? Сколько ни спрашивай, никто не ответит. Шло, шло, шло... вело – и накрыло. Да успокойся ты! Что, собственно, произошло? Ну, поцеловала женщина, не семнадцать же тебе.

Но ощущения нежной руки на его груди было уже не забыть. «Сокол ясноглазый... С таким не только в город, а на край света...» – сказала она. И – поцелуй! Ох ты, господи! Само ж идет в руки... Не Трошину же отдавать! Решиться? Перевернуть всё! Её в охапку, и не в свой, а в любой другой город! Всё для неё. Никого, ничего из прошлого. Всё с белого листа, представь, Владислав. Всё с белого листа! Открыть ей мир. Всей душой... И эти руки, эти поцелуи будут твои...

И не будет ни горных лыж, ни ледовых коньков, ни рыбалок, как мечталось, с этим внуком и с этим Федором. Не будет радостных возвращений в старый рябковский дом с полными грибов корзинками. Да и дома-то этого не может теперь быть, блин!

Но зато... зато...

«Дед с ума сошел», – подумал он, вдруг представив взгляд на ситуацию только что открывшимися на мир глазами Влада младшего.

Домой тебе надо, и немедленно. Какой обед? Какая может быть встреча с Федором? Как раз успеаешь на трехчасовой... Беги домой! Но и дом его, и прежняя жизнь отступили теперь куда-то.

Звук мотоцикла раздался за спиной, из-за поворота проселка показался и медленно затормозил рядом милиционер Трошин. Русский, с аккуратными щегольскими, тоже русыми усиками. Медленным великодушным жестом, не глядя на Влада, он откинул полость коляски. Отказываться, «рядиться» на пустынной дороге было глупо, да милиционер и не понял бы ничего. Влад молча уселся рядом с соперником. Молча доехали до перехода проселка в асфальтированную дорогу. Благодарно кивнув, Влад ловко выпрыгнул из коляски и пошел по асфальту к остановке. А милиционер Трошин развернулся и отправился к себе «за реку». У него своя жизнь, служба, Катя, а у Влада своя – стройка, ленинградский внук, жена, и Катя теперь вот тоже...

Вокруг оглушительно стрекотали кузнечики. Пустынно было на асфальтированной дороге, нагретой солнцем. Только воробьи сразу привычно и бесстрашно, в ожидании подачи, начали суетиться вокруг него, неподвижно замершего спиной к столбу, отмеченному знаком «Рябковский поворот».

## Владимир ГУЛЯЕВ

Родился в 1957 году в селе Шелаболиха Алтайского края. Окончил Норильский вечерний индустриальный институт, Алтайский политехнический институт. Инженер-строитель. Работал в проектно-институте «Алтайгипропроводхоз», заместителем председателя райпо по строительству, главным архитектором района и в других должностях. В настоящее время директор ООО «АлтайТехЭнергоСтрой».

Автор четырёх книг прозы. Рассказы и стихи публиковались в коллективных сборниках. Живёт в Барнауле.

## НЕ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

*(События 1958 года. Сибирь)*

После окончания профтехучилища молоденькая девушка, новоиспечённый фотограф, получила распределение в небольшой районный центр. Куда она и отправилась с маленьким чемоданчиком «балетка», но с большим энтузиазмом и удовольствием, а как иначе — впереди для неё начиналась самостоятельная, взрослая жизнь, интересная работа в фотоателье, знакомства с новыми людьми, возможно, даже встреча своего суженого! Хотя об этом она ещё и не думала вовсе, ну так, может, только самую малость, но это было где-то ещё глубоко в её сознании. На первом месте было увлечение фотографией, да и вообще, столько много интересного ждало её впереди, а не эти глупости про парней.

От краевого центра до нового места жительства было рукой подать, по сибирским меркам, всего-то километров восемьдесят с гаком, и вскоре замороженный автобус доставил пассажиров к небольшой деревянной избе с чуть криво прибитой над массивной дверью вывеской, на которой коричневой краской, потрескавшейся от ветра и холода, было написано «Автовокзал». Пассажиры спешно покидали холодный автобус, женщины с детьми так же спешно заходили в дом вокзала, затаскивая с собой узлы, а мужики, показывая своё безразличие к морозу, с расстегнутыми бортами пальто или полушубков, останавливались возле крыльца вокруг ведра для окурков и закуривали, чтобы продолжить свои разговоры, не законченные в поездке.

Полина тоже вслед за тётками втиснулась внутрь. Чуть влажный, но тёплый воздух в помещении обрадовал, она пробралась к большой круглой кирпичной печи и приложила к ней окоченевшие руки.



– Зябко? – спросила дородная тётка, снимая с себя большую пуховую шаль. – Я ещё в автобусе на тебя посмотрела и подумала, как это она в такой одежке не мёрзнет?

– Ничего, я привыкшая.

– Марток – одевай семь порток. А ты вона как легонько одета. К нам в гости, поди? Не признаю тебя. Ненашенская.

– Училище закончила, вот на работу сюда приехала.

– И кем же ты к нам, такая худенькая? Медичкой или учительницей?

– Да, нет. Фотографом буду работать.

– Это, значит, с Карлычем в быткомбинате будешь? Это хорошо! А то он у нас, Карлыч-то, старый уже стал. А ты, значит, ему в смену. Как зовут-то?

– Полина.

– А жить-то есть где? Родственники там или знакомые.

– Да нет. Пока вот только с вами познакомилась.

– И чё? На постой, поди, ко мне хочешь?

– Нет, там мне вроде бы комнату обещали дать.

– Вроде бы да кабы. Комнату! Негоже девке одной в комнатах жить. Мало ли кто ночами мимо ходит! Я с этим комбинатом рядышком живу, угол у меня с кроватью есть. Пустует. Дочка в город уехала. На заводе работает. Не жилось ей здесь, в город, окаянная, умыкнула. А я тут одна мыкайся! Дочка-то, как ты, такая же щупленькая. Так что пожелаешь – поживи у меня. Мне всё веселее будет. А там дальше и поглядишь.

– Спасибо. Я, конечно, согласна.

– Ну вот и ладушки. Погрелась, тогда и пойдём. Я тут недалёко живу.

Со следующего дня начались трудовые дни.

Приближался Международный женский день, поэтому работы в фотоателье прибавилось: народ шёл и шёл фотографироваться, появились заявки на съёмку свадеб в загсе райцентра и в ближайших сёлах.

– Ишь, прослышали, что молодая да красивая в помощниках у меня появилась, так сразу валом повалили. А ты, дочка, учись. Фотография – это очень доброе дело. Вот живут себе люди, живут. А потом раз, и всё. Нету их, а карточки остались на стенке под стеклом висеть. Память! А когда нет фото, то со временем уже и не вспомнить, кто и как выглядел, а на пальцах да словах и не обрисуешь его внешность. А тут глянул и распознал. Так что наша работа фотографов очень даже нужная! Мы как хранители семейной памяти людей и их моментов жизненных, запечатлеем событие, как будто время остановим, а люди нас потом тёплым словом и помянут. Вот так, Полина!

И Полина училась. У Петра Карловича, а именно так звали старого фотографа, было чему поучиться.

– Главное, Поля, в нашем деле знаешь что?

– Хорошая фотокамера и софиты.

– Нет, главное в фотографии – это наш клиент, который желает получить от нас хорошее и качественное фотографическое изображение самого себя или своей семьи. И вот тогда мы должны правильно выбрать фон, освещение, помочь ему правильно встать или сесть, чтобы удобно было. И разговаривать с ним как со своим старым и добрым знакомым, чтобы он чувствовал себя как дома. Знаешь, Поля, чувство собственного дома – это спокойствие и свобода, это самое гармоничное состояние человека, и оно одно из главных наших чувств. Вот нам и нужно, чтобы человек, придя к нам, расслабился и стал тем, кем он есть в обычной,

привычной для него обстановке, а не обращал внимания на яркий свет ламп и наши декорации. Вот тогда всё будет как надо! И фотография не будет сухим снимком, а будет живой и радовать глаз. Фотография – это искусство. Ну, тебя этому учили.

– Да, но про чувство собственного дома нам в училище ни разу не говорили.

– Про это в учебниках не пишут, это понимание приходит позже и у каждого по-разному, я думаю. Всё зависит от того, хочешь ты просто фотографировать или стать фотографом-художником. Художник, он что делает – он воплощает своё виденье красоты на холсте неделями или месяцами, а настоящий фотограф должен увидеть момент красоты и успеть запечатлеть его, потому что повтора этого момента может больше и не быть. Вот в этом, Поля, и состоит наша работа – поймать момент.

Поля внимательно и с интересом наблюдала за артистической работой старого седого фотографа, за его манерой общения с людьми, стараясь перенять все его действия и движения. После окончания рабочего дня она не сразу уходила домой, а часто оставалась в ателье до ночи, чтобы как можно больше проявить фотоплёнок, отснятых за день, отретушировать при необходимости и распечатать фотографии, отглаживать их и увидеть плоды своего труда.

В один из вечеров, когда на улице завывала весенняя вьюга и барабанила тяжёлыми снежными крупинками в окно, Поля опять осталась поработать в лаборатории. Красный свет фонаря освещал процесс появления изображения на фотобумаге. Свадебные фотографии получались, как показалось Полине, очень даже симпатичными. Неожиданно послышались стуки в дверь ателье.

«Кто бы это мог быть в такую пору?» – подумала она.

– Кто там?

– Откройте, пожалуйста. Мы из соседней деревни. Хотели бы сфотографироваться, – послышался с улицы мужской голос.

– Но уже поздно. Мы не работаем. Завтра приезжайте.

– Завтра не получится. Завтра уже нельзя будет. Вы только сфотографируете нас с девушкой на память, и мы сразу же уедем. Нам правда завтра нельзя уже будет. Это у нас последний шанс с ней сфотографироваться! Правда другого шанса больше не будет! Да вы не бойтесь.

– А я и не боюсь вовсе! – Поля открыла дверь, на пороге стоял заснеженный с ног до головы парень, а чуть поодаль – лошадь, запряжённая в сани. В санях сидело двое, ещё один парень с девушкой.

– Давайте быстро заходите, холоду напустите. Вон вешалка, можете раздеться, а там стулья, садитесь, а я пока кассету заряджу.

Поля ушла. Через чёрную штору, закрывающую проём в фотолабораторию, было слышно, как молодые люди зашли и начали двигать стульями, видимо, усаживались для фотографирования.

– Я сейчас, ещё пару минут.

Когда она вошла в слабоосвещённый зал, то увидела, что девушка в светлом платье и фате, с каким-то неприятно-застывшим выражением на лице и закрытыми глазами, сидит на стуле в не очень-то удобной позе, а парень стоит сзади, положив руки ей на плечи.

– А она что, сильно пьяная? – заволновавшись от нехорошего предчувствия, спросила Полина.

– Нет! – ответил парень дрожащим голосом. – У нас сегодня свадьба была. И ей плохо стало, сильно плохо... Она как-то сразу оступи-

лась, и всё... Мы вот с другом в сани её и в больницу, сюда, в райцентр. А она по дороге уже и... А мы с ней так и не успели сфотографироваться! Завтра утром собирались к вам приехать. А оно вот как вышло. Так что завтра никак уже нельзя.

Поля чуть не упала в обморок от этих слов.

– Да ты не бойся! Я же её не убивал, она сама умерла! Любил я её сильно. Сердце, наверное. Вот я и хочу фото на память о ней себе оставить... Да, фотографируй ты нас скорей, и мы назад поедem, а то там гости все в шоке. Я им сказал, что в больницу ее везу... Умерла моя Шурочка... – Парень замолчал, неуклюже поправил одной рукой фату невесте.

Дальше всё было в густом тумане.

Очнулась Поля утром от того, что её кто-то сильно тряс за плечи.

– Ты чего это, дочка? Перетрудилась, родимая? – Над ней стоял Карлыч.

– Ой, Пётр Карлович! Не хочу я больше фотографом быть! – разрыдалась Полина.

– погоди ты, погоди! Расскажи толком-то, что случилось?

Полина, запинаясь и всхлипывая после каждого слова, с горем пополам рассказала Карлычу, что произошло ночью.

– Как они уехали и что было дальше, я не помню, – закончила она свой рассказ, уткнувшись Карлычу в плечо.

Он гладил её по голове и тихо говорил:

– Ничего, дочка, ничего, Поля! Всякое в жизни бывает! А фотограф из тебя выйдет очень хороший! Попомни мои слова. Негоже тебе бросать эту профессию! Так бывает в жизни, что она даёт тебе возможность или шанс, называй как угодно, чтобы выбрать дорогу, по которой дальше идти! Вот он у тебя, первый выбор или первый шанс, и появился. А может, и не первый, но не последний уж точно! И ты всё сделала правильно! А вот сколько их, этих шансов, тебе предстоит пройти – никто не знает. А безболезненно никогда ничего не происходит. Может, у кого-то, но я таковых не встречал. У тебя будет ещё много всяких возможностей внести изменения в себе, в своей жизни, стоять на развилке и принимать верные решения. А вот у того парня, видимо, был и впрямь последний шанс оставить память о ней. Жалко, конечно, дивчину, да и жениха тоже, горе вместо радости и у него, и родных. Навсегда запомнится. А ты всё правильно сделала... Ну-ну, было и прошло...

Дня два Поля не могла набраться смелости зайти в лабораторию, а старый фотограф как будто и не замечал её страхов. Эти дни они молча делали свою работу: Поля фотографировала посетителей, а Карлыч проявлял и печатал фотографии. А непроявленная фотопластинка со снимком того вечера так и лежала на полке, пока на третий день, ближе к обеду, в фотосалон не вошёл молодой парень в заснеженном тулупе. Сняв шапку, он стоял в дверном проёме, переступая с ноги на ногу.

Карлыч сразу понял, кто это пришёл и зачем:

– Ой, чёрт я старый, совсем забыл, печь-то затопил, а трубу приоткрыть забывал. Поленька, я сейчас быстренько сбегаю до дому и вернусь! – накинув пальто и водрузив ушанку на голову, он ловко протиснулся между посетителем и закрыл за собой дверь.

– Здравствуй! Я вот за фотографией приехал. Помните, два дня назад мы были. – Парень стоял и мямлил своими большими руками шапку, видимо, стесняясь и не зная, как себя вести дальше и что ещё сказать.

Глядя на его неловкость и очень расстроенный вид, Полина почувствовала, что какая-то напряжённая струнка внутри неё, мешавшая ей все эти дни, вдруг лопнула и отозвалась лёгким звоном в голове. Исчезло чувство скованности и тревоги, лёгкая тёплая волна прокатилась по телу, она почувствовала, как слегка загорели щёки и согрелись руки.

– Здравствуйте! Если вы подождёте полчаса, то фото как раз закрепится и просохнет. – Ей было неловко за свой обман, но она не могла признаться этому незнакомцу, что ей было страшно не только приглядываться к кассете, но и смотреть в её сторону. – Хорошо?

– Ладно. Можно, я здесь подожду, вот тут на скамейке посижу.

– Да, конечно.

Поля быстрым шагом и решительно вошла в фотолабораторию. Страх не было, было одно желание: сделать всё правильно и не испортить эту фотографию.

Вручив парню два фотоснимка, Поля почувствовала не испытанную никогда ранее лёгкость на душе.

– Спасибо вам! – сказал парень, аккуратно завернул фотоснимки в газету и ушёл.

Поля села на скамейку, опустив руки на колени.

– Ну, слава богу, всё нормально дома. А то я переживал, вдруг чего не так, – начал с порога Карлыч. – Поля! Ты чего это, дочка? У тебя-то всё нормально?

– Ой, Карлыч, спасибо вам. Теперь-то у меня точно всё нормально! Но вот я думаю, а как ему-то, парню этому, теперь в жизни придётся, как он это перенесёт всё, что дальше у него будет?

– Эх, Поля-Полечка! – вздохнул Карлыч и замолчал.

В комнате повисла тишина. Каждый из них думал о чём-то своём.

– Знаешь, Поля, – вдруг каким-то тихим голосом произнёс старый фотограф, – я думаю, что если у того парня есть воля и вера в то, что он всё это перенесёт и пересилит своё горе и утрату... И не сопьётся, живя прошлыми воспоминаниями, значит, у него появится цель и надежда на то, что он найдёт ещё свою любовь. Конечно, эту девушку он будет всегда помнить, и время не полностью сотрёт его воспоминания... Но жизнь, Поля, это не одна малина с молоком, бывают ещё и слёзы с солью, но у него ещё есть шанс к жизни... и не самый последний шанс.

## Денис КОЛОМИЕЦ

Родился в 1984 году в Донецке. Инженер по охране труда. Живет и работает в Донецке.

### МАМА, Я ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ

Телефонные переговоры с перевозчиком были позади. Машину не надо было дожидаться до завтрашнего утра, находясь в чужом городе, покрываясь потом и дёргаясь от взгляда проходящих мимо военных. Своё дело сделали деньги. Денис выкупил все места в машине, чтобы вернуться домой. Ситуация с возможностью проезда через то, что официально называлось «линией соприкосновения», а по сути являлась фронтом, была непредсказуемой. Те тропы, через которые удавалось проезжать (контрольно-пропускные пункты были закрыты), могли быть перекрыты в любой момент. К тому же всё ему не просто осточертело, он хотел ехать дальше сегодня и сейчас. Двадцать минут напряжённого ожидания закончились. Старая, побитая жизнью «копейка» остановилась рядом с Денисом, обдав его дорожной пылью. Стекло опустилось, на него пристально посмотрел молодой кавказец.

– Здравствуйте, – тихо проговорил Денис, опустив голову к разъёму. – Вы от Алексея?

– Да, – быстро проговорил незнакомец. – Меня зовут Серёга. Сейчас положим вещи.

Серёга проворно выскочил из машины и подошёл к «багажке», покрытой пылью, после чего закинул её в утробу автомобиля. Быстро усевшись обратно в машину, он открыл дверь, пригласив внутрь будущего пассажира. Водитель опять упёрся взглядом в Дениса.

– Оплата сразу, – проговорил он.

– Да, конечно, – отозвался путешественник, торопливо запихнув потрясающиеся руки в «почтальонку».

Закралась тревога. Сейчас Денис не знал, поедет он дальше или его просто ограбит незнакомец как последнего лоха, выкинув из своего реликтового авто. Выбора не было. Кое-как он выцарапал купюры, вырученные от продажи золотых часов, передав их Харону в кепке, сдвинутой на затылок.

– Это дяде Коле, – сказал водитель, возвращая несколько банкнот номиналом поменьше Денису.

– Кто такой дядя Коля? – поинтересовался пассажир.

– Второй водитель, который дальше будет везти, – невозмутимо ответил Сергей.

Машина тронулась, покидая пустую улицу, сопровождаемая прощально-наплевательскими взглядами кошки с разноцветными глазами и сотрудницы небольшой гостиницы.

Ещё покружив минут десять по чахлым городским джунглям, выехали на сельскую местность. Водитель был эмоционален и общителен. Пассажир тоже расслабился. Разговор пошёл сам собой. Говорили обо всём: погоде, машинах, о том, как летят снаряды в твою сторону, и ты думаешь о том, смогут ли спасти подушки пожилую мать, которая не сможет добежать до убежища. О проблемах с завозом продуктов, из-за того что одни скоты, напаялив балаклавы, их грабят, а другие, прикрывшись званиями, пропускают только за деньги. О том, что периодически прекращают подачу воды и электричества, и о том, что мир, в котором жили попутчики, то ли переживает какую-то трансформацию, то ли просто летит к чёрту.

Денис вспомнил, как пару недель назад ехал в эту сторону с перевозчиком, ехал не один, были и другие пассажиры. Тогда, как и сейчас, ехали «полями». Он и другие разглядывали незнакомую просёлочную дорогу, напоминавшую туннель из-за того, что с обеих сторон её закрывали деревья. В одном месте, сворачивая вбок от бетонных конусов с надписью «Мины», пассажиры обратили внимание на кусок съёжившегося ржавого металла размером с большой чемодан. Одна из пассажирок поинтересовалась, что это. Ответ был прост. Перевозчику не повезло. Он заехал на обочину, зацепив спрятанную под фуфайку противотанковую мину, а это всё, что осталось от машины и тех, кто в ней был.

Серёга, в свою очередь, вспомнил, как показал права на языке, который теперь стал языком врага, после чего ему сломали рёбра и держали на подвале 15 дней.

– Слушай, братан, – продолжил он, указывая на магазинчик в селе, в которое они въехали. – Я найду за сигаретами и напитком, возьми себе пива, попей и с собой привезёшь.

Затарившись, они продолжили путь. Перевозчик объяснил, что сигареты и химико-газированный компот он отдаст тем, кто будет на посту перекрытой дороги, хотя он надеялся, что никого не будет.

Они продолжали свой путь на колымаге, которая покоряла все препятствия на пути не хуже машин участников топовых ралли.

– Блин, – прорычал Серёга. – Стоят.

Денис, добив банку слабоалкоголки, стал внимательно всматриваться в пейзаж на расстоянии метров пятисот перед ними, но ничего, кроме круто спускающейся дороги, высокого тополя с кустами под ним и насыпи, на которой расположилось железнодорожное полотно, не увидел.

– Где? – удивлённо спросил путник.

– Да под деревом, – ответил кормчий, сплюнув за окно.

Притормозив, он начал медленно спускаться. Подъехав ближе к тополю, Денис разглядел двоих. Один, коренастый и накачанный, в бронежилете с ручным пулемётом Калашникова, надетым на плечо, второй – в камуфляжной бандане со снайперской винтовкой Драгунова, направленной в спокойное летнее небо.

Автомобиль подъехал к стоявшей в тени паре солдат ВСУ.

– Добрый день, – сказал Серёга. – Человеку проехать надо.



– Документы, – проговорил солдат с пулемётом.

Водитель протянул паспорт Дениса.

– Не пойдёт, – проговорил военный. – С такой пропиской нет. Мы на ту сторону только местных пропускаем, работающих на подстанции.

– Он домой возвращается, – выпалил перевозчик.

– Да, – полупрокричал Денис. – Я за трудовой ездил. Домой возвращаюсь к родителям.

– Нет, – было сказано в ответ. – С донецкой пропиской не пойдёт.

Серёга протянул в окно сигареты и напиток, стараясь исправить положение.

– Не надо, – ответил солдат.

– Ему домой, пропустите, пожалуйста, – не успокаивался Сергей.

Военные переглянулись.

– Пропустим? – тихо обратился один к другому.

– Выходь, – сказал солдат с СВД обращаясь к Дёсу.

– Покажуй плечи, – обратился он стоящему.

– Что? – не поняв спросил возвращенец. – Какое?

Солдат отодвинул футболку с обоих плеч у замешкавшегося путника.

– Покажуй руки, – проговорил он.

Денис выставил обе ладони. На одной руке не хватало фаланг, удалённых во время операции.

– Не пойдёт, – сказал сурово солдат. – 3 плечима все гаразд, 3 руками ни.

– Что с ними не так? – спросил водитель.

– Пальцы тверди, так як зи зброи стріляв, – было сказано в ответ.

– Я много за компьютером работаю, – пытаюсь спасти положение, сказал Денис.

– Якщо ти сказав би, що багато ссиш, та подушки пальців затвердили, я ще би повірив, а так ні, – непреклонно ответил военный. – Идьте назад.

– Да я домой к матери возвращаюсь, – повторил путешественник.

– Пропустите, – проговорил водитель. – Я ему вещи отдам, пускай идёт сам.

– Едьте назад, – проговорил второй.

Денис начал панически соображать, что делать дальше, глядя на всё ещё монументально спокойное летнее небо. Он и водитель ещё раз повторили уже упомянутую выше мантру. Военные опять переглянулись, один, вздохнув, произнес, указывая рукой куда-то за спины путешественников.

– Ладно. Там есть мост через реку. Мы туда не смотрим. Поняли?

– Да, – ответил смекнувший перевозчик.

Денис, как будто выйдя из оцепенения, спросил:

– Там мины есть?

– Нет. Ты только с тропинки за мостом не сходи, – услышал он в ответ.

Быстро запрыгнув в машину, пара поехала назад. Метров через триста они остановились. Там действительно была небольшая речушка, незаметная из-за кустарника и камышей. Серёга высадил Дениса. Надел ему на плечи багажку по типу рюкзака и чуть ли не перекрестил, отправляя в дальнейшее путешествие.

– Давай, – сказал он, пожимая руку.

Денис подошёл к водному потоку, поставил ногу в воду и, не выдержав, упал на спину. Течение, несмотря на размеры речушки,



оказалось сильным. Он начал соображать, что делать дальше. В голову приходило одно – попытаться перебросить сумку и самому каким-то образом перебираться. В тот момент, когда Денис уже готовился к броску, он услышал крик сзади. Обернувшись, путешественник увидел машущего ему рукой Сергея, стоящего рядом со своим автопенсионером.

Оказалось, что они подъехали к реке не в том месте. Мост был дальше. Добравшись к нему, путники опять попрощались, Денис опять услышал о тропинке, по которой надо идти. Перейдя мост, он впал в замешательство, так как тропинок было две. Одна вела в сторону железнодорожного полотна, другая в небольшое село. Особо не выбирая, он побежал трусцой в направлении где-то между дорожками.

– Нижче бижи, – прокричал кто-то из земледельцев, работающих на огородах.

Тут раздался звонок. Денис, подняв трубку, услышал знакомый голос координатора перевозчиков.

– Правильно пошёл, – проговорил спокойно Алексей. – Двигайся к насыпи. Трубку не ложи.

– Понял, – выпалил Денис, глядя на тополь, под которым стояли солдаты.

Тут он начал размышлять о том, видят они его или нет. Эта мысль заставила его пригнуться ниже к земле. Денис увидел, что со стороны, откуда он приехал в направлении тополя, быстро едет армейская «буханка».

«Это, наверное, за мной, – подумал возвращенец, – сейчас возьмут как российского шпиона или дээргэшника. Стану в новостях антигеро-ем недели».

– Денис, не останавливайся, – услышал он голос перевозчика из динамика. – Всё нормально.

Путешественник не понимал, где Алексей. Как он его видит? Вокруг были только огороды и дома вдалеке.

Дёс продолжал двигаться. Оглядываясь, он увидел, что «буханка» завернула в другую сторону. Добежав до конца поля, он увидел, что там ещё один овраг, в котором стояла старая «тойота» серого цвета. Рядом с машиной расположилось три человека – два военных с автоматами наперевес и гражданский в красной рубаше и чёрных штанах, приветливо помахавший ему.

«Это ещё кто?» – подумал Денис, глотая пересохшим ртом воздух.

Незнакомец в красной рубаше поднёс телефон ко рту, и бегун услышал.

– Это я, Алексей. Всё нормально. Иди дальше по насыпи.

Денис устремился вверх, вскинув врезавшуюся в плечи сумку. Он передвигался, пригнувшись как можно ниже, вспомнив, как, будучи подростком, упал с террикона из-за того, что во время спуска не пригнулся к его поверхности и не рассчитал скорость спуска. Наконец, полусогнувшись, он добежал до вершины, рассечённой железнодорожным полотном, увидев оттуда покрытую пылью бордовую «девятку», стоявшую неподалёку от нескольких домов.

– Спускайся к машине, – ободряюще сказал Алексей. – Там ждёт дядя Коля. Он повезёт тебя дальше.

Путник спустился к транспортному средству, где его встретил пожилой мужчина, волосы и усы которого были покрыты сединой. Тот с

улыбкой встретил его. Поздоровавшись, он помог снять сумку. Поездка продолжилась.

– Серёга – раздолбай молодой – мне ничего не велел передать? – сказал дядя Коля, железным тоном отбросив всё дружелюбие, которое было до этого, и буравя злым взглядом Дениса.

– Вот, – проговорил тот, давая несколько сотен гривен, возвращённых в начале пути Сергеем.

– Хорошо, – сказал второй перевозчик, продолжая езду и перекладывая заготовленные напитки и сигареты.

Они ехали по узкой улочке села, разделенного на две части железнодорожной полосой. За поворотом Денис увидел нескольких ополченцев, сидевших рядом со скрючившимся деревом и слушавших радио.

– Домой парня возвращаем, – улыбнувшись, проговорил одному из них дядя Коля, выйдя из машины и встав спиной, протягивая паспорт Дёса.

– Чего напрягся? – проговорил один из стоящих рядом с деревом, поправляя автомат. – Домой вернулся, к матери.

## Андрей ПУЧКОВ

Родился в 1963 году в посёлке Хандальске Красноярского края. После демобилизации из Советской армии в 1984 году служил в МВД на различных должностях. В 2006-м вышел в отставку.

Публиковался в журналах, коллективных сборниках и альманахах. Живёт в г. Сосновоборске Красноярского края.

## УДАЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ

Я стоял на холме и смотрел на деревню, мирно посапывающую под снежными барханами. Солнце, покрасневшее от мороза, гигантским колесом медленно и величественно катилось к земле, разбрасывая в стильом воздухе багровые сполохи. Тишина стояла такая, что даже не верилось! Я переступил с ноги на ногу, чтобы услышать скрип снега и вынырнуть из безмолвия в реальность. Тишина. Казалось, что застывший воздух сковал все звуки, которые могли бы появиться в этом таёжном зимнем безмолвии.

– Эге-ге-ге-е-е-е!.. – заорал я в надежде, что крик всколыхнёт лесную глушь и покачнёт неестественно прямые, упирающиеся в безоблачное вечернее небо, неподвижные столбы белого дыма, поднимавшиеся от каждой избы.

– Эге-ге-ге-е-е-е!..

– Э-э-э-й! Степаныч!.. – услышал я сквозь сон голос Мишки Черепа и, открыв глаза, уставился на мощные брёвна блиндажного потолка.

Вставать не хотелось, тем более после такого сна. Закрыть бы опять глаза да досмотреть!.. Может, и морозец почувствую! Может, он нос и уши пощиплет! Как тогда, в детстве...

– Ну и чё ты как потерпевший орёшь? – зевнул я, выбравшись из блиндажа в окоп, и зябко поёжился, вопросительно посмотрев на напарника.

Мишка, приткнувшись к брустверу окопа, вкусно чавкал бутером и через бинокль всматривался в сторону нашего тыла.

– Ты чего? Пути отступления себе, что ли, намечаешь? – поддел я Мишку и, сев рядом на пустой ящик от патронов, потянулся. – Бандерлоги, они вроде как с другой стороны, ничего не попутал?

– Да не-е-е!.. Тут другое! Кого-то нелёгкая занесла! БТР вон, эскадром. Значит, опять кто-то там, наверху, что-то придумал, а мы эти задумки воплощать будем!

– Это верно, – согласился я и, устроившись на ящике рядом со своим вторым номером, коим Мишка и является, спросил: – Куда смотреть-то?

– Да вон, возле бывшей водокачки восьмидесятый пристроился! Видишь? Из-за него тёмно-синий кружёр морду высунул. Вот на нём гости и прибыли.

Я и навёл СВД на кучку военных, которые топтались возле своих машин и с любопытством осматривались по сторонам.

Прижался щекой к упору и привычно убрал в прицеле полутени. Поймал себя на мысли, что на автомате подгоняю фигурки людей под разметку и определяю расстояние до них.

– Вот бы кто-нибудь сообщил им, что они на мушке у снайпера, – хихикнул Мишка, – на цирк бы посмотрели!.. На куриный!

– Это точно! – поддакнул я напарнику, не отрываясь от прицела. – Носиться начнут покруче клуш деревенских! Штабные почему-то думают, что суетливой беготнёй можно создать проблемы снайперу.

И я сплюнул, вспомнив, как «азовские» стрелки разом грохнули трёх наших штабных офицеров, которых нелёгкая занесла на линию разграничения. Не получилось у них от пули убежать! От пули надо прятаться, а не бегать. Хотя... если умеючи... Но откуда у них возьмутся эти специфические навыки.

Мы с Мишкой отобедали, закончив греметь ложками по котелкам, и теперь неторопливо смаковали чай. Я осторожно прихлёбывал из большой фарфоровой кружки горячий напиток, заваренный с известными только нашему повару травами. Напарник, в отличие от меня, наслаждаться горячим чайком не мог. Он пытался его пить, постоянно дуя в кружку, но это мало помогало. Железная кружка обжигала губы. Мишка в очередной раз обжёгся и, выругавшись, поставил кружку на стол.

– В первый же выход в серую зону у какой-нибудь бабульки кружечку, как у тебя, прикуплю.

– Ты уже месяца три себе кружку добываешь, да всё никак...

– Да знаю я, знаю!.. – перебил меня Мишка. – Просто забываю всё время! Делом я там всегда занят!

– Это каким таким делом?

– А вот таким!.. Пока ты там прогуливаешься, я вынужден бдеть, тело твоё снайперское охраняючи.

– Степаныч! – засунув голову в дверь блиндажа, заорал Гаврик – невысокий худощавый татарин, исполняющий неизвестно какую роль при штабе. – Давай бери свою Черепушку и ходи до Маклая! Дело у него к тебе.

– Сам ты Черепушка! – заорал в ответ Мишка и запустил в посыльно-го пустым цинком, который он использовал вместо пепельницы.

Гаврик спрятался за дверь и что-то проорал.

– Мамай недобитый! – пробормотал Мишка и начал собирать окурки, разлетевшиеся по всему блиндажу.

Я засмеялся – худощавое Мишкино лицо с кожей, обтягивающей прямой подбородок и скулы, действительно смахивало на стилизованный череп, отсюда и прозвище.

Сразу к командиру не пошёл, отправил туда Мишку, а сам, чтобы разнухать, что к чему, направился к гостям.

– Здоров, ребята! – поприветствовал я бойцов у прибывшего БТРа и сел на корточки, привалившись спиной к могучему колесу. – Откуда гости? Наши али как...

– А хрен его знает! – хмыкнул лежащий на крыше БТРа боец, судя по масляным пятнам на камуфляже, механик-водитель. – Нам, батя,

не докладывали, сдёрнули с места и отправили. Гости есть среди них или нет, нам знать без надобности.

— А чего они не на броне, а на этой фиговине, — кивнул я в сторону японского красавца.

— А это они до первого обстрела форсят! — засмеялся другой боец, удобно развалившийся на выложенной из битого кирпича лавке. — Как первый раз прилетит, так сразу же внутрь забьются, а потом и танк потребуют! Были уже случаи.

— Степаныч! Давай сюда! Ждут! — высунулся из командирского блиндажа Мишка и махнул мне рукой.

Я попрощался с бойцами и потопал к напарнику.

Почему нашего командира батальона, майора Алексея Николаевича Свиридова, прозвали Маклаем, я не знал. Маклай и Маклай, не лучше и не хуже других. Хотя подозреваю, что командира немало поболтало по жизни, вот к нему и приклеилась фамилия русского путешественника Миклухо-Маклая.

— Проходите, присаживайтесь! — комбат указал на свободные стулья, стоящие возле его стола, на котором была развёрнута крупномасштабная карта.

Как и ожидалось, у командира были гости — два человека. Один в гражданке, одет неприметно: тёмно-серая матерчатая куртка, чёрная футболка и штаны. Но по манере держаться и выправке сразу видно — кадровый военный. Примерно сорок пять лет, мой ровесник. Глаза спокойные, но не оставляло ощущение, что в случае чего они прищурятся и начнут выискивать цель. В общем, волк стреляный.

Второй, в отличие от своего неподвижно сидевшего напарника, без движения усидеть не мог, всё время перебирал под столом ногами, словно ему жали ботинки. Руки тоже не знали покоя и жили суетливой жизнью, перекладывая с места на место карандаши, ручки, линейки — всё, до чего дотягивались. Но больше поражало его звание — полковник! И это несмотря на то, что ему от силы чуть за тридцать. Было видно, что третью звезду он получил недавно, так как время от времени косился на свои плечи. Сначала мне, со свету, грешным делом показалось, что это старлей. Но нет, точно полкан! Большие звёзды едва поместились на маленьких погончиках новенького пиксельного камуфляжа.

— Как вы уже знаете, — начал комбат, — неделю назад к «азовцам» прибыла батарея гаубиц, которая расположилась в десятке километров отсюда и три дня назад сработала по жилому сектору.

Майор помолчал, давая время свыкнуться с этой мыслью, потом, ткнув карандашом в карту, продолжил:

— Основные удары пришлось сюда и сюда. Есть погибшие — ребёнок и две женщины...

Новостью это не было. Снаряды разорвались прямо во дворе пятиэтажки. Новостью было то, что комбат не представил нас с гостями друг другу. Если в тайны играть начали, значит, точно какая-нибудь дрянь ожидается.

— Они это и без нас знают, — перебив командира батальона, сказал полковник и, взяв карандаш, постучав им по столу, ожидая, что кто-то из нас выскажется. Не дождался. — Они это знают, — повторил, — но они не знают, кто командовал батареей, обстрелявшей посёлок.

Полковник помолчал немного, а затем резко поднялся и прошёлся по блиндажу, остановившись позади нас с Мишкой. Я еле удержался от того, чтобы не обернуться. Не люблю, когда за спиной стоят. Напрягает, знаете ли.

Передо мной на стол упало несколько цветных фотографий хорошего качества, запечатлевших молодого мужика лет тридцати пяти на фоне киевского Самсона. Лицо полное, но не заплавленное, стрижка короткая, под коричневой курткой тельняшка. Куртка гражданская, без нашивок, поэтому определить его принадлежность к роду войск, да и вообще к вооружённым силам, было невозможно.

– Молейко Егор Демидович, полных тридцать семь лет, кадровый военный, капитан, служил в береговой обороне ВСУ в Крыму. В четырнадцатом году, после известных событий, сбежал на Украину. Несколько лет о нём ничего не было известно, кроме того, что он совершал набег в зону конфликта, командуя обстрелами жилых зон. Три дня назад он опять всплыл. Ну а результаты его появления вам уже известны.

Полковник вернулся на место и, опять постучав ручкой по столу, спросил:

– Вам, наверное, интересно, зачем я всё это рассказываю? Никаких мыслей не появилось?

– Появились мысли, – вздохнул я, – как не появиться? Я так понимаю, что этого Молейко Егора Демидовича надо ликвидировать, так сказать, в назидание, чтобы неповадно было. Тем более что он на этот раз оказался близко к нам. Отомстить, одним словом.

– Именно! Чтобы они тоже боялись, знали, что не бессмертны.

– Да, мы с этим согласны, – кивнул я и мельком глянул на напарника. Дождался, когда Мишка тоже кивнёт, и спросил:

– Нам только непонятно, каким образом снайпер, который должен убрать этого типа, – ткнул я пальцем в фотографии, – подберётся к нему на дистанцию выстрела? До батареи, насколько я знаю, добрый десяток километров. Сколько-то мы пройдем по серой зоне, это возможно: и мы, и добробатовцы там ходят. Однако останется ещё очень даже приличное расстояние, преодолеть которое весьма и весьма проблематично!

– Охотно верю! Проблема есть! – легко согласился полковник и опять постучал карандашом по столешнице. – Но ведь эта проблема решаема! Уже ведь ходили, и, насколько я знаю, не один раз!

Не дождавшись возражений, полковник посмотрел на своего молчаливого спутника и сказал:

– Капитан, прошу вас.

Поморщившись, как от зубной боли, тот, не глядя на большезвёздного соседа, вдруг выдал:

– Я изначально был против такого способа проникновения на сопредельную территорию. И по-прежнему считаю, что...

– Я бы вас, капитан, попросил держать при себе то, что вы считаете! Решение принято, и вам осталось только поделиться с исполнителями новостью.

– Я так понимаю, что вы в исполнители назначили нас, – кивнул я в сторону Мишки, – и почему-то решили, что мы согласимся с этой самоубийственной авантюрой. Да, ходили мы туда, но не более чем на два-три километра.

– Прошу вас, капитан, сообщите, что нам удалось узнать, – опять повторил полковник и, посмотрев на меня, добавил: – Как только узнаете, каким путём доберётесь до нужного места, я приведу доводы, почему вы не только согласитесь, но и с радостью отправитесь пристрелить этого Молейко.

Я с трудом проглотил вставший в горле комок.

– Это правда он? – спросил я и посмотрел на капитана.



– Да, старшина, это именно он командовал обстрелом, когда погибли ваши жена и сын. Ошибки быть не может. Поверьте, мы самым тщательным образом собираем доказательства виновности...

– Я знаю это и потому верю вам, – не дал я ему договорить, – давайте вашу идею, что придумали-то?

Капитан посмотрел на молодого начальника, и тот, вытащив карту из лежащей на столе папки, развернул её и подвинул к нам.

– Зелёной линией обозначен путь, по которому вы доберётесь почти до самой батареи. Это коллектор – подземные коммуникации, в которых когда-то проходили линии связи Министерства обороны Советского Союза. Поскольку этим коллектором пользовались военные, информация о его наличии и тем более местоположении строго засекречена. Другими словами, о нём, по нашим сведениям, не знают до сих пор. Нам повезло, что бывшие военные, проходившие здесь службу, вспомнили о нём и предоставили сведения.

Полковник подался вперёд и ткнул карандашом в карту.

– Коллектор берёт начало в серой зоне, вот тут, – сместил он карандаш к зелёной точке, – а затем проходит под лесополосой, ширина которой примерно сто метров. С обеих сторон от лесополосы дороги, грунтовая и заасфальтированная, ведущие в посёлок, из которого и был произведён обстрел. Выход из коллектора расположен на территории бывшей воинской части, где имеются с десятков разрушенных кирпичных зданий. От этих развалин до нужной батареи не более полукилометра. Я думаю, что эти руины можно использовать как позицию для стрельбы.

Словно во сне слушая бормотание штабиста, я не мог сосредоточиться на его словах. Перед глазами всплыла дикая картина – мой сын, мой мальчик, лежит на спине, зажимая рану на груди ладонями, из-под которых толчками вырывается кровь...

Я поддерживаю голову сына, чувствуя, как его колотит мелкая дрожь. Он вздрагивает всем телом последний раз и затихает, обвиснув на моих руках. И тогда я начинаю выть. Я стою на коленях и, прижимая к себе неподвижное тело сына, вою, как волк, вою тоскливо и протяжно, раскачиваясь из стороны в сторону...

– У тебя есть вопросы, старшина? – обратился ко мне полковник, игнорируя Мишку.

– Нет, товарищ полковник, вопросов нет. Разве что... выйдем мы не завтра, а через три дня, в одиннадцать часов вечера.

Полковник несколько секунд разглядывал меня, словно впервые увидел, а потом спросил:

– Почему так долго?

– А я, товарищ полковник, не люблю торопиться, – пожал я плечами, – каждую охоту тщательно готовлю. Мне надо три дня.

– Хорошо!.. Три так три – на том и порешим. Надеюсь, за это время батарея позиции не поменяет. Всё, свободны!..

От сопроводительного отряда по серой зоне я категорически отказался, заявив полковнику, что и два-то человека много, а если через зону начнёт ломиться целый отряд, то нас не заметит только ленивый. Мы идём вдвоём.

– Целых три дня! А ты чего столько дней-то запросил? – поинтересовался Мишка, когда мы отошли от блиндажа комбата. – Чё сделать-то за это время хочешь?

- Какие там три, – усмехнулся я, – сегодня ночью и выйдем.
- Какого хрена?! Почему?! Ты чего, затылок, что ли, себе шокером почесал?!
- Сам подумай, мозгами пораскинь...
- Несколько минут шли молча, а потом Мишка поинтересовался:
- Не веришь им?
- А ты веришь?
- Честно говоря, теперь уже не очень. Уж больно у него как-то всё гладко получается. Залезли. Прошли. Вылезли. Выстрел. Ушли обратно.
- Вот именно, – вздохнул я, – если об этом сооружении вспомнили наши военные, то могли вспомнить и украинские, которые тогда тоже Союзу служили. И попадёмся мы с тобой как куры в ошип.
- Тоже верно, – согласился напарник и спросил: – Насколько я понимаю, мы сейчас топаем за бандеровским тряпьем?
- Я кивнул.

О том, что надо в военкомат, я узнал случайно от соседа, который после смерти моей семьи частенько забегал ко мне. Проверял, не наложил ли я на себя руки. У меня действительно были такие мысли.

Через три дня после смерти сына, не приходя в сознание, умерла и моя жена, раненная тем же взрывом. Жизнь после этого потеряла смысл. Единственное, что несло облегчение, если это можно так назвать – жена не узнала, что сын умер.

– Ты бы, Степаныч, к военным подавался, туда тебе щас дорога, – как-то раз посоветовал сосед, – может, и отведёшь душу-то. Завалишь бандеровца какого! Глядишь, и полегчает.

Сосед был прав, может, и полегчает, тем более что находиться одному в пустой квартире было невыносимо.

– Слышал я о вашем горе, – вздохнул военкоматский подполковник, к которому меня направили как добровольца, – и сдаётся мне, что вы теперь смерть искать будете.

– Нет, не буду, передумал уже, – усмехнулся я, – нельзя мне, командир, теперь умирать, должны мне эти твари слишком много. И пока они spolна со мной не рассчитаются, я на тот свет не собираюсь.

– Я так полагаю, что за это они с вами никогда рассчитаться не смогут, – опять вздохнул подполковник и, открыв какой-то журнал, спросил: – Что умеете-то хоть?

Умел я многое. За прожитые годы научился. Но главное, что у меня за плечами было – это умение стрелять. Родился я в небольшой сибирской деревеньке, где основным промыслом была охота. С отцом в лес ходил с десяти лет и в одиннадцать уже бил белку в глаз, в прямом смысле слова. Из мелкашки, конечно. Окончил школу-интернат, потом армия. Отслужив, в деревне уже жить не смог, скучно было. Молодость брала своё – хотелось движения и каких-то перемен. Поболтался по России-матушке, а потом судьба забросила в украинский Донецк, где я устроился на металлургический завод, встретил любовь, родил сына...

После окончания курса снайперов попал наконец-то на линию разграничения. Да, убивал. Много убивал. Думал, легче будет. Но нет, легче не становилось. Наверное, смертей должно быть больше. Ненависть грызла так, что ночами зубами скрипел. Поначалу даже Мишка

просыпался от этого. Потом привык, перестал внимание обращать. Когда удавалось подобраться к бандерлогам поближе, я видел в прицел их усатые рожи и стрелял прямо в хари. Стрелял, стрелял, стрелял... С удовольствием чувствуя, как в моё плечо толкается их смерть.

Мы с Мишкой не воспользовались обнаруженной штабом дорогой. Решили не рисковать и идти по старинке. Вышли часов в одиннадцать вечера, отмахали километров десять в сторону и уже там потихоньку перебрались на украинскую территорию. И, держась подальше от дороги, вернулись почти к тому самому месту, откуда вышли. Дальше не пошли – дождёмся рассвета, осмотримся и решим, что делать.

Часов в девять утра по асфальтированной дороге, бегущей с одной стороны уже известной нам лесополосы, зашныряли машины: и поодиночке, и в составе небольших колонн, и военные, и гражданские, проскочило несколько БТРов. Над каждой машиной, развевался жовто-блакитный флаг, а то и не один. Если с военными понятно, то гражданские, скорее всего, нацепили флажки, чтобы обезопаситься от защитников украинского отечества.

– Как ты думаешь? – спросил вдруг Мишка, когда мы, замаскировавшись возле дороги на небольшом пригорочке, осматривали окрестности. – Этот полкан – москвич? Или наш, местные, своего такого вырастили?

Я пожал плечами:

– Думаю, что наш! Сначала, правда, мне показалось, что москвич. Только у них в тридцать лет можно даже генералом стать, про полковников я вообще молчу! Но теперь, по-видимому, и на наших эта зараза перекинулась.

Время шло, ничего интересного не происходило, и мы решили, что ещё часок ждём, а потом потихоньку выдвигаемся. Но планы круто изменились. Осматриваясь в очередной раз, я заметил, как с украинской территории прямо в нашу сторону пылят БТР и две «буханки».

– Глянь-ка, – толкнул я локтем Мишку.

– Вот же ж, ё... прст! – выдал напарник. – Что делать будем? Домой рванём? Здесь недалеко наша тропа есть.

Домой мне не хотелось, очень не хотелось. Тварь, которая убила мою семью, здесь. А если он сменит позиции? Ищи его потом. Если дела так и дальше пойдут, он, чего доброго, своей смертью подохнет, а этого я допустить никак не мог. Решение пришло само собой. Вернее, приехало в виде расхлябанного, раскрашенного в камуфляжные цвета, «уазика».

– Так! Мишка! Давай цепляй на голову ихнюю кепку и айда на дорогу! – прошипел я и, вытащив из-за пазухи кепи с жёлто-синим флажком, напялил на голову.

– Степаныч! Ты чего? Мы ж с тобой на дороге будем как три тополя...

– Вот именно что будем. Обязательно будем. И попросимся, чтобы нас подвезли. Тем более что вон как раз и транспорт нарисовался!

И я, уже не скрываясь, встал и направился к дороге, размахивая, как мельница, руками.

– Оттуда? – кивнув в сторону серой зоны, спросил сидевший рядом с водителем мужик.

– Ага, оттуда, – буркнул я, расположившись на заднем сиденье. – Шуганули нас, еле смылись!

Мужик хохотнул:

– Это бывает! Сам до ранения хаживал, а потом всё, москали зацепили, отбегался! – и он постучал кулаком по бедру, показывая, куда его зацепили.

Кто это такие, я не определил. Ни одной нашивки, да и самой формы-то не было. Какая-то смесь камуфляжа с «горкой». Подраненный москалями пассажир в годах, несуетливый, с неизменными усами и бритой головой, но не профессиональный военный, это сразу заметно. Наверное, как и я, несколько лет под ружьём, не больше.

Второй – водила, молодой, года двадцать три, может, чуть больше. Стрижка короткая, безусый. Этот на военного больше походил. Но опять же чёрт его знает!.. Одет так же не в масть. Складывалось впечатление, что они выбирали одежду из кучи. Находили что получше и надевали, не обращая внимания на то, что она разного цвета.

– До кого направляетесь? – поинтересовался пожилой, когда мы уселись и пристроили стволы. – Если судить по винтарям, то до Дениса?

Я откровенно витаращился на него и спросил:

– Ты, братан, от жизни отстал! Где тебя носило-то? Денисенко уже неделю как перебрался на полтора десятка километров южнее! До Черенка мы подались.

– А! Да-да-да!.. – хлопнул тот себя по лбу. – Как же, как же, знаю! Вася Черенок! С такой фамилией и кликухи не надо!

И он засмеялся, запрокинув бритую голову. Закашлялся, опустил стекло, смачно харкнул в окно, а потом, обернувшись к нам, сказал:

– А вот про Дениску забыл. Старею, видать, старею, – и он горестно покачал головой.

Я хмыкнул про себя: «Стареет он! Проверяльщик хренов! Наша разведка получше вашей работает. Ни разу ещё не подводила».

– Сколько москалей-то завалили? – спросил, мельком глянув, водитель.

Видно было, что ему хочется поговорить, а тут сразу двое свеженьких попутчиков, да еще и из запретной зоны пришедших. Как тут ласы не поточить про москалей треклятых.

Я посмотрел на пожилого и, встретившись с ним взглядом, пожал плечами. Тот, встрепенувшись, ткнул водителя кулаком в плечо и прорычал:

– Ты, Сёма, лучше рули молча, коль не ведаешь, какие вопросы задавать можно, а какие нельзя.

Он фыркнул и, откинувшись на спинку сиденья, повторил:

– Москалей завалили... надо же!.. Ты вот лучше скажи, – вдруг спросил он, – а чем ты-то сам от москаля отличаешься? У меня хоть усы вон есть! – и он ладонью пригладил длинные, обвисшие почти до подбородка усы. – А у тебя что? У тебя, Сёма, ничего, у тебя даже усов нет. Не растут они у тебя! Москаль ты, Сёма! – наконец выдал он и довольно расхохотался.

Ехали быстро, даже догнали пару воинских затентованных «Уралов», которые проехали десятью минутами раньше.

– Обгоняем? – спросил водила, коротко глянув на усатого.

– Да не, не стоит, – пробурчал тот, близоруко всматриваясь в идущие впереди машины, – отстань подальше от них, чтобы выхлоп не глотать, и езжай не торопясь, а то и так быстро прём, на месте ждать придётся.

Он повозился на сиденье, а потом, словно разговаривая сам с собой, пробормотал:

– Терпеть не могу ждать...

Дальше ехали молча. Водила молчал, потому что обиделся, а усатый – потому что хотел спать. Он клевал носом и, когда голова падала на грудь, как конь дёргался, скидывал голову, чтобы опять задремать.

– Что, решили горилкой нервную систему подлечить? – засмеялся усатый, когда мы выбрались из машины возле небольшого магазинчика, у которого я попросил остановиться.

– Ага, как же, полечишь тут, – засмеялся Мишка, – здесь ничего крепче газоды нету! Защитники отечества всё реквизируют – давненько уж завозить перестали.

– Это точно! Бойцы всегда в тонусе должны быть, по-другому никак, иначе разбегутся!.. – хохотнул усатый и захлопнул дверцу машины.

– Как думаешь, Степаныч, кто это? – спросил Мишка, глядя вслед машине и пристраивая винторез на ремень.

– Да хрен его знает, Миш! На бандерлогов или ещё какую дрянь не похожи, никаких цацек не налепили, – ответил я и внимательно осмотрелся.

– Что это вдруг не похожи? Просто не каждый любит обвес носить, и всё.

– Ну, во-первых, трезвые они, это не основной показатель, но значимый. Говорит, что ранен был? Брехня, в нынешние времена настоящий вояка не будет хвастать ранением, полученным на этой войне. Скорее всего, рисовался перед новенькими, то бишь перед нами, а может, и перед своим водителем. Во-вторых, видел их рацию?

– Видел, и чё? Рация-то при чём?

– При том... плохенькая рация, слабенькая, да и машинка старовата. По этим признакам вроде на вэсэушников похожи, но сам же видел, не военные они. А бандеровцев западные покровители да и местные спонсоры нехило так снабжают, не держат они такого барахла.

– Ну да, похоже на то, – пробормотал Мишка и, перехватив бесшумку поудобнее, спросил: – А может, они того, по нашу душу? Присмотрелись. Торопиться им некуда, мгновенно сбежать мы не сможем. Понаблюдают, а потом и возьмут тёпленькими.

– Всё может быть, поэтому будь готов, если что...

– Всегда готов! – по-пионерски ответил Мишка и хихикнул.

– Хватит ржать, – прошипел я и осмотрел пустую улицу, – прятаться надо, чем быстрее, тем лучше.

И, озираясь, направился к неизвестно каким чудом сохранившемуся здесь и, что самое невероятное, функционирующему магазину.

Магазинчик небольшой, однако рядом с окном пристроился стол с тремя расшатанными стульями, по всей вероятности, для тех покупателей, которые пожелают здесь и употребить свою покупку.

Я сел за стол и, осмотревшись, спросил у продавщицы – упитанной, улыбчивой женщины, одетой в модную сейчас вышиванку:

– Чего это у вас никого нет? Ни на улице, ни по оврадам. Недельку назад другая картинка была!

Продавщица перестала улыбаться и, оглядев меня с ног до головы, тяжело вздохнула:

– Так попрытались все, мил человек! Страшно под бомбы-то попасть... вот и разбежались кто куда.

– Под какие такие бомбы? – не понял я. – Они же по домам не бьют.

– Бить-то не бьют, – опять вздохнув, сказала женщина и смахнула с прилавка несуществующие крошки, – да вот только с нашей стороны, говорят, несколько дней назад к ним прилетело!.. Женщин да деток побило! Вот и боимся, что ответить могут.

– Ну да, ну да, – пробормотал я, выглядывая в окно, – всякое в наше время бывает. Вы, наверно, правы, поберечься людям надо.

– Сами-то что хотели? Если водочки, то нету её, давненько уже.



– Да не, нам бы простой водички пару бутылочек, – улыбнулся продащице стоящий возле прилавка Мишка и положил на столешницу пару помятых купюр, – желательно холодненькой, если есть. Жарко...

– Есть, хороший мой, есть холодненькая, как не быть-то, – засуетилась продащица и нагнулась куда-то под прилавок.

Покопошилась там, поставила на прилавок две запотевшие пол-литровые бутылки с водой:

– Может, ещё чего? Покушать?.. Пирожки с капусткой есть, свеженькие!

Мишка вопросительно посмотрел на меня.

– Бери по парочке, как раз и перекусим!

Мишка кивнул и добавил ещё купюру.

Пирожки мы заточили прямо в магазине, благо что из окна улица просматривалась в обе стороны. И если что, меры успели бы принять.

Если откровенно, то нам повезло. Дико, невероятно повезло! Здесь не было военных – ни армейцев, ни бандеровцев. В ожидании ответки разбежались все. Скорее всего, украинская армия сюда и не заходила, об этом разведка не докладывала. Зато бандерлоги водились. Это я знаю точно – сам видел и не только видел... Выбирались мы с Мишкой пару раз на их территорию, хорошо тогда поработали.

– Что делать будем? – спросил напарник, когда мы, доев пироги, покинули магазин и спрятались в палисаднике брошенного дома. – Может, рванём к воинской части, откуда батарея видно, заодно и окрестности рядом с входом в коллектор осмотрим?

– Не, Миш, опасно! Не такие уж мы с тобой гении маскировки и разведки! Если вход охраняется, чем отбrehиваться будем? А вдруг на шумим, значит, нам дорога только в серую зону и останется, если живы будем.

– А что тогда?

– А мы, Миш, прямо по дороге, не скрываясь, потопаем скорым шагом к батарее.

– Очумел?! Заметят же на раз!

– Конечно, заметят! В первую очередь местные жители и заметят, им, в отличие от бандеровцев, бежать некуда, дома они. По подвалам сидят...

– А если позвонят кому? Здесь наверняка их наблюдатели есть.

– Ну и пускай звонят, патрули в прифронтовой территории никто не отменял. Тем более мы в их цвета выпачканы, вроде как свои.

– А если нарвёмся...

– А если нарвёмся на их патруль, то действуем по обстановке.

– Ну ты наглец Степаныч! Мне нравится...

– А мне нет, – прошипел я и, прижимаясь к заборам и домам, побежал в сторону расположения батареи.

Один раз повезло, мы успели заметить группу людей раньше, чем они нас. Упали на землю и, птясь задом как раки, сдали назад. Вскочив, рванули через узкий переулок на другую улицу.

Попались, когда уже прошли частный сектор и вышли к двухэтажным домам. Пригнувшись, я высунулся из-за палисадника, осматривая улицу, и всей кожей почувствовал взгляд. Обернулся и заметил на другой стороне улицы трёх военных, внимательно нас разглядывающих. Стал тыкать пальцем вверх и махать рукой – прячьтесь, мол.

Те недоумённо уставились в небо. Я принял слегка в сторону, чтобы не оказаться на линии Мишкиного огня, и, демонстративно поглядывая в небо, короткими перебежками побежал к ним. Наглеть – так уж по полной программе!



– Вы чего так выперлись? – спросил я, выпучив на них глаза. – Жить, что ли, надоело?

– Чё это вдруг жить надоело? – спросил самый старший по виду мужик и махнул рукой, чтобы в меня не тыкали стволами. – Чё нам тут может угрожать? Мы вроде как дома, – усмехнулся он, и меня обдало густым запахом перегара.

– А теперь могут пристрелить прямо оттуда, – ткнул я пальцем в небо, – и дом родной не поможет! Неужто ещё не видели?..

– А чего мы там должны увидеть? Авиации-то у сепаров нету, – задрал голову вверх второй, и, сняв с головы кепи с трезубцем, вытер им потное лицо.

– Дрон вы должны были увидеть! – рявкнул я и зло уставился на старшего, всем видом давая понять, что его веселья не поддерживаю. – И не простой дрон, а дрон, из которого дырку в голове можно за километр сделать.

– Да ладно! Брешешь! – не поверил старший, но благоразумно ушёл поглубже под раскинувшиеся ветки черёмухи, возле которой они и стояли.

– Ага, специально вас искал, чтобы побрехать, – окрысился я и, сунув ему под нос СВД, сказал: – Уже целый час за ним охотимся, но его, падлу, сбить трудно, всё время двигается...

В подтверждение моих слов где-то недалеко, за домами, раздались один за другим два выстрела.

– Вот чёрт! – выругался я. – Там наши были!.. Сидите пока здесь и не высовывайтесь!

Не обращая больше внимания на забившихся под черёмуху бандеровцев, я махнул напарнику рукой и побежал в сторону, откуда раздавались выстрелы.

Вечер и ночь провели в старом полуразвалившемся сарае, который доживал свой век на краю картофельного поля, в сотне метров от хозяйского дома. Владельцы у поля были, убежать не стали и спокойно занимались домашними делами, безбоязненно расхаживая по двору. Не поверили, наверное, что наши могут открыть стрельбу из орудий по жилым домам. К сараю они даже не приближались, видимо, давно поставили крест на когда-то нужной постройке.

Батарею обнаружили без труда, ещё с вечера. Бандеровцы разместили её во дворе стоящих буквой П трёх кирпичных двухэтажных домов. Им не пришлось даже маскировать орудия, они знали, что если наши узнают о них, то ответить не смогут. Слишком близко к домам размещены орудия.

Рано утром, под прикрытием разросшихся кустов сирени, которая, как сорняк, за несколько лет заполонила всё вокруг, подобрались к ближайшей двухэтажке. Стараясь не шуметь, через окно забрались в пустую квартиру на первом этаже.

Эту квартирку я заметил уже давно, в ней не уцелело ни одного окна, причём в пределах видимости не было ни одной воронки от крупнокалиберных снарядов, взрывной волной которых могло бы выбить стёкла. Ни пулевых отверстий, ни осколочных, ничего такого. Скорее всего, окна просто выбили изнутри, и теперь квартира, словно обидевшись на то, что с ней сотворили, оскалилась на мир острыми осколками стёкол.

Приоткрыв дверь квартиры, несколько минут прислушивались. Убедившись, что в подъезде никого нет, мы, стараясь даже не дышать,

поднялись на второй этаж, откуда через подъездный люк забрались на чердак.

Позиция – загляденье. Одно из слуховых окон выходило на батарею. Крыша под окном круто уходила вниз и не мешала обзору. До орудий метров сто пятьдесят, не больше. В случае чего отступить сможем быстро, скатиться с чердака до первого этажа – дело нескольких секунд, но мы рассчитывали, что в таком темпе ретироваться не придётся. Стрелять из СВД нельзя – грохот будет такой, что нас даже с другого конца посёлка вычислят. Из «винтореза» же в самый раз. Никто ничего не услышит. Пока разберутся, что, кто и откуда, мы уже будем далеко.

Молейко нарисовался вечером. Я уж было подумал, что всё, сегодня нам не повезёт, но нет. Вот он, гад. Приехал. Выбрался из патриотичной жёлто-синей «Нивы» и, не торопясь, этак по-барски, начал осматривать хозяйство. На пьяные выкрики своих бойцов, кучковавшихся возле деревянного стола со стоящей на нём бутылкой с мутной жидкостью, он благоразумно внимания не обратил. Понимал, что это не вооружённые силы, могут спьяну и морду набить. Постоял немного и, будто почувствовав неладное, начал с тревогой осматриваться.

– Пора, Степаныч! – прошептал Мишка. – Эта сволочь заподозрила что-то, как бы не смылся!..

– Не успеет, – я навёл сетку прицела на пах убийцы своей семьи.

«Винторез» дёрнулся, клацнув затвором, и Молейко согнулся, схватившись руками за низ живота. Он заорал не сразу, постоял скрюченным пару секунд, пока жуткая боль не захлестнула его полностью, а потом, завалившись на бок, завизжал. Он орал громко и страшно, не переставая тянул и тянул на одной ноте, как будто у него вместо лёгких были установлены кузнечные меха.

– Это ещё не всё, сука! – ощерился я и, прицелившись в коленную чашечку, нажал на спусковой крючок.

Визг резко оборвался и перешёл в хрип. Молейко, продолжая зажимать пах одной рукой, пытался другой дотянуться до искалеченного девятимиллиметровой пулей колена. Я перевёл прицел на его лицо и с удовольствием увидел перекошенный в крике рот, из которого обильно текла кровь.

– Миш! – повернулся я к напарнику, лежащему рядом. – А ведь он себе язык откусил!

И опять прикинув к прицелу, злорадно прошептал:

– Но я ещё с тобой не закончил. Продолжим... – и следующим выстрелом раздробил лежащему на земле человеку второе колено.

– Надо уходить! – раздался над самым ухом Мишкин голос. – Ты слышишь, Степаныч! Всё! Уходим!.. Степаныч...

И напарник вдруг захихикал:

– Степаныч!.. Хватит храпеть, а то всех бандерлогов распугаешь.

– Да всё, всё... проснулся уже, – пробормотал я и сел, привалившись к печной трубе спиной.

Подождал, пока сердце перестанет скакать в груди, вытер рукавом змокшее лицо.

– Чё там? Новости есть какие?

– Не, пока ничего нового, тихо, – ответил напарник и, сплюнув, добавил, – если завтра не появится, надо будет сваливать...

– Согласен, – пробормотал я и прикрыл глаза, чтобы Мишка не заметил моего страха.

Я боялся. Боялся, что когда придёт время, я не выдержу, и всё произойдёт как во сне. В этом кошмаре, где я перестал быть человеком. В кошмаре, в котором душу терзала радость осознания того, что от моей руки в муках умирал человек, пускай даже такая мразь, как Молейко.

Он появился, когда смеркалось. Пешком, в компании двух военных. Это были именно военные, форма которых оснащалась всеми положенными атрибутами вооружённых сил Украины. Сам же Молейко был одет в камуфляж без знаков отличия. Скорее всего, специально не обозначал себя как кадрового военного, чтобы обстрелы не приписали украинской армии.

Все трое остановились посреди двора, напротив задранных кверху стволов орудий. Поговорили, энергично жестикулируя руками, а потом разошлись каждый к своему орудью и закопошились возле щитков.

– Прицелы, суки, снимают! – прошипел Мишка и, отложив бинокль, взялся за СВД.

– Даже не думай! – цыкнул я на него. – Успеешь ещё...

– Ты тоже не тяни, а то стемнеет, и хрен мы его больше увидим! Сматываются они...

– Вижу... – пробормотал я и, отойдя от слухового окна на пару шагов, упёрся плечом в вертикальную стойку, поддерживающую крышу.

Несколько раз глубоко вздохнул, выдохнул, поймал в прицеле «винтореза» стриженный затылок Молейко, копошившегося возле орудийного щитка, и плавно потянул спуск.

Клацнула затворная рама, и раздался хлопок, показавшийся оглушительным под шиферной крышей. Я посмотрел в прицел и увидел, что Молейко замер, просунувшись головой вперёд, к орудийному казённику. Его тело неподвижно стояло на коленях, привалившись к станине, из-под которой уже начала расползаться чёрная лужа.

Выбрались из дома удачно. Спокойно спустились с чердака в разгромленную квартиру и под прикрытием сирени выпрыгнули из окна. Никто нас не увидел, и мы умудрились ни на кого не нарваться. Нам повезло, что труп Молейко не упал. Какое-то время на него вообще не обратят внимания – стоит себе на коленях человек и стоит, работает. Это даст фору во времени.

Обратно шли той же дорогой, улицы по-прежнему пустовали. Пару раз, правда, встретили парный патруль, который к своим обязанностям относился наплевательски. Первые не удосужились поинтересоваться, кто мы вообще такие. Скорее всего, решили, что если идём с их стороны, значит свои. Вторые оказались бдительнее, даже поинтересовались, кто и откуда, но, услышав всё про того же Черенка, заведовавшего снайперскими делами, махнули рукой и потопали дальше.

До магазинчика добрались без особых проблем. Забрались в уже знакомый палисадник и, осторожно поглядывая между заборных жердин, размышляли, где зайти в серую зону – здесь, напрямки, или отмахать до конца в сторону и уже там податься к своим. Со вторым вариантом проблемы – нужно ждать темноты, что не есть хорошо, так как после убийства Молейко быстро сложат два плюс два и начнут шерстить территорию. Да и первый вариант паршивенький, здесь частенько ходили и мы, и они, так что можно нарваться по-крупному.

– Степаныч! А если мы опять уедем? По-наглому сядем и уедем! – сказал вдруг Мишка и мотнул головой в сторону магазинчика. – Гляди, что-то советское прибывает.

– Едем! – не стал я долго раздумывать и, присмотревшись к старенькой «шестёрке», остановившейся возле магазина, выбрался из кустов.

Подождал напарника и вразвалочку направился к машине, лениво поглядывая по сторонам.

– Здорово, батя! – поздоровался Мишка с выбравшимся из машины мужиком и, заглянув в её салон, спросил: – Куда едешь-то?

– И вам не хворать, – настороженно ответил мужик, с опаской поглядывая то на меня, то на Мишку, – до дому я еду, вот решил внукам конфеток прикупить...

Этот мужик не мог быть подставой. Подставу за столь короткое время не организовать. И потом, невозможно так сыграть обывателя, напуганного собственными защитниками. Будь он моложе, держался бы по-другому, увереннее, что ли. Молодые, они не так ценят жизнь, как люди, уже умудрённые годами. Этому было за шестьдесят с гаком, с приличным таким гаком. Одет просто: тёмные штаны, серая, покрытая пятнами пота футболка и красное замусоленное бейсбольное кепи. И ещё руки, таких рук не бывает у военного. Грубые большие ладони с узловатыми суставами. В поры кожи и на лице, и на руках навсегда въелась угольная пыль.

– А чё хотели-то? – тяжело вздохнув, спросил мужик и осмотрел пустую улицу.

– Ты, батя, не согласишься ли увезти нас на десяток километров во-о-он туда? – спросил Мишка и показал пальцем в ту сторону, откуда тот приехал.

– Коли по-хорошему просят, что ж не увезти-то, можно и увезти, – пробормотал мужик, обречённо пожав плечами.

Опять загрузился в машину, запустил двигатель и, подождав, пока я устроюсь на переднем сиденье, негромко сказал:

– Странные вы какие-то! У меня дважды машину просто забирали! Водитель им не нужен был. Благо хоть не сожгли!.. Благодетели... – и совсем уж тихо, себе под нос, думая, что я не услышу, добавил: – Недобитые...

– Ну! И как прикажете всё это понимать? – спросил комбат, когда мы с Мишкой перестали возиться, устраиваясь за командирским столом.

– А что, собственно, вы должны понять? – наивно осведомился я и, переглянувшись с напарником, в недоумении пожал плечами.

– А я сейчас объясню, – хмыкнул комбат и, опёршись могучими руками на жалобно застонавшую столешницу, наклонился к нам.

В такой позе командир походил на гориллу. Представив, как комбат бьёт в грудь кулачищами и ухает, я поспешно отвернулся, чтобы он не заметил моей улыбки. Он заметил.

– Какого чёрта ты ржёшь как конь?! – рявкнул комбат и, выпрямившись, заложил руки за спину. – Ночью мне передали перехваченные переговоры, из которых следует, что кто-то, подобравшись к Молейко, с близкого расстояния снёс ему полбашки девятимиллиметровой пулей, выпущенной предположительно из «винтореза», так как выстрела никто не слышал!

И он покосился на Мишкину бесшумку, которую тот пристроил рядом с моей снайперкой в небольшой пирамиде, установленной возле входа.

– А насколько мне известно, – уже спокойнее добавил он, – выйти вы должны только сегодня вечером. Поэтому готов выслушать ваши версии этого, несомненно, радостного события.

– Может, он в карты большую сумму проиграл, а отдавать не захотел? Сами же знаете его... Гад! Вот свои же и порешили. Карточный долг – это, знаете ли, серьёзно... – сдерживая смех, ответил Мишка и в поисках поддержки покосился в мою сторону.

– Ну а что, версия как версия, вполне имеет право на жизнь. Сами ведь знаете, какие нравы царят у бандеровцев. Тут тебе и пьянки, и азартные игры, и скандалы с драками! И девицы легкомысленные! – поддакнул я.

– Идите вы знаете куда со своим карточным долгом и девками! – вздохнув, сказал комбат и, сев на заскрипевший под его тушей стул, добавил: – Это всё очень хорошо, если бы эту операцию планировал и разрабатывал не лично наш... – комбат споткнулся и, покосившись на дверь, продолжил: – ...молодой звёздный друг из штаба.

– А что такого?! Какая разница, кто планировал? Дело-то сделано! И сделано чисто! – удивился Мишка.

– Для него большая! – вздохнул комбат. – Это его детище, и пройти ликвидация должна была по его плану. Он прекрасно понимает, что не дорос ещё даже до звания подполковника, не говоря уж о трёх звёздах. Ему надо продемонстрировать руководству, что он в состоянии проводить сложные операции, а тут на тебе!.. Исполнители гладенько провернули все на свой страх и риск... по своему, так сказать, плану, а он, получается, и не при делах. Значит, при таком раскладе лавровой ветки ему не положено.

– Другими словами, дитя обиделось, что вышло не по его? – спросил я и, усмехнувшись, посмотрел на комбата.

Ответить тот не успел. С грохотом распахнулась дверь, и в блиндаж стремительно зашёл полковник. Мы встали. Следом вошёл уже знакомый капитан разведки.

Сесть полковник не предложил, но и сам не сажился. Стоял, переводил взгляд с меня на Мишку и обратно. Он был в ярости – челюсти сжаты, желваки перекатываются, будто он что-то пережёвывает, подбородок вздёрнут, ноздри раздуваются...

Я подумал, что сейчас заорёт. К его чести, не заорал, сдержался. Посмотрел на комбата и задал совершенно идиотский, по моему мнению, вопрос:

– Скажи, майор, почему эти двое, – кивок в нашу сторону, – не выполнили приказ?

– Насколько я знаю, приказ выполнен... – начал было комбат, но полковник договорить ему не дал.

– Эти двое нарушили приказ, отступив от утверждённого плана, чем поставили под угрозу срыва всю операцию!

– А почему бы вам у них не узнать? – спросил вдруг комбат, которого, видимо, этот цирк не устраивал. Не спрашивая разрешения у старшего по званию, он сел за стол и вызывающе стал разглядывать полковника.

Я тяжело вздохнул. Ситуация из-за пустяка пошла вразнос и, чего доброго, может навредить хорошему человеку.

– Вы позволите, товарищ полковник? – спросил я и, пододвинув стул к столу, сел.

Полковник удивлённо посмотрел на меня, словно увидел говорящий холодильник.

– Да, конечно, старшина, прошу вас! – вмешался, не дожидаясь ответа полковника, капитан разведки, взмахом руки предлагая сесть и Мишке. – Так почему же всё пошло не по плану? – спросил он и тоже сел за стол.



– Это элементарно, – пожал я плечами, – нам хотелось ещё пожить.

– В смысле?

– В том смысле, что если мы знали об этом коллекторе, то о нём могли знать и там. Неужели никто не удосужился рассмотреть этот вариант?

– Ну почему же не удосужились, очень даже рассматривали, но всё же было принято решение, что на той стороне об этом коллекторе не знают, поэтому вам и предложили этот путь, – и он покосился на продолжавшего стоять полковника.

Заметив взгляд капитана, полковник сел и, побарабанив пальцами по столу, спросил:

– Так почему же вы не только не выполнили ясный и чёткий приказ, но и не вышли в назначенное вами же время? – подрагивающим от напряжения голосом спросил он.

Я вздохнул: «О чём говорить с человеком, который не слышит, что ты говоришь? Он разве не слышал ответа? Не понял его? Слышал. Понял. А если слышал и понял, тогда с ним надо по-другому, чтобы наверняка дошло».

– Мы пошли другим путём, так как подозревали, что нас там будут ждать, – чётко, по-уставному доложил я и, дождавшись, когда до собеседника дойдёт смысл сказанного, добавил: – Как впоследствии выяснилось, наши опасения были не напрасны! Возвращаясь после выполнения задания, мы прошли возле выхода из коллектора и обнаружили засаду. Грамотную засаду. Если бы не подошли сзади, то и не засекали бы её. Нас ждали на выходе из коллектора.

– Что ты... несёшь!.. – прорычал полковник, и его лицо пошло красными пятнами.

– Товарищ полковник, – слегка повысил я голос и встал из-за стола, – я далёк от мысли, что нас отправили этим путём специально, чтобы мы нарвались на бандеровцев. Но при виде вашего недовольства тем, что мы не придерживались плана, хотя задание выполнено, расстояние до этой мысли стремительно сокращается!

Не дожидаясь, когда полковник перестанет, как рыба, открывать и закрывать рот, я, сделав знак Мишке, пошёл к выходу.

Когда мы отошли от штаба уже метров на двести, нас догнал капитан и, придерживая меня за руку, спросил:

– Сколько человек вы смогли обнаружить и на каком расстоянии они находились от выхода из коллектора? Это важно!

– А чёрт его знает, сколько их было и на каком расстоянии они находились, – усмехнулся я, – мы ещё из ума не выжили, чтобы шарахаться возле возможной засады.

Капитан несколько секунд ошеломленно смотрел мне в лицо, а потом, посмотрев в сторону штаба, задумчиво произнёс:

– Значит, вы это придумали как бы в воспитательных целях, что ли?

Я молча пожал плечами. Проверить это никто не сможет, значит, правда то, что я сказал.

– Ну что же, может, оно и к лучшему, – не дождавшись ответа, усмехнулся вдруг капитан. – Пускай теперь помучается, в следующий раз будет слушать не только себя. Сам бы я тоже ни за что в эти катакомбы голову не сунул. Вы, ребята, не держите на него зла, он умный парень, просто молод ещё, самоуверенности в нём пока выше крыши. Обломается со временем.

Он взмахом руки попрощался с нами и скорым шагом направился обратно в штаб.



– Обломаться-то обломается, – пробормотал напарник, – хорошо, если за время собственного облома никого не угробит.

И, положив винторез, как ляльку, на руки, с мечтательным вздохом добавил:

– Э-э-эх! Водочки бы сейчас холодненькой стаканчик!.. Да щец бы наваристых!.. Да дивчину сговорчивую!..

– Ну и что же ты хочешь от меня услышать?! – прошипел я, заметив, как напарник косится в мою сторону вместо того, чтобы наблюдать за окопавшимся в трёхстах метрах от нас противником. – Ты уже два дня вопросительно сопишь за спиной!.. Ничего я не почувствовал, Миша!.. Ничего!.. Оттого, что я прострелил череп этой сволочи, легче мне не стало!.. Если ты, конечно, об этом хочешь узнать!

– Об этом, – пробормотал Мишка и, шмыгнув носом, припал глазом к трубе, потом опять покосился на меня и негромко сказал:

– Знаешь, Степаныч, я надеялся, что тебе всё-таки полегчает... вроде как отомстил же...

– Я тоже на это надеялся, ты уж поверь, очень надеялся... – вздохнул я и сел на невесту откуда взявшуюся в окопе табуретку.

Помолчал, разглядывая усиленную досками земляную стенку, и повторил:

– Очень!.. Но там, – ткнул я большим пальцем в небо, – видимо, всё по-другому расписано. Что-то должно быть ещё, вот только знать бы что...

– Ого! Смотри-ка, Степаныч, – хохотнул вдруг Мишка, не отрываясь от своей трубы, – а у нас, оказывается, новости! По ходу, вместо бандерлогов вэсэушников пригнали! Глянь сам, форма у этих армейская.

Я поднялся, устроил винтовку на упоре поудобнее, посмотрел в прицел и еле сдержался, чтобы не отдёргнуть от него голову. Прямо мне в глаза смотрел молоденький пацан лет восемнадцати, не больше. Как и моему сыну... Белобрысый, курносый, с явно просматривающимися веснушками. Из-под лихо сдвинутого на затылок кепи поблёскивают любопытные глаза, не ведающие ещё страха. Он смотрел в нашу сторону и, наверное, не понимал, почему нас надо бояться. Он не знал, кто мы такие, и высунулся в надежде увидеть, с кем ему предстоит иметь дело.

– Что же ты каску-то даже не надел? – пробормотал я и, прицелившись чуть выше и левее его головы, потянул за спусковой крючок.

Увидев, как возле его головы взвился фонтанчик земли, опустил на корточки, поставил винтовку между колен и закрыл глаза.

– Степаныч, ты что, промахнулся, что ли?! С такого-то расстояния?! – раздался удивлённый голос напарника.

– Нет, Миша, не промахнулся!.. – улыбнулся я и, почти физически ощущая, как скатывается с души глыба несостоявшейся смерти этого голубоглазого мальчишки, добавил: – Напротив, Миш, это мой самый удачный выстрел... самый удачный...

## Поэзия

### Михаил ПЕСИН

Родился в 1949 году в Горьком. Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. Работал в Ленском речном пароходстве инженером. С 1971 года – профессиональный журналист, работал в разных должностях, от корреспондента до главного редактора. Автор поэтических сборников, ряда публикаций (стихи и проза) в литературных журналах и альманахах.

Лауреат многих фестивалей и конкурсов авторской песни. Живет в Нижнем Новгороде.

### СЧАСТЛИВЫЕ СОЗВУЧЬЯ

\* \* \*

Что-то песня не поётся,  
водка весело не пьётся  
и ничто не шелохнётся  
там, где страсти бил фонтан,  
лишь, разламывая разум,  
бродят мысли про маразм  
и про то, чтоб кончить разом  
затянувшийся роман.  
Суть не в том, что я старею –  
старше есть, душой бодрее.  
Вот был отец меня мудрее  
аж на двадцать с лишним лет.  
Но, как в молодости, снова  
он за словом ставил слово,  
и струился Иеговы  
к нему ясной мысли свет.  
У меня ж, его сыночка,  
ни одной достойной строчки,  
ни одной бессонной ночи  
над скрещеньем сочных рифм.  
Не стихи, а «тары-бары».  
Не бемоли, а бекары.  
И в чехле моя гитара  
безнадёжно прячет гриф.  
Может, вправду, утром хмурым  
мне б поставить точку сдуру?!  
Но еврейская натура,  
выживавшая в веках,

говорит мне: «Мир прелестен  
и без тобой не спетых песен!»  
Видно, Б-гу интересен  
я на земле ещё пока.  
Что же делать?

Остаётся  
дальше жить, как и живётся.

Жаль лишь... песня не поётся...

\* \* \*

Сплю на веранде. Благо стылость ночи  
у августа покуда не в чести.  
Сорока издевательски стрекочет  
над самым ухом часиков с пяти.  
Тягучей тишины ночную лаву  
взрывают беззастенчиво, и вдруг  
то грохот проходящего состава,  
то яблока сорвавшегося стук  
о кровлю, о брусчатку на дорожке,  
почти не различимую во тьме.  
И снова тишина. Чтоб хоть немножко  
забыться мне в полудремотном сне.  
...Как долго нынче тянется молчанье  
моей души, почти забывшей, как  
срываются, едва ли не случайно,  
счастливые созвучья с языка!  
Не то чтобы утеряно умение –  
ремесленное живо мастерство, –  
но нет «ни божества, ни вдохновенья,  
ни слёз, ни жизни...». В общем, ничего,  
что было бы хоть чуть, хоть отдалённо  
похоже на Поэзию. Должно,  
покуда в сердце не живёт влюбленность,  
ему являться песней не дано.  
Эх, кабы мне бы вновь, тогда бы я бы!..  
Но прерывает сладость зыбких снов  
лишь стук о кровлю падающих яблок  
да грохот проходящих поездов.

\* \* \*

Дождь носом тычется в листки моей тетради,  
как мокрый и взлохмаченный щенок.  
И если строчки слижет –  
Бога ради!  
Быть может, сердце будет прощено  
и успокоится.  
И струйки слёзных строчек,  
дождём явившись, убежав ручьём,  
произрастут какой-нибудь из почек,  
раскроются...  
И вот уже ничьё,

колышется зелёным опереньем  
в лазурь небес летящего куста,  
изысканнейшее стихотворенье!  
...Мои не осенившее уста.

\* \* \*

Благостность и покой  
растворены окрест.  
Медленно над рекой  
коршуна кружит крест.  
Медленно тянется тень.  
Падая, ленится лист.  
Синий осенний день  
нетороплив и чист.  
Дождик ещё грибной  
суетность будней смыл  
и обнажилась Новь,  
и углубился Смысл.  
Смысл лесной глуши,  
шорохов и теней.  
И что прекрасна Жизнь,  
стало чуть-чуть ясней.  
Выдумщик и мастак,  
с охрой смешав берилл,  
славно-то, Б-г мой, как  
Ты этот мир скроил!  
Так бы и жил, бродя,  
не ускоряя шаг —  
во все глаза глядя  
да во всю грудь дыша!  
Слава тебе стократ,  
Господи, за восторг!  
И не страшит закат,  
если вдохнул восход  
там, где, храня покой  
благословенных мест,  
медленно над рекой  
крошечный кружит крест.  
Где даже в осень жизнь  
рыжей пьянит листвою  
и в небесах кружит  
крестик нательный Твой.

\* \* \*

Всё больше сходство обретая  
с дубами стылыми,  
стою, друзьями облетая,  
редя милыми.  
От прежде шумно шелестящей,  
зелёной кроны —  
с десятков высохших, шуршащих  
под крик вороны.

Не отыскать, – с кем пил, смеялся,  
пел песни лету...  
Вот и ещё листок сорвался,  
умчавшись в Лету.  
И, глядя вслед тем, кто отчалил,  
ушёл, не сдюжив,  
молюсь бессонными ночами  
в преддверии стужи.

### Памяти капитана Александра Дривеня

Прощевай, мой Санечка!  
Лёта – та ж река.  
Ты мне – «До свиданьечка!»  
Я тебе – «Пока!»  
И – в далёко плаванье,  
в бесконечный путь...  
Зажуём мы плавленным  
наше «по чуть-чуть»,  
как меж нами водится  
с лет, когда, юнцы,  
мы влюбились в водницкий  
клич – «Отдать концы!»  
То-то изгилялись мы  
в области «конца»,  
то-то изгулялись мы  
в вольности винца!  
То в киношку с лекции  
леший уведёт,  
то в спортивной секции  
ты глотаешь пот.  
А меня с манатками  
проглотил мой СТЭМ...  
Ах, ты – время сладкое  
с мизером проблем!  
Шумные компании –  
глаз любимых блеск.  
Споры о компартии,  
философский блеф...  
Всё – легко. Всё – запросто.  
Беды – чешуя!  
Но грозила записью  
Книга Бытия.  
И однажды, пристально  
прочитав меж строк,  
к самой дальней пристани  
ты уплыл, дружок.  
И с душою страждущей  
я стою в снегу,  
на Бугровском кладбище,  
как на берегу.

\* \* \*

Вот и осень завершается –  
ветер лист последний рвёт.  
Сердцу плакать запрещается,  
а оно всю ревёт.  
А ему принять не хочется,  
что вот-вот настанет срок  
и гость незванный – Одиночество –  
перевалит за порог.  
Детства дни благословенные  
заливают солнцем сны.  
Вот мы стоим – послевоенные  
шалопаи-пацаны.  
Ничего ещё не пройдено.  
Никаких на сердце ран.  
И только «здоровско», что Родина –  
лучше всех на свете стран!  
Где кострами пионерскими  
ночи синие взвились,  
мы – смешливые и дерзкие –  
крепко за руки взялись.  
И, деля уже за партами  
мир на «наших» и «чужих»,  
кто учёными, кто бардами  
всей гурьбой рванули в жизнь.  
Пили спирт с чернорабочими,  
ром – с магистрами наук.  
Власти тюрьмы нам пророчили,  
разрывая тесный круг.  
Но оглохшими тетерями  
в бой идя на ветряки,  
словно знаменем, потерями  
мы гордились. Дураки.  
Пустяки – дела сердечные  
(как и все дела вообще).  
Жизнь казалась штукой вечною!  
А она прошла... вотще.  
И стою теперь рассеянно  
во дворе полупустом:  
эти – по миру рассеяны,  
те – под камнем иль крестом.  
А по двору снуют прохожие,  
каждый в чём-то даже мил,  
но совсем они не схожие  
с теми, кто со мною был!  
Не моё у них веселие.  
Шаг не мой. Тем паче бег...  
Вот и скрылись дни осенние.  
Вот и выпал первый снег.



## Денис КАЛЬНОВ

Родился в 1991 году в Мурманске. Окончил Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского.

Публиковался в журналах «День и ночь», «Менестрель», «Сура» и других печатных и сетевых изданиях. Лауреат международного конкурса имени Мандельштама «Germania goldener Grand» (2021).

Живет в г. Каменке Пензенской области.

## ШАГ В БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОЕ ЕСТЬ ШАГ

\* \* \*

Дожди их появлению причина.  
Неясный абрис быстро исчезал.  
Немые жесты в контуре старинном,  
и облик совершенства достигал  
в той сырости, окутавшей прогал.  
Серебряные линии флорина  
сменялись эпизодами.

В руинах  
проглядывался, словно из зеркал,  
кувшин в руках библейской Магдалины.

Заполнился подтёками квартал.  
Стена как флорентийская картина,  
но кто её дождём нарисовал?

\* \* \*

Порой одно лишь слово создаёт  
пространство, наделяя бездну смыслом;  
в размерах соответствующих числам  
нашёл бы сходство древний звездочёт,  
сплетая интуицию и мысли  
в строфе.

И дни и ночи напролёт  
из слов растут пути, мосты и башни,  
подобно снам ярчайшим в темноте,  
которые, казалось бы, неважны,  
как свет на умирающей звезде,  
как вспышка фар, однажды в темноте  
случайно заглянувшая с проспекта,

а слово, как надмирный архитектор,  
помимо нашей воли, предстаёт  
в мирах, где сердце нежно бережёт  
взаимосвязь свою с мирами текста.

\* \* \*

Идея – обездоленная птица  
стремится навсегда овеществиться,  
чтоб ход часов томительных иссяк.

Шаг в будущее в прошлое есть шаг.

Открыта дверь созвучий части речи –  
во внутреннее зренье переход.  
И каждый, кто границу перейдёт,  
в уме найдёт подобие той встречи,  
которой завершится эпизод.

\* \* \*

Пусть образ может быть прозрачный и крылатый  
придуманый давно (из прошлого изъятый)  
в стихотворенье оживёт  
обычной выдумки этюд из ниоткуда  
существование колеблет амплитудой  
и в мире слова не умрёт  
И медленно как бы из тени проступая  
изображаются дома и мостовая  
как воплощённая мечта  
где нет привычного потока временного  
где веянье души важнее остального  
и запах летнего дождя

\* \* \*

Дрожание метрических огней;  
Фонарь статичен шахматной фигурой.  
И здания похожи на людей,  
Сверяющих себя с архитектурой,  
Где длительную гласную берёт  
Изгиб высокий в арке удивлённой,  
Вбирающей стремительный полёт  
Нетварной птицы, мыслью порождённой.  
Мышление пытается скрестить  
Всё видимое с кажущимся миром,  
Единую выстраивая нить,  
Чтоб Сириус и «Боинги» сапфиром  
Светили одинаково в уме  
И каждый замечал пробор дороги,  
Из детства вспоминая ряд примет –  
Причину неосознанной тревоги.

Забытый фильм фрагментами сквозит.  
На этом месте постер был когда-то,  
Который фотография хранит.  
И сцена из давнишнего проката  
Ступенчато идёт, почти как сон:  
Мерцает город светом непривычным;  
Тангейзера врата и Орион  
Горят в калейдоскопе мозаичном;  
Бездомный белый голубь в темноте  
И беглый Рутгер вместе огляделись,  
А сбой в распределительном щитке  
Звучит, как электрический Вангелис.  
Пульсация, движение и звук  
Окрашены, как чувства, сложным цветом;  
Дублирует металл структуру рук  
Во тьме, уподобляясь силуэтам  
Творений Джакомо́тти и Мирó.  
Что если жизнь лишь поиск архетипов  
Сезанна в Арлекине и Пьеро  
На плоскости вселенского изгиба?  
Но, может, что-то большее есть там,  
В предчувствии пространства тихой ткани,  
Что делит восприятие пополам,  
Скрываясь в нефизическом тумане.

\* \* \*

Неясность настоящего – основа  
бытийности.

Архив минувших дней  
в себя вбирает тысячи дверей  
единственного будущего крова,  
который создаётся из частей  
пейзажа или сказанного слова,  
охватывая сущность мелочей.

\* \* \*

Просыпались ночью в Рождество  
Бедные, забытые игрушки,  
Обходя гирлянды и хлопушки,  
Видели в мерцанье волшебство.  
Неуклюже к старому буфету  
Шли, шепча: «Мы только посмотреть»,  
Слон прильнул к цветочному букету,  
Торопил раскрашенный медведь,  
Замерли... Ворочаются дети,  
Снится им заветная мечта:  
Как идут закутанные в пледе  
К ёлке, за игрушками следя.

## Татьяна БАТУРИНА

Родилась в Сталинграде. Окончила нефтяной техникум, педагогический институт, дважды обучалась на высших курсах работников Гостелерадио. Журналист, поэт, прозаик, учёный, кандидат филологических наук. Руководитель литературно-публицистического клуба «Мамаев курган» при музее-панораме «Сталинградская битва».

Автор более тридцати книг поэзии и прозы и ряда научных работ. Лауреат всероссийской литературной премии «Сталинград» и ряда других. Награждена орденами и медалями Русской православной церкви и Российского императорского дома Романовых.

Член Союза писателей России. Живёт в Волгограде.

## ЦЕВНИЦА

### Я стала зорче

Не упасла молодые очеса  
От умной порчи,  
Но, как угасла первая краса,  
Я стала зорче.

Потом румянец выцвел, как миткаль,  
И тонкомлечно  
Легла на лик защитная печаль –  
Почти навечно.

Гляжу в себя, и вижу всякий миг  
Себя иную –  
Какой пребуду, покидая мир,  
Юдоль земную?

Не о лице – о сердце говорю  
Без дерзновенья:  
Увижу ли вселенскую зарю  
Преображенья?

### Цевница<sup>1</sup>

*Сердце мое...яко цѣвница звяцати будетъ...*  
Іерем.

Как представляю себе, как представляю,  
Что стучу в допотопную ставню,

<sup>1</sup> Цевница – дудочка, свирель (др.-рус.).

Беспокоя окошко и пса...  
Но извечно сладки чудеса:  
На крылечко выходит краса –  
До узорных ступенек коса,  
Тянет рученьку: «Мне письмецо?» –  
А какое младое лицо!

Память, память... Криница? Пленница?  
Жития вековая столица?  
И скрипит допотопная ставня:  
«Не печалься, что старишься, Таня,  
Будет память по веку струиться,  
Если звякает сердце-цевница!»

## Шествие

### Памяти поэта

*Хорошо б колокольчиком стать...*  
Федор Сухов

Небо вишнею струится,  
Колокольчиком звенит,  
И земелюшка-пестрица  
Тож сияет, тож лучится  
Всяким венчиком в зенит.

Не к тому ли даль лучится,  
Что вблизи и впереди  
Ходит Сухов по земле  
С колокольчиком в груди?

На порхалищах на птичьих,  
На полянах родовичьих,  
Где блистает разноцвет,  
Непрохожих тропок нет:  
Всякий след являет свет.

Вот идёт он, велий Сухов,  
Поспешает, двíжим духом,  
Сквозь ночную светлинú  
В скит-обитель на Дону,  
Или шествует домой?  
Это он, учитель мой.

Чрез неделю на Сухоне  
Вьются на́встречь птицы-кони,  
Расцветает красный мак,  
Но дырявится башмак.

Ну так что же, лес – укромá:  
Всяка веточка знакома,  
Мил и кроток разный пенё,

И прекрасны ржавь и рдень  
Жарких мхов – огней игрень!  
И когда ж теперь домой,  
Дорогой учитель мой?

Впереди река Ветлуга,  
Среди зорь лесных у друга-  
лесника

Он погостит,  
Под ветлою погрустит.

Препоясан паутиной  
Перезревших осенин,  
Полюбуется калиной  
И брильянтовой тиной  
Принаряженных теснин.

Осторожною стопою,  
Чая встречу наперёд,  
Он прощальною тропою  
Без поклона не уйдет.

За полыновой грядой  
На погосте на роснóм  
Глазу видится родное:  
Обелиски со звездою  
И могилы со крестом.

Старорусские равнины!  
За покой дремотных глин  
Сухов, славящий былины,  
Воевать ходил Берлин.

Но какие бы дороги  
Ни познал учитель мой,  
Милосердные тревоги  
Всё вели, вели домой...

Веси, гряды, перевалы,  
Волновые перелазы,  
Межигорье, лог, удал...  
В путных думах свят глагол,  
В тонких снах шумят усады  
Существительных имён,  
Знаменательных времен,  
Средь наречий и частиц  
Реют вести речий-птиц...

Полновесней с каждой речкой  
Рюкзачок с листком-сердечком,  
С талым лугом, с робкой тропкой –  
Всей тетрадкой неторопкой,



Где прославлен всякий день –  
Колокольчикова звень!

Всех звончей Осёлок Красный –  
Дом поэта велегласный,  
Свѣтень Русския Земли.

А поэт в иной дали –  
В Богозданной Высоте:  
Всеответный красоте,  
Сухов-колокол поёт  
Всей красой Небесных нот!

...Наконец пришел домой  
Дорогой учитель мой.

## Русский путь

*Желая пребывать вовеки, мы должны  
творить волю Бога, Который вечен.*

Св. Киприан

С державой издревле высокого слога  
Мы верим, и молим, и просим у Бога  
Надежды на Русском пути.  
Мы знаем навек: то наша дорога,  
И нам её надо прейти.

Кресты у дороги и слева, и справа,  
А песни, в которых и вера, и слава,  
Вовеки храним наизусть,  
Ведь их прародила былина-любава:  
И жизнь, и бессмертье – всё Русь.

## Про Волгу

Здесь нет скамеек, берег пуст и чист,  
На белом след нечаянный белеет,  
Речной простор опрятен и речист,  
Пред ним язык рассказливый немеет.

Какой отрывок временем таим?  
Оно насквозь промокло и проволгло  
Именем и именем твоим,  
Где воля с волей вольно дружат, Волга!

Вода, земля – две воли, две любви,  
два стареньких, но родненьких предела:  
Когда б не так, не пели б соловьи –  
Лишь степь вприщур хазарская глядела.

Дай Бог, чтоб на Руси держались дни  
Той, волжской – праотческой! – породы,  
А кто из русских Волге не сродни?  
Вселенские – и те вмещаем воды...

\* \* \*

Падут на землю холода,  
Леса останутся без птиц,  
А я – без воли,  
Тогда глубинная вода  
Таимой святостью криниц  
Спасёт от боли,  
От умиранья впопыхах,  
От прозябения во льду,  
Во мгле исхода,  
И потихоньку, хоть впотьмах,  
Я не до смертушки дойду –  
До огорода,  
Где снова высеет укроп  
И некапризливую стать  
Завьёт петрушка,  
А в поле кто-то свяжет сноп,  
А в роще примется считать  
Года кукушка.

## Пограничье

Кружились звёздные ряды,  
Смеялись дали,  
Сияли горные сады –  
О, как сияли!

Неужто – явь?  
Неужто – сон?  
Неужто – вечность...  
Не оградительный озон  
Вокруг, а – Млечность.

И я сама себе чудна  
И нереальна,  
И только шелестность окна  
Так матерьяльна...  
Вот насыляет тихий звон  
Златая вещность –  
И явь во мне, как этот сон,  
И вечность, вечность...

## Юрий ФАНКИН

Родился в 1940 году в деревне Крюковке Березовского района Липецкой области. Окончил историко-филологический факультет Муромского педагогического института. После службы в Советской армии работал в городских школах, педучилище и радиотехникуме.

Публиковался в журналах «Наш современник», «Нижний Новгород», «Москва», «Роман-газета», «Роман-журнал – XXI век», «Русская провинция».

Автор исторических романов «Осуждение Сократа» и «Императорские игры», повестей «Городушки», «День поминанья и свадьбы», «Очищение огнем», «Прощай, лес, прощай, дуброва!», «Ястребиный князь», «Межа», «Баю-баюшки-баю», сказов о муромских святых. Рассказ «Прощание с Дэлিরом» включен в антологию советских рассказов, изданную на немецком языке в Лейпциге.

Лауреат Международного литературного конкурса им. Андрея Платонова (2003), лауреат областной премии имени С. К. Никитина (2007). Награжден памятной медалью «К 100-летию со дня рождения М. А. Шолохова» Российской муниципальной академии (2005).

Член Союза писателей России. Живет в Муроме.

## ПРОПАЛО КОЛЕЧКО...

Кузьма решил продать дачную избу в деревне: ветшающий пятистенок и двенадцать соток сада-огорода становились в тягость...

По старому, выгоревшему на солнце цвету он покрасил фасад и резные наличники.

Изба заиграла свежей краской: фасад – светло-зелёный, салатный; наличники – голубого, небесного, цвета. Посмотришь на такую избу с проезжей дороги – стоит словно новенькая,

К тому же с лицевой стороны изба покрыта оцинкованным железом.

Но вот со стороны огорода крыша смотрелась неважно: добротного оцинкованного железа хватило только на четыре полосы, а остальные листы остались такими же, как и при старых хозяевах.

Готовясь к продаже, Кузьма решил покрасить ненадёжное железо. Загодя, ещё по весне, Кузьма запасся краской, кистями, растворителем... Долго подбирал в городских магазинах нужный колер. Краска-серебрянка нравилась, но не годилась: уж слишком сверкала на фоне матово-светлых полос оцинкованного железа.

Всё было под рукой, но Кузьма почему-то тянул с покраской крыши. Уходя с огорода, мысленно, по полочкам, раскладывал предстоящую

работу: «Сначала нужно почистить листы. Конечно, почистить. Потом проолифить. Чтобы лучше пристала краска... Впрочем, вместо олифы вполне сгодится подсолнечное масло...» Кузьма оправдывал эту тянучку: ну нельзя же приступать к такому важному делу с бухты-барахты!

И всё чаще вспоминал, как ему пришлось сразу же после покупки менять старую, протекающую возле печи крышу.

Сложно было найти хорошего мастера. Старик Михеич из соседнего села Молотицы долго упирался: «Какой из меня кровельщик! Укатали Сивку крутые горки...» Кузьма лил елей на самолюбие мастера: «Нечего приbedняться, Иван Михеич! Церкви крыл, а тут какой-то домишко...» Старик расправлял плечи, горделиво поводил головой: «Да, было дело. Семь церквей покрыл, ну а всяких изб не перечесть. Словно семечки, щёлкал. Крыл и железом, и рубероидом, и шифером... Какое, говоришь, у тебя железо? Оцинкованное? Стоящий материал. С таким не грех поработать...»

Уговорил-таки Кузьма опытного мастера.

С утра пораньше приходил Михеич со своим сыном-художником в Берёзовку, и Кузьме было интересно смотреть, как он обрабатывает звенящие от одного прикосновения листы.

Похоже, Михеич любил этот звон. Поначалу он легонько постукивал молотком по железу. Склонялся ухом к листу. Постукивал сильнее и чутко замирал.

Кузьма, глядя на старика, невольно улыбался: он что, забавляется? железо – не церковный колокол!..

А Михеич, занятый своим делом, ни на кого не обращал внимания. Скрюченные пальцы старика напоминали ухват – казалось, они почти не разгибаются. Ястребиной комковатой хваткой он брал светлые, сверкающие на солнце, листы и погружался в свою, мало кому понятную, музыку. Разнообразные звоны сменялись глуховатыми ударами: старик начинал работать деревянным молотком.

Его деревянный молоток напоминал крест.

Работая, отец и сын почти не разговаривали. Они понимали друг друга с полуслова.

– Ну? – спрашивал отец.

– Так... Так... – отвечал сын.

– Есть? – спрашивал отец.

– Да... Да... – ровным голосом, таким же мерным, как удары молотка, отвечал сын.

Но иногда старик словно просыпался. На его сосредоточенном лице появлялась улыбка:

– Кузьма, ты где?

– Я здесь...

– Послушай, у тебя багра нет?

Кузьма недоумённо пожимал плечами: зачем ему багор?

И, принимая старика всерьёз, отвечал:

– Конечно, есть. Зачем он тебе?

А в ответ весёлый скрипучий голос Михеича:

– Уж больно быстро солнышко поднимается! Я бы его багром зацепил да к трубе привязал...

И что оставалось Кузьме? Только улыбаться ответно. Хотя мог бы и пошутить:

«Может, тебе ведёрко с водой подать? Плеснёшь на солнце разок, другой... Глядишь, остынет!»

Отдыхая, старик садился верхом на конёк крыши, возле печной трубы. Смотрел слезящимися глазами на медленно плывущие облака.

– Василий, глянь! – говорил Михеич сыну. – Какое скопище птиц белокрылых!

Василий согласно кивал. Он видел то же, что и отец.

А Кузьма напрягал глаза и ничего не видел, кроме обычных белых облаков.

Однажды, умываясь, Михеич стянул с потного тела рубаху, и Кузьма заметил на спине старика лиловые шрамы.

– Воевал? – уважительно спросил Кузьма.

– Да. Было дело... – без охоты ответил старик. – Летал...

– Высоко? – спросил семилетний внук Кузьмы. У Андрейки загорелись глаза.

– Высоко! – улыбнулся Михеич. – Выше крыши. Ты, наверно, смотрел кино «Небесный тихоход»? Вот и я летал на таком же самолёте...

– Не больно высоко! – разочарованно проговорил Андрейка.

– А куда выше? – усмехнулся старик. – Выше только Господь Бог!

И Андрейка с удивлением глянул на большое загадочное небо.

За неделю Михеич со своим сыном покрыли крышу, и старик, озоровато поглядывая на довольного Кузьму, спросил:

– Ты как думаешь?.. Сталинские «сто грамм» ещё не отменили?

Кузьма понимающе улыбнулся.

Отметили ударную работу, поговорили по душам. Прощаясь, Михеич с грустной уверенностью проговорил:

– Теперь всё... Пора складывать крылья!

Как в воду глядел старик. В том же году, поздней осенью, его не стало. На похороны Михеича приехали два товарища – вместе учились в лётной школе. Медленно, поддерживая друг друга, старики шли за гробом Михеича, а молодые курсанты несли на красных подушечках сверкающие на солнце боевые ордена и медали. Рассказывали, старик, собираясь на вечный покой, хорошо почистил потускневшие награды.

Теперь, готовясь к работе, Кузьма то и дело поглядывал на крышу. Удивлялся, как быстро летит время. Будто вчера сидел Михеич на коньке крыши, запрокинув голову к небу...

Старика давно нет, но по-прежнему плывут по синему небу белые облака.

– Красить! – понукал себя Кузьма. – Пора красить...

Скоро, очень скоро Яблочный Спас. Падут на жёсткие пониклые травы холодные росы. Застонут ветры-ветрогоны по уходящему красному лету, заплачут тёмные обложные тучи по светлым дням.

– Сколько можно тянуть? – упрекал себя Кузьма и толком не понимал, что его сдерживает: то ли возрастная лень, то ли наследственный страх высоты...

Вот уже поплыли, напоминая о коротком бабьем лете, первые паутинки. Зацепилась серебристая пряжа за трубу крыши, мечется, стараясь сорваться и лететь дальше.

Но всё же по-настоящему подтолкнула Кузьму к работе не первая паутина, а ласточки-касатки, что жили в старом деревенском колодце.

Нередко, когда Кузьма брался за крюк скрипучего ворота и начинал позванивать длинной цепью, из глубины колодца с криками «шер-р, шер-р» вылетали быстрые ласточки-вилохвостки. Кузьма торопливо отшатывался: как бы не полоснули по лицу своим острым крылом!

Но в последние недели ласточки не вылетали из колодца. Значит, оставили обжитое жильё и подались в дальние тёплые края. И чего

ждать теперь Кузьме? Прощальных журавлиных криков в осеннем небе?

Кузьма боялся заглядывать в колодец. Глубина влекла его и пугала.

Но в тот вечер, когда Кузьма с двумя вёдрами оказался возле опустевшего колодца, мелькнула шальная мысль: а не заглянуть ли в глубину?

Он задрожал от волнения. А ноги, не подчиняясь ему, уже влекли к дубовому срубу. Ещё чуть-чуть, и он прильнёт всем телом к верхнему венцу... А дальше? А дальше может случиться непоправимое.

Необъяснимым усилием воли Кузьма остановился.

Сосущая душу глубина отступила, и Кузьма, протрезвев, стал опускать ведро в колодец.

Казалось, это тёмное, с вмятиной, ведро будет опускаться бесконечно. И колодезная цепь казалась длинной как никогда. Он уставал ждать и всё же терпел, вжимая пальцы в ускользящий крюк.

Он почувствовал рывок. И этот неожиданный рывок отозвался нервной дрожью на теле Кузьмы. Подумалось: на время отступившая глубина вновь потребовала его. Он уже был готов отпустить крюк, но понял: ничего страшного нет! просто ведро наполнилось водой.

Кузьма с трудом взгромоздил ведро на приступок колодца и, нечаянно плеснув на колени, перелил воду в свою ёмкость.

И тут же захотелось оставить колодец, уйти домой с одним наполненным ведром. И он, наверное, сделал бы это, но, как на грех, за его спиной появилась староста Василиса.

– Здравствуй, Кузьма!

– Здорово! – недовольно буркнул он. Ну как в присутствии другого человека уйти домой с пустым ведром?

Он взял себя в руки и, потеряв ладони, взялся за крюк. А после сам удивился: как легко ему далось второе ведро!

– Что-то ласточек не видно... – заметила Василиса, убирая с плеча коромысло.

– Похоже, улетели! – сказал Кузьма. – Кончился летний отпуск!

Ему предстояло работать не на лицевой стороне крыши – не хватило бы духу взобраться на крутой скат! – а вот другая сторона крыши, соединённая с пологой кровлей двора, казалась доступной. Думал: если и скачусь с железной крыши, то на землю не упаду – наверняка задержусь на рубероидной кровле.

Перво-наперво Кузьма забросил на крышу двора стремянку – длинную и довольно узкую, в одну доску с набитыми на неё ступеньками. Непросто сидеть на такой стремянке.

Но что делать? Другой, более удобной, не нашлось.

Он забросил стремянку, а потом по короткой лестнице, чуть повыше его роста, забрался сам. Потоптался по мягкой кровле, привыкая к высоте.

Потом не без труда, то и дело сгибаясь, Кузьма подвёл стремянку к коньку железной крыши, зацепил деревянной «бородкой» за гребень и осторожно, тесно расставляя колени, пополз на самый верх.

Он перевёл дух и огляделся. Высота давала себя знать, но она не казалась гибельной, роковой: какой-то бражный хмель бродил в его голове. И было в ощущении этой высоты что-то детское, радостное. Казалось, кто-то большой и сильный подбросил Кузьму кверху, словно малого ребёнка. Подбросил по-доброму, без желания уронить.

Кузьма сидел на стремянке и смотрел на огороды, на заросшее дурниной бывшее колхозное поле, которое простиралось до железнодорожной

лесополюсы. С железной дорогой была связана вся трудовая жизнь Кузьмы: он начинал путевым обходчиком, гонял дрезину, а на заслуженный отдых вышел помощником машиниста.

Кузьма смотрел в сторону дороги, чего-то ждал и вдруг услышал нарастающий стук колёс. Раздался сипловатый гудок тепловоза, и подумалось Кузьме, что друг-машинист разглядел его, сидящего на крыше, и теперь приветствует прерывистым гудком.

Рука Кузьмы невольно поднялась. И он помахал простодушно, по-детски, не думая о том, видят ли его сквозь просветы деревьев или нет.

Пролетел тепловоз, обдав беглым дымком лесополосу, а Кузьма продолжал сидеть на своей тесной стремянке, упираясь подошвами резиновых сапог в ступеньку.

Нужно было приступить к делу, а Кузьма всё сидел да глядел. И если бы его сейчас спросили: «Зачем ты здесь?», он не сразу бы ответил...

Наконец Кузьма зашевелился, решил подняться повыше.

По деревенской улице, засунув четвертинку в брючный карман, неторопливо шёл Федька Штырь. Он нёс своё исхудалое тело бережно, словно дорогой стеклянный сосуд, который в любой момент может упасть и разлететься на мелкие осколки.

– Привет! – крикнул Кузьма. – Всё бухаешь?

– А что? – Штырь важно, с чувством достоинства, остановился. – Я в отпуске. Право имею... На культурный отдых.

– Конечно... Конечно! – усмехнулся Кузьме. – Кто бы сомневался!

Штырь покачивался, щурил глаза:

– Значит, марафет наводишь?

– Товарный вид... – уточнил Кузьма.

– Понятно... – Штырь думаяще потёр лоб. – Как я понимаю, продавать решил?

– Решил! – признался Кузьма.

– Понятно... И покупатель есть?

– Есть! – слукавил Кузьма.

– А ты не спеши! – оживился Штырь. – Слушай, что я говорю...

– Валяй, Федя! – усмехнулся Кузьма.

– Я тебя шикарного покупателя найду. Москвича. У москвичей денег, как у дурака махорки. Ты только меня послушай...

– А я что делаю? – сказал Кузьма. Он уже понял, куда клонит Штырь.

– Будет тебе москвич с толстой барсеткой. Мы ему такую картину нарисует! Не отходя от дома, в две руки... «Вечер в деревне»! Понял? Он с тобой даже не рублями, а баксами расплатится!

Кузьма хмыкнул: не хватало ему Федьки в качестве посредника! Свяжешься с таким – не рад будешь...

– Ну чего молчишь? – наседали Штырь. – Согласен? Всё оформим в лучшем виде!

– Нет! Не получится, Федя! – твёрдо сказал Кузьма.

– Это почему? – удивился Штырь.

А Кузьма уже придумал вескую причину:

– Понимаешь, Федя, я эту избу своему сроднику обещал. Нельзя теперь отказать. Обидится... Да и жена моя не поймёт.

– Вот как! – Штырь сник. – Ну, раз обещал...

Он как будто смирился. И всё же, уходя, ещё раз закинул удочку:

– Если вдруг в цене не сойдётся, мало ли что, то прямым ходом ко мне. Мы это дело враз прорешаем!

– Куда ж ещё! – усмехнулся Кузьма.



Он проводил Штыря пристальным взглядом, посочувствовал: мужик неглупый и электрик неплохой, а вот частенько поперёк пальца не видит...

Солнце уже подсушило после ночи железные листы: самое время работать. Он вытащил из пакета листок наждачной бумаги, прикинул, с чего начать: больше всего ржави образовалось на стыке листов, там, где дольше всего не просыхала дождевая вода.

Кузьма потянулся к стыку и вдруг услышал знакомый, с хрипотцой, голос соседки Варвары:

– Кузьма, а Кузьма...

Он посмотрел вниз: Варвара стояла у забора, отделявшего их огороды.

– Ты чего? – сухо спросил Кузьма. Ему не понравилось, что оторвали от работы. Ведь только что настроился...

– Ты вроде бы сейчас разговаривал. Смотрю: один на крыше, а разговариваешь...

«Она что, меня за чокнутого принимает?» – подумал Кузьма и без особой охоты объяснил:

– Я только что с Федькой говорил. Со Штырём.

Думал Кузьма: сейчас успокоится Варвара, отойдёт от забора. На этом и закончится их утреннее общение. Но не тут-то было. Варвару словно подстегнули...

– Ах, трепло! Ну трепло! Ну и пройдоха! – возмутилась Варвара. – Как, скажи, такому человеку верить? Неделью назад обещал ко мне со своим триппером прийти...

– Чего? Чего? – заулыбался Кузьма.

– С триппером, говорю... – простодушно пояснила Варвара. – Ну с этой жужжалкой!

– С триммером! – продолжая улыбаться, поправил Кузьма.

– А я о чём говорю? – не поняла, а может, и не расслышала Варвара. – Этот прохиндей обещал траву возле дома покосить: «Приду-приду, для меня это раз плюнуть!» Вот и жду не дожусь. А травица так и прёт. Я уж своей тупой косой возле крыльца шмыгала-шмыгала. Хотела дорожку к дому прочистить...

– Придёт! – успокоил Кузьма. – Куда он денется! Пропьёт отпускные и как миленький заявится. Денег у него, похоже, немного осталось, копь на «фуфырики» перешёл. Ты, главное, для него «жидкую валюту» приготовь! – Да уж приготвила! – сказала Варвара. – Стоит – не киснет.

– Не переживай. Придёт! – успокаивал Кузьма. – Ну а если не придёт, я тебе сам покошу. Мне вот только с крышей разделаться!

– Ну, работай! – повеселела Варвара. – Только поосторожней! Смотри, с крыши не свались...

Ничего плохого не желала Варвара, и всё же от её слов пробежал по спине Кузьмы мурашливый холодок.

Варвара, в отличие от Кузьмы, была из местных. И жила она в родном, отчем доме, где всё сызмальства было ей знакомо: от русской печи, на которой рожала мать, до расписной деревянной ложки, которой когда-то хлебал горячие щи дед Матвей.

На зиму Варвара уезжала к сыну в Нижний Новгород. Томилась в городском панельном доме до следующей весны. Её натруженные руки сучали по крестьянской работе, и она уже в марте начинала выращивать на балконе рассаду.

Она обожала мелкосемянные «монастырские» огурцы.

«Так и тают во рту! – говорила она. – И запах настоящий, живой...»

«Что ты носишься со своей рассадой, словно курица с яйцом? – говорил сын. – Рассады на рынке полно. Как соберёмся в Берёзовку, так и купим...»

Но Варвара не хотела покупной рассады. Она продолжала сажать семена в пластмассовые ящики, из которых выпирала и сыпалась на пол не желающая жить в неволе привезённая из деревни земля. Варвара старалась поливать семена снежной водой. Вода из крана казалась ей жёсткой и почти бесполезной.

Она с нетерпением ждала, когда проклюнется первый росток. И вот он появлялся, хрупкий, зелёный, неся на себе лёгкий панцирь кожуры.

«Взошёл!» – радостно сообщала Варвара.

Близкие люди снисходительно улыбались: «Ну что с ней поделаешь! Чем бы дитя ни тешилось... Старый что малый...»

Варвара помнила, как её бабушка и мать сажали огурцы в грунт. Было это в начале июня, в день Леонтия Огуречника. К этому времени исчезали холодные ветры-сиверы и устанавливалось надёжное тепло.

Теперь мало кто следит за давними крестьянскими приметами. Сажают под плёнку даже в апреле...

Но, как замечала Варвара, природа всё же берёт своё: посаженные позже, в грунт, огурцы довольно быстро догоняют своих изнеженных плёночных собратьев...

После разговора с Кузьмой Варвара решила накопать к обеду картошки. Она взяла плохое, сорное ведро, вилы с плоскими зубьями и отправилась на свой картофельный участок.

Картошка вырождалась. Когда-то с одного куста Варвара брала десятки клубней, а теперь выкопаешь из сыпучей, неунавоженной земли какой-то пяток, и тому будешь рад. Да и крупные клубни не отличаются чистотой: то покроет кожуру пятнистая парша, то проточит клубень до самой сердцевины проволочник.

Варвара сняла с борозды пожухлые восковые плети, по которым ещё ползали колорадские жуки, и, оглядевшись, взялась за вилы. Она без особого труда находила в земле картофельные разросшиеся гнёзда и, нажимая ногой на плечико вил, не повредила ни одного клубня.

Картошка вызрела. Клубни легко отделялись от мохнатых жилистых корней.

Варвара, в отличие от дачниц, работала без белых нитяных перчаток. Бесстрашно вороша землю, довольно быстро заполнила ведро. Потом сорвала несколько больших лопухов и стала вытирать руки. Не столько вытерла, сколько размазала грязь от гнилых клубеньков. Пальцы позеленели.

Опираясь на вилы, Варвара вернулась к избе. Недалеко от дворовой двери, под свисающей с крыши водосточной трубой, стояла железная бочка. Возле бочки, на кирпиче, лежал ковш с облупленной эмалью.

Варвара зачерпнула воды и стала искать здесь же, в траве, обмылок. Обмылок куда-то затерялся. Она пошарила в траве и решила не искать: проще сходить домой за новым куском дешёвого хозяйственного мыла.

Она посмотрела на измазанные пальцы и, подумав, сняла с правой руки светлое колечко. Положила колечко на лавку и пошла в избу.

Когда Варвара вернулась, колечка на лавке не оказалось.

Она не верила своим глазам: такого не могло быть!

«Может, нечаянно смахнула!» – подумала Варвара и опустилась на колени.

Копошилась в траве – перебрала все былинки. Что-то сверкнуло под рукой – оказалось, стекляшка!

Она продолжала искать, ползая на коленях. Будто вымаливала для себя дорогое колечко. Не вымолила!..

С трудом поднялась и, понурая, подошла к забору.

– Кузьма! – позвала она и едва расслышала собственный, скованный волнением, голос. – Кузьма! – повторила она. Её голос походил на жалкий крик.

Кузьма неохотно оторвался от работы. Зачем он ей понадобился? Поговорить насчёт Штыря? Кажется, всё обсудили...

– Ты чего? – спросил он и удивлённо уставился на Варвару.

– Тут... Тут такое дело... – запинаясь, проговорила Варвара. – Не знаю, что и думать...

– Говори же! – поторопил Кузьма.

– Ты не видел?... Ко мне на огород никто не заходил? Может, слышал? Калитка у меня скрипучая...

– Да говори же! – рассердился Кузьма. – Что случилось? Что ты ходишь вокруг да около?

– У меня колечко пропало! – плачущим голосом сказала Варвара.

– Какое колечко? Когда пропало?

Варвара сбивчиво объяснила. Кузьма силился понять и не мог.

– Может, его ветром сдуло? – пошутил Кузьма.

Варвара покачала головой:

– Какой ещё ветер!

– Ну, не знаю... Не знаю... – Кузьма пожал плечами. – Не видел я никого. Не слышал...

Варвара, понурясь, стояла у забора. Мучилась сама и Кузьму мучила.

«Может, на меня грешит?» – подумал Кузьма. Ему стало не по себе.

– Не знаю, что и делать, – задумчиво проговорила Варвара. – Может, к старосте сходить. К Василисе. Она всех тут знает. Разберётся...

– Да не ходи ты никуда! – рассердился Кузьма. – Нечего народ смущать... Сначала в себе разберись!

– И то правда! – согласилась Варвара. – Надо подумать...

Она оттолкнулась от забора.

– Колечко-то дорогое? – вдруг вырвалось у Кузьмы.

Варвара не ответила – словно не слышала. С поникшей головой подошла к бочке с дождевой водой. Долго мыла руки. Еле удерживала облепленный пеной кусок – того и гляди, выпрыгнет из рук, исчезнет, как то дарёное кольцо. Травяная зеленца смывалась с трудом. И чем дольше мыла руки Варвара, тем явственнее проступала на безымянном пальце белая дужка от пропавшего кольца.

Это кольцо перешло Варваре от матери Лизаветы. И была у дарёного колечка непростая история...

Отец Варвары, Иван, был первым гармонистом во всей округе. Редкая свадьба и гулянье без него обходились. Как окинёт народ Иван своим лихим взглядом, как растянет во всю ширь, на разрыв, красные меха своей голосистой гармоники, так у самых застенчивых девок ноги сами по себе в пляс идут.

И на Ивана-гармониста любо-дорого посмотреть: глаза синие, русы кудри на лоб спадают, в такт игре пляшут-подрагивают.

Иван не только играл, но и пел. Славился частушками. То сам сочинит, то услышит где.

Всю деревню облетела его частушка про Кольку Емелина:

Как у Кольки, у Емели,  
Зарубили кочета.  
Две недели кишки ели,  
Голова не почата!

Николай поначалу обижался, а потом привык. Порой сам просит: «А ну-ка пропой частушку про меня!»

Иван в просьбе не отказывал. А потом, улыбнувшись, запевал другую:

С неба звёздочка упала  
На кремлёвские часы...  
Чтоб зазноба ревновала,  
Отпущу себе усы!

Заявки сыпались со всех сторон:

– Ваня, давай «Сормача»!

Ну как тут откажешь! И Ваня, душа простецкая, наярывал без всякой оглядки:

Я сыграю «Сормача»,  
«Сормача» потешного...  
Пузо лупится с картошки  
У меня, у грешного!

Пел Иван да играл – вот и доигрался. Какой-то добрый человек, не пожалев чернил, накатал на него донос. Деревенские грешили на Проньку Савельева из комитета бедноты. Он, как и Иван, ухаживал за Лизой, даже сватов к ней засылал, но Лиза пошла в отказную.

Вышла Лиза за кудрявого Ивана. Вскоре родилась у них дочь, Варвара. А через год, в осенний вечер, подкатила к резному крыльцу Грушиных легковая машина. Подкатила тихо, бесшумно – словно велосипед на резиновых шинах. Вышли из казённой машины два человека в кожанках, и один из них требовательно, словно бригадир, посылающий на работу, затарабанил костяшками кулака по оконному переплёту.

Непрошеным гостям открыли. Иван даже картошку-мятуху доесть не успел. Только облизал ложку...

И пришлось лихому гармонисту отдать сибирским лагерям четыре неполных года. А потом, как поётся в одной из песен, «по активровке, врачей путёвке», Ивана отпустили на волю.

Как внезапно исчез, так и внезапно появился Иван в своей родной Берёзовке. Была ночь, а входная дверь в избу была почему-то открыта. Будто дожидалась своего хозяина.

– Лиза, вставай! – крикнул Иван с порога. – Собирай «улицу»!

Лиза, как очумелая, спрыгнула с кровати: что это? сон или явь? И, заливаясь слезами счастья, повисла на плечах Ивана. Проснулась и маленькая Варя.

Иван поманил дочку кульком с конфетами. Варя дичилась.

– Иди! Иди! – подтолкнула Лиза дочь. – Это твой папка! Он тебе гостинец привёз...

Иван, не дожидаясь, когда дочка осмелеет, подхватил её и подбросил к потолку. Ловко поймал и прижал к небритой щеке.

Варваре на всю жизнь запомнились отцовские колючки и запах зэковского бушлата.

На следующий день она шепнула матери:

– А папка-то псиной пахнет!

– Не говори так! – улыбнулась Лиза. – Пройдёт месяц-другой, и выветрится этот запах...

Тогда и появилось на безымянном пальце Лизы необычное колечко.

– Откуда? – спросила Лиза.

– Хозяин прислал! – усмехнулся Иван. Посерьёзнев, объяснил: – Был на зоне один ювелир-вальцовщик...

Не сразу взял Иван в руки свою гармонь, завёрнутую в старую шаль. Осторожно, как малого ребёнка, посадил на колени и неторопливо, с крестьянской обстоятельностью, словно супонь на хомуте, стал прилаживать ремень к плечам. Ремённая упряжь съезжала – где его крутые упругие плечи? Наконец гармонь прильнула к сердцу. И Иван прошёлся по кнопкам узловатыми пальцами. Запел грустно, склоняя кудрявую, с проседью, голову к красным мехам:

Мы бежали с тобою из Нарыма тайгою...

Одолел-таки Иван тяжкую болезнь. Чего только не испробовал! И свиное нутряное сало, и смолу-живицу, и свежий липовый мёд... Мало-помалу зарубцевались язвы на лёгких.

А работал Иван на харьковском тракторе. И почти каждый год на стене, среди семейных фотографий, появлялись его «почётные грамоты» с профилем Сталина.

Отведал Иван лагерной баланды, но не озлобился.

Сверкая рондoleвым зубом, шутил:

– Нет, братцы, худа без добра. Ну где бы я так научился отбивать чечётку?

Жизнь налаживалась, но, как удар под дых, грянула страшная война...

Пулемётчик Иван Грушин погиб в 1944 году, в первый же день наступления на Калининском направлении. Погиб, как и многие, «верный воинской присяге, проявив героизм и мужество». И похоронили его в братской могиле, в далёкой Псковской области.

Лиза долго хранила гармошку Ивана. Иногда брала в руки, гладила холодную станину. Однажды, убрав стёршийся ремешок, попыталась развернуть тугие меха и... услышала сдавленный хрип.

Гармошка словно умерла вместе с хозяином.

В голодный послевоенный год тальянку пришлось обменять на пуд зерна. Добрый покупатель добавил к зерну стакан соли, горькой соли, как вдовья слеза...

А памятное лагерное кольцо до седых волос, до смертного часа так и оставалось на безымянном пальце Лизы. Перед смертью, почувствовав скорую кончину, Лиза намылила палец и с трудом, морщась от боли, сняла кольцо.

– Носи, Варя! Вспоминай отца... – тихо сказала она.

Сказала и навеки закрыла глаза...

И вот отцовского заветного кольца не стало. И как-то странно оно пропало. За какие-то минуты. Будто вор за углом стоял и дожидался, когда она уйдёт в избу. И далось ей это мыло! Вымыла бы руки без мыла – вода хорошая, мягкая. Нет, потащилась за мылом. Кольцо сняла... Зачем? Чтобы лучше пальцы отмыть? Вот и отмыла...

Варвара путалась в мыслях, не знала, на кого грешить.

Не хотелось думать, что вор из своих, деревенских. Может, кто-то из чужих, залётных? По деревням частенько разъезжают южане на легковых с прицепами, интересуются, у кого чермет, а у кого цветмет...

Варвара возилась под яблонями, убирала падалицу. Яблоки сыпались горохом. Не успеешь одну корзину отнести в компостную яму – набирается другая. Варвара смотрела на подгнившие, с плесенью, яблоки, а думала о кольце. Думала безотвязно, словно прикованная к этим думкам. Ещё немного, и может сойти с ума: заплачет горькими неутолимыми слезами и, никого не стесняясь, пойдёт по деревне со своей мольбой, по-нищенски выставив руку вперёд: «Подайте, Христа ради, моё колечко!» Может, дрогнет сердце у ловкого вора?

Варвара то и дело поглядывала на крышу Кузьмы. Сосед, ползая по стремянке, докрашивал последние полосы. Она надеялась: может, Кузьма оторвётся от работы, посмотрит в её сторону?

Смотрела до слёзной ломоты в глазах и видела только согнутую спину Кузьмы. Понимала: ей нечего сказать Кузьме! И всё же хотела, пусть бесполезного, разговора и, может быть, сочувствия: носиться одной со своей бедой было невыносимо.

И Кузьма оглянулся:

– Здорово, Варвара!

– Здравствуй, Кузьма! – Она хотела заговорить сразу о своём, наболевшем, но постеснялась. И спросила Кузьму о жене: – Елена ещё не выздоровела? Не приехала?

– Всё гриппует! – ответил Кузьма. – И как она сумела этот грипп подцепить...

– Может, на сквозняке посидела?

– Кто знает... Кто знает... – ответил Кузьма и прямо, не затягивая ненужный разговор, спросил: – А как твои дела? Колечко не нашлось?

Варвара оживилась.

– Где там! – горестно сказала она. – Само не прикатится!

– Верно, верно! – согласился Кузьма, вытирая руки. – И что дальше? Будешь до гробовой доски искать?

– Может, до гробовой... – тихо сказала Варвара. Она помолчала. И как-то резко, не похожая на себя, вскинула голову. Решила всё-таки высказать Кузьме всё то, что накопилось за эти дни в её отчаянных мыслях: – Ты прости меня, Кузьма! Христом Богом прости! Говорю, что думаю. Может быть, ты всё-таки видел этого человека? Если видел, то скажи ему: пусть отдаст! Я любые деньги заплачу! Сколько попросит, столько и заплачу... Я даже знать этого человека не хочу! Пусть только кольцо отдаст, ну а деньги...

Варвара запнулась.

– Ну а деньги? – вскинулся Кузьма. На его скулах заиграли желваки.

– А деньги я с тобой передам...

Кузьма криво усмехнулся:

– Это ты здорово придумала! Видать, долго думала...

Варвара молчала – не знала, что и сказать.

А Кузьма продолжал, выговаривая чётко каждое слово. Говорил так, будто гвозди забивал в окаменелую дубовую доску:

– Я же тебе русским языком сказал: не видел я никого и не слышал. Какая мне нужна вора покрывать?

Варвара слушала его и мысленно возражала: «Мало ли что... Может, побоялся лихого человека. Может, ссориться не захотел...»



– Ещё раз тебе повторяю: не видел! Может, и прошёл кто. У меня на затылке нет глаз. Я своим делом занимался!

– Ну что ж! – вздохнула Варвара и уже готова была отойти от забора. Но тут заговорил Кузьма, и Варвара почувствовала в его голосе желание как-то помочь.

– Послушай, Варвара! Давай рассуждать трезво. Как долго ты за мылом ходила?

– Ну как долго? Взяла и на огород вернулась...

– Не искала?

– А чего искать? Мыло у меня всегда в печурке.

– Так, так... – рассуждал Кузьма. – Значит, сразу нашла и вернулась. Не задержалась?

Варвара уже была готова согласиться, но вдруг вспомнила:

– Ой! Постой! Постой! Я ещё динамик слушала. Как раз сводку погоды передавали...

Кузьма усмехнулся:

– Интересное кино! А после погоды, случаем, не было концерта по заявкам?

– Да нет. Не было концерта... – простодушно призналась Варвара. – Я только погоду послушала и сразу же ушла.

– Понятно, понятно! – Кузьма недоверчиво покачал головой. – Ты с выводами не спеши. Подумай ещё хорошенько. Возможно, что-нибудь ещё вспомнишь. Может, кто-нибудь из дачников обещал зайти. К тебе многие за яблоками ходят...

– Ходят, ходят! – согласилась Варвара. – Вроде бы люди неплохие. Культурные.

Кузьма пристально, жалеючи, смотрел на понурую Варвару, и вдруг у него вырвалось, помимо воли:

– Не переживай, Варвара! Найдётся твоё колечко. Скоро найдётся!

Он говорил смело, твёрдо и сам не понимал, откуда берётся такая уверенность.

Варвара с удивлением смотрела на Кузьму: откуда он может знать? Но было в словах Кузьмы нечто такое, что не подчинялось обычной логике, и это необычное слово, донесённое из других, неведомых пределов, заставляло Варвару верить без простой житейской оглядки.

– Дай-то бог! – сказала она. И удивилась, как легко стало на сердце.

Кузьма докрашивал крышу. Работы оставалось немного, но последние метры делались резиновыми, тянулись до бесконечности – та высота, с которой Кузьма сдружился, словно не хотела отпускать его на землю.

Он был доволен своей работой: краска ложилась ровно, без потёков, довольно быстро подсыхала на солнце. Но мешали жёлтые листья, наносимые ветром. Они прилипали к свежей краске. Чтобы убрать листья, Кузьме приходилось то и дело переставлять стремянку. Он закрашивал следы от листьев, а они, задерживая его, всё продолжали лететь и лететь.

Кузьма устал. Была поясница от постоянных наклонов-поклонов. Больно было коленям: ведь приходилось работать, не покидая жёсткой стремянки. И ему не раз вспоминался предусмотрительный Михеич, который даже в жару работал в теплых ватных штанах.

Всё чаще тянуло к отдыху. Зорко, словно ястреб, поджидающий добычу, наблюдал Кузьма со своей верхотуры, что творится на огороде Варвары. Ни одна мелочь не укрывалась от его взгляда. Пропажа кольца не давала ему покоя...



Порой упрекал себя: «Ну далось тебе это кольцо! Мало ли что пропадает... Не корову же, кормилицу, свели со двора в голодный год!»

Он усиленно думал, и вдруг его осенило. «Ах, ты, голова, два уха! – Кузьма шлёпнул себе по лбу и даже не заметил, что испачкался краской. – Как же я раньше не догадался? Ну, конечно, она! Ну и ловкая стерва! Но как подступиться к ней? Ох, как непросто подступиться...»

Он был рад: наконец-то закончится загадочная история с кольцом! отметутся, как шелуха-полова, все нелепые подозрения Варвары!

Кузьма завершил покраску, убрал с крыши стремянку и, усталый, сел на обрубок-пенёк в огороде. Тело-то устало, а потревоженная душа зывала к немедленному действию: хотелось сегодня же разобраться с воровкой, которая жила неподалёку от Кузьмы и Варвары.

«Но как подойти к ней?» – спрашивал себя Кузьма.

И не находил ответа...

В этот вечер Кузьма решил лечь спать пораньше. Нужно было набраться сил для следующего дня.

В окно светила луна. Её свет скользил по белому, свежевыкрашенному потолку, зажигал яркую полоску на железном кольце возле матицы. На этом кольце когда-то висела детская зыбка, а в зыбке, среди вороха белья, лежал неизвестный человек.

Теперь потолочное кольцо напоминало Кузьме о другом кольце, недавно потерянном. Это напоминание тревожило, мешало уснуть. Кузьма, желая отвлечься, успокоиться, отворачивался к стене, но странным образом начинало ломить, казалось бы, здоровое, правое плечо, и он волей-неволей обращался лицом к железному кольцу – оно притягивало, словно магнит.

На кольце поигрывали блики. Они казались то серебристыми, то в них неожиданно проглядывала солнечная желтизна.

«Какое же у неё кольцо? – думал Кузьма. – Золотое? Серебряное?»

Он думал только о цвете. Цена кольца его не интересовала.

Желанный сон долго не приходил. И лишь за полночь дрема забрала Кузьму в свои тенеты. Он крепко уснул.

И даже увидел под утро явственный в своих деталях сон...

Вот он подходит к общему забору с Варварой и видит, как покосился один из опорных столбов, который он зарыл в землю, не обернув для надёжности основание рубероидом. Более того, он не прибил сверху, на случай дождей, жестянку или кусок резины.

Кузьма посмотрел на подгнивший по его небрежности столб, вздохнул и, не теряя времени, отправился за рабочим инструментом.

Но, когда он вернулся, столб чудесным образом выпрямился, стоял ровненько, как солдат в строю, и на его заточенной верхушке золотилась жестянка.

«Ну и дела!» – удивился Кузьма.

Он на всякий случай попытался покачать опорный столб. Стоит крепко, словно укоренённое дерево.

– Ну и чудеса! – сказал Кузьма.

И уже собрался уйти от забора, как услышал тихий – будто ветром донесло издалека – детский голосок:

– Дяденька, возьми! Это тебе.

За забором стояла девочка в белом ситцевом платочке, повязанном по-старому, по-крестьянски, косицами на затылке. Она, встав на цыпочки, протягивала Кузьме большое решето.

Кузьма не узнал девочку, но берёзовое решето было ему знакомо – в нём не раз Варвара приносила соседям вишни и крыжовник...

Кузьма вглядывался в девочку:

– Ты чья?

Девочка молчала. Только бегло улыбнулась. И ещё настойчивее продолжала тянуть к нему решето.

– Ты мне ягоды принесла? – спросил Кузьма. Он подался к забору, стараясь увидеть, что у неё в решете.

– Нет, не ягоды. Я для тебя копилку разбила. Медвежонка... – грустно сказала девочка. Её голос отдалённо напоминал голос Варвары.

– Какая ещё копилка? – удивился Кузьма и увидел в решете россыпь копеечных монет. Монеты потускнели, утратили золотистый блеск.

– Ты что мне принесла? Зачем? – Кузьма начинал сердиться.

– Денежки! – простодушно ответила девочка. – Мы же вчера с тобой говорили. Неужели забыл?

– Зачем мне твои денежки?

– Тебе не нужны, а другому, может быть, пригодятся! – рассудительно, по-взрослому, ответила девочка, и Кузьма узнал голос Варвары. Да и в лице девочки было многое от Варвары.

– Не нужны мне твои денежки! – строго сказал Кузьма. – Зря свою копилку разбила.

– А может, и не зря! – в тон ему, так же строго, ответила девочка. – А ты взглядишь, дяденька, получше! Может, я тебе и не копейки принесла, а что-то другое...

Кузьма напряг глаза и увидел в решете хлебные зёрна, то ли рожь, то ли пшеница, тёмные от долгой лёжки.

– Возьми! – настаивала девочка.

– Зачем? – удивился Кузьма.

– Посей за огородом...

– Там же бурьяны. Какой дурак в заброшенном поле будет хлеб сеять?

– Другие не сеют, а ты посей!

– Хочешь, чтобы меня чокнутым считали?

– Не хочу.

– А что же?

– Не пропавать же ржаным семенам. Они нам с матерью дорого достались!

Кузьма пристально, изучая, смотрел на девочку. И она на его глазах превращалась в пожилую Варвару.

И он несколько растерялся перед чудом преображения.

– Здравствуй, Варвара!

Она улыбнулась:

– Поздновато здороваешься! Я давно перед тобой стою.

Кузьма нашёлся:

– И позднее здоровье не повредит.

Он понял, что прежний разговор закончился, и, доверительно подавшись лицом к Варваре, негромко сказал... Сказал так, как будто боялся, что его подслушают:

– А я вчера догадался, кто вор...

– Ну и что? – равнодушно отозвалась Варвара.

– Как «что»? – удивился Кузьма. – Ты что, смирилась? Украла – и бог с ним? Не понимаю...

– Нет, не смирилась, Кузьма! – вздохнула Варвара. – Я сейчас не о себе думаю. Стоит ли из моего кольца тебе жизнью рисковать?

– Волков бояться – в лес не ходить! – весело ответил Кузьма и сам поразился своей лихости.

– Решай сам! – Варвара грустно, поглаживая безымянный палец на правой руке, посмотрела на соседа. – Может, лучше не связываться с воровской породой?

Кузьма махнул рукой: где наша не пропадала! И уже собирался уйти. Но тут опорный столб, который стоял ровно, прямёхонько, вдруг закачался, словно от землетрясения, и стал медленно падать.

Кузьма выставил вперёд руки, упёрся в старый подгнивший столб. Непосильная тяжесть давила на Кузьму. Казалось, ноги уходят в землю.

Он мельком взглянул на Варвару.

Хотелось крикнуть в своём бессилии:

«Помогите!»

Но понимал: никто не поможет!

Он тужился из последних сил и не понимал: зачем?.. Ну бросил бы этот столб, отбежал бы в сторону! Зачем упирается в него? Из глупого упрямства? А может, проверяет характер?

А столб давил и давил. Сердце, едва выдерживая, бешено колотилось. И тут...

Тут Кузьма проснулся. Он с облегчением взглянул на знакомые обои: слава богу, это был только сон...

За окном клубился молочный туман. Он свёл на нет ночной свет луны, который обозначал детское кольцо на потолочине. Теперь потемневшее кольцо напоминало ему одиночное звено длинной колодезной цепи.

«Кольцо... Ласточки...» – вспоминал Кузьма и, ворочаясь с боку на бок, пытался снова заснуть. Ему хотелось глубокого безмятежного сна...

В это утро Кузьма проснулся раньше обычного. Отвлекаться на завтрак не хотелось. Он наскоро попил чайку и спустился во двор...

Надо было, пусть исподволь, приступить к делу, а Кузьма почему-то занялся топором, который слетал с топорича: вбил несколько деревянных клиньев. Потом его внимание переключилось на разошедшуюся бочку – Кузьма потюкал молотком, укрепляя обручи...

Говорил себе в оправдание:

– Куда торопиться? Пусть схлынут росы...

И как будто был прав: возле жилья воровки целый лес травяной дурнины. Пройдёшь по росе – все штаны вымочишь...

Коротая время, Кузьма решил собрать в одну кучу разбросанный рабочий инвентарь: лопаты, вилы, грабли, разметку для грядок...

А потом его словно осенило:

– Сколько можно тянуть волынку? С крышей тянул. И теперь такая же история...

Кузьма вздохнул и медленно, как подневольный, отправился к повети. Там, среди старья – оконных рам, корзин, бадеек... – ему предстояло отыскать длинную лестницу.

Он искал и не очень надеялся: то ли найдёт, то ли нет? Как будто была подходящая лестница – осталась от прежних хозяев.

Кузьма осторожно, боясь повредить руку, рылся среди старья. Мешало сено, превратившееся в труху. Сколько лет этому кормовому сему? Страшно представить...

Кузьма морщился, чихал и, отойдя от повети, протирает глаза.

Наконец он нащупал концы лестницы, её «рога», и, поднатужившись, потянул к себе. Вместе с лестницей приехали детские деревянные сани. Кузьма убрал сани и, продолжая пятиться, выбрался на солнечный огород.

Лестница оказалась не простой – надставленной, сколоченной из двух. Кузьма проверил потемневшие от времени ступеньки – ещё крепкие, гвозди сидят прочно, не отошли, но стык лестниц ослаб.

Кузьма поработал гаечным ключом, вогнал на всякий случай, для прочности, несколько длинных гвоздей. И успокоился...

Отдыхая, посмотрел на свою выкрашенную крышу. После росного утра серые водяные пятна подсыхали довольно быстро.

– Ну что, Савраска? Поехали? – спросил себя Кузьма.

Он впрягся в оглобли лестницы и, низко наклонившись, потащил её через огород на зады.

За деревенскими огородами когда-то была покосная луговина с кормовыми травами: клевером, мятликом, мышиным горошком... Теперь на луговине царствовали чертополох да репейники.

А за луговиной, вплоть до железнодорожной лесополосы, когда-то простиралось хлебное поле. Золотые волны ржи, лоснясь и переливаясь на солнце, катились к зелёной луговине, к деревенским пряслам и заборам. Сытный сладковатый запах хлеба перебивал ароматы трав...

Теперь на месте бывшего колхозного поля травяная дурнина да низкорослые ёлочки-сосёночки. О хлебородном поле напоминает только старый межевой дуб с развесистой кроной.

Кузьма, склонив голову, продолжал тащить лестницу. Боясь споткнуться, запутаться в диких травах, смотрел себе под ноги, на блестящие от росы носы резиновых сапог.

За ним тянулись две полосы, похожие на тележный след.

Иногда он останавливался и, не выпуская оглобли из рук, пристально смотрел на одинокий дуб. Издали он казался ему не таким уж высоким – может быть, чуть повыше крыши, которую он только что покрасил.

Но по мере приближения с каждым шагом дуб вырастал у него на глазах, а лестница, бьющаяся о мокрые травы, становилась всё тяжелее и тяжелее.

Порой казалось: длинная лестница вот-вот развалится на две части. И он, к своему стыду, даже готов порадоваться такому исходу: развалилась – ну и что ж, придётся вернуться домой.

Он, отдыхая, бросал оглобли в траву и вновь поднимал. Какая-то непонятная сила толкала Кузьму вперёд, мешала одуматься.

Ему вспоминались свои слова, похожие на обещание:

«Не переживай, Варвара! Найдётся твоё кольцо. Скоро найдётся...»

Ну кто тянул за язык?

Солоно, отрезвляюще пахла полынь. И горьковато-вяжущий запах пижмы тоже взывал к трезвости: а может, все-таки остановиться? вернуться домой?

Всплывали слова Варвары:

«Нужно ли из-за моего кольца жизнью рисковать?»

Правда, во сне это было сказано. Но велика ли разница между сном и явью?..

Он подошёл к старому дубу, и лестница сама выскользнула из рук...

– Коль взялся за гуж... – Кузьма глубоко вздохнул.

От близких предков унаследовал Кузьма страх высоты. Рассказывали, дед по матери, Пантелей, во время скирдования не мог забраться на высокий стог – не обращая внимания на шутки, он предпочитал работать внизу, при тягловых лошадях. Да и сама мать Пелагея боялась высоты как огня. Не могла без страха пройти по мосту: какая-то неведомая сила, помимо воли и желания, тянула её вниз. И что это была за сила,

наверное, одному Господу известно: то ли дьявольский соблазн, то ли неуёмное желание бессмертной души вырваться на волю?..

В глубоком раздумье стоял Кузьма возле векового дуба, поглаживая жёсткую кору. Кто знает, может быть, Кузьма, сам того не осознавая, сейчас относился к дубу как к живому существу, способному его понять и поддержать в трудную минуту.

Догорала роса на травах, и от мокрых брюк Кузьмы шёл лёгкий парок...

Он долго думал и наконец решился. Первым делом нужно было завести лестницу на дуб. Поставишь полого – высоко не заберёшься. Поставишь круто – легко сорваться.

Кузьма кружил возле дуба, выбирая среди сучьев подходящий пролаз, и, утомившись, махнул рукой: эх, была не была!

Он прислонил лестницу к дубу и, ухватившись обеими руками за «оглобли», стал заводить её на верх. Лестница теряла направление, упиралась в сучья. Кузьма давал задний ход, и всё начиналось снова...

Прежде чем ступить на лестницу, Кузьма машинально провёл рукой по шее, возле распахнутого ворота. Креста на нём не было: потерял прошлым летом. И теперь, в какой-то смутной надежде, Кузьма шарил возле ворота, пытаюсь найти то, о чём не думалось, когда красил крышу. Только сейчас потеря всплыла, и неуютно, тревожно стало на душе...

Он вздохнул и стал укреплять нижние концы лестницы. Лестница должна стоять прочно, не елозить по траве. Но почва оказалась дернистой, с окаменелыми выступами корней, и Кузьме пришлось изрядно повозиться...

– С Богом! – сказал, как выдохнул, Кузьма и осторожно поставил ногу на нижнюю ступеньку.

Он полз, то и дело прижимаясь к ступенькам грудью.

Главное – не смотреть вниз.

И он смотрел перед собой, на корявый ствол с желтоватыми наростами мха. Дерево словно успокаивало его, придавало уверенности.

Главное – не думать о высоте. Он всего лишь перебрался с одной ступеньки на другую. А велико ли расстояние между ступеньками?..

Он уколол палец о сухую ветку, и, как ни странно, эта боль отвлекла Кузьму от высоты и успокоила.

«Не надо спешить!» – мысленно говорил Кузьма. – Не надо спешить...»

И эти слова ему захотелось повторить вслух:

– Не надо, Кузьма, спешить! Не надо...

Будто не сам себе говорил, а какой-то другой человек, следующий за ним.

Кузьма полз. И так хотелось, пусть на какую-то секунду, посмотреть себе под ноги, вниз. Кузьма кусал губы, закрывал глаза и медленно, на ощупь, поднимался всё выше и выше.

– Ещё немного... Терпи, Кузьма!

Но каково терпеть, когда ослабевают руки, а в душу заползает безразличие к собственному телу, когда погружаешься в какой-то полусон и готов отдаться бездумному полёту?..

Казалось, он поднимается целую вечность. Эта лестница была надставленной из тысячи лестниц...

Было тихо. И вдруг за спиной Кузьмы словно флюгер застрекотал под порывом ветра.



– Ну что, красавица? Объявилась? – Кузьма с усилием выдавил из себя улыбку.

Птица покружилась, встревоженно поверещала и, каркнув по-вороньи, куда-то улетела.

До сорочьего гнезда было недалеко. Но вот беда: лестницы не хватало, и, чтобы проникнуть в «лоток» под хворостяной крышей, нужно было перебраться на ближайший сук.

Кузьма ощущал слабость в коленях. Пальцы, которыми он впивался в лестницу, ныли от боли.

Он уже был готов, ухватившись за ветки, встать на крепкий сук, как его, словно током, пронзила тревога: а если лаз в гнездо с другой стороны? что делать тогда? спускаться вниз и переставлять лестницу?

Кузьма понимал, что сил на новое восхождение не хватит.

Он с трудом, скользя подошвами, взобрался на сук и, не помня себя, в каком-то лунатическом движении потянулся к сорочьему гнезду. Правой рукой шарил под хворостом «крыши», а левой держался за ветку.

Не отпускающая его тёмная сила подзуживала: отцепись! убери левую руку! ничего не случится!

Кузьма, как мог, сопротивлялся соблазну и судорожно, царапая пальцы в кровь, искал лаз. Горячий пот тёк по его лбу, попадал в глаза и, смягчённый слезой, увлажнял небритые щёки.

Думалось об одном: добраться! достать!

И вдруг его рука легко, будто кем-то ведомая, проникла в лаз. Он ощутил обсиженное пространство и стал судорожно загребать содержимое: какой-то скользкий клубок с чем-то мелким, металлическим, – не разобрать!

Обдирая кожу, Кузьма вытащил из гнезда правую руку, сжатую в кулак. Хотел бросить добычу вниз, но почему-то передумал. Торопливо засунул в брючный карман и не спустился, а как-то рискованно, не боясь, прыгнул на лестницу.

Лестница пошатнулась, но удержалась.

А дальше?..

Кузьма не помнил, что было дальше. Он, обессиленный, безразличный ко всему, обнаружил себя сидящим на последней ступеньке лестницы.

Подошвы его сапог упирались в твёрдую землю. А в глаза светило яркое приветливое солнце.

Казалось, Кузьма будет сидеть вечно, отдавшись теплу и покою, но тут над его головой громко заверещала обиженная чёрно-белая птица. Смертельно уставший человек вздрогнул и, приходя в себя, догадался, кто он и почему оказался возле старого дуба.

Кузьма поднялся и с большим усилием, сгибаясь, – сам удивился, как всё это мог засунуть! – извлёк из брючного кармана клубок серебристого «дождя», которым обычно украшают новогодние ёлки. Непослушными, словно чужими, пальцами он стал извлекать из перепутанных нитей всякую мелочь: позеленевшие советские копейки, перламутровую, не утратившую радужного блеска, пуговицу, разноцветные бусинки на коротком обрывке...

Его внимание привлекла витая ниточка. Кузьма потянул ниточку и вдруг... И вдруг... Кузьма не верил своим глазам.

В его руках оказался серебряный крест. И Кузьма, поражённый, как молнией, догадался: это его крест! Почувствовал раньше, чем успел рассмотреть.



Он вглядывался в распятого Христа, в рубиновые вкрапления возле его тела, в едва заметное слово «Ника» ...

Это случилось летом прошлого года. Кузьма и его шурин Павел отправились пригородным поездом в деревню. Кузьма по неотложному делу: нужно было окучить подросшую картошку. А заядлого грибника Павла привлекла тихая охота: как раз после Петровок прошли обильные дожди, пропитавшие землю на целый штык, и в ближнем лесу, в сосняке, высыпали – хоть косой коси – маслята.

День был жаркий. Пока шли, изрядно вспотели. Хотелось пить. В деревенском сельмаге Павел загрузил грибную корзину бутылками пива. За сельмагом открывался большой чистый пруд, обсаженный ивами. Ну как не искупаться!

– Хочешь раков к пиву? – спросил Кузьма.

– Каких ещё раков? – удивился Павел.

– Самых обыкновенных, с клешнями! – улыбнулся Кузьма.

Он быстро, опережая Павла, разделся, повесил на ветку свой серебряный крест и осторожно, боясь поскользнуться, спустился к воде.

Они долго плавали, дурачились, плескаясь водой. Потом Павел выбрался на берег, а Кузьма подплыл к обрывистому месту и стал нырять.

Он выбрасывал раков на тропку, протоптанную рыбаками, а Павел с весёлыми криками подбирал:

– Ах, дьявол! Опять прихватил клешней!..

Возле пруда останавливались какие-то легковушки. Мужики по-быстрому купались и уезжали.

Когда Кузьма, озябший, с посиневшими губами, выбрался на берег, серебряного креста на ветке не оказалось.

Кузьма молча переживал.

А Пашка потешался:

– Какие верующие вору пошли! Крестик взяли, а к пиву не притронулись!

Кузьма продолжал ворошить серебристый комок. Он искал кольцо и не находил.

– Как же так? – сокрушался Кузьма. – Что же это такое? Ну не может такого быть!

Он отбросил пустой комок в сторону и, как заведённый, стал кружить возле дуба. Кружил, вглядываясь в потухшие, без росы, травы.

И вдруг на сухом стебельке полыни что-то сверкнуло. Неужели?.. Кузьма остановился. И осторожно, словно имея дело с каким-то живым существом, способным в любую секунду исчезнуть, снял золотистое колечко.

Колечко оказалось простым, ронделевым, обыкновенное «цыганское золото». На внутренней стороне колечка было выведено – Кузьма с трудом прочитал стёршуюся надпись – «Дорогой Лизе от Ивана».

Сжимая в руке колечко, Кузьма прислонился к вековому дубу и впервые за это утро облегчённо улыбнулся: слава богу, всё закончилось!

Он вглядывался в широкое небо, по которому плыли облака, похожие на птиц, и чувствовал, что небесная высота, в отличие от недавней, той, что была под ним, тревожной и смертельно опасной, приносит только радость и глубокий покой.

## Павел ЛАПТЕВ

Родился в 1971 году в городе Выксе Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «инженер-электрик», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Работает инженером в электроэнергетике.

Прозаик, поэт. Участник Форума молодых писателей России в подмосковных Липках. Автор двух книг, ряда публикаций в российских журналах. Член Союза писателей России. Живет в Выксе.

## САЛОН КРАСОТЫ

Юрий Юрьевич давно уже собирался в парикмахерскую, год прошёл, как стригся последний раз. Да, так раз в год по весне он и стригся. С юности ещё носил длинные битловские волосы, привык к ним, привык к усам, зрительно увеличивающим маленькую верхнюю губу. И вся эта красота вкупе с фетровой шляпой, большими тёмными синими очками и пальто горделиво выделяли Юрия Юрьевича из советской толпы. Так со своей гордостью он и прожил до средних лет без жены, без семьи – один.

– Как стричься будем? – спросила садившегося в кресло Юрия Юрьевича маленькая худая женщина-парикмахер.

Юрий Юрьевич вопросительно посмотрел на неё – мол, что значит как – как всегда «молодёжную», но, услышав, как парень рядом заказал себе «теннис», тоже сказал:

– Теннис мне!

Парикмахерша мотнула головой и накрыла тело Юрия Юрьевича зелёной простынёй. Потом она взяла в одну руку расчёску, в другую – несурзные ножницы, начала расчёсывать шевелюру Юрия Юрьевича и скрежетать ножницами.

– Ну вот, Андрюша, – сказала она минут через пять молодому парикмахеру, который стриг рядом парня под «теннис». – Мой Бэу вчера заявляет: мол, при разделе имущества я люстру заберу, сервант заберу, ещё чего-то там заберу, представляешь?

– Ну, – протянул Андрюша, изящно крутя ножницами в воздухе. – А ты что?

– А я сказала: фигушки вот, всё ему забрать, как же!

– А он?

– Хм, а он: приду и заберу, потому что это я заработал своим нелёгким таксистским трудом.

– Ха! – выдохнул широко открытым ртом парикмахер Андрюша. – Таксистским трудом! Знал я одного таксиста, так он сволочью оказался, за копейку мог удавиться. Любое телодвижение измерял деньгами, гад такой! – и Андрюша начал интенсивнее поглаживать обеими руками своего клиента по волосам. Потом стал зачёсывать и состригать ему волосы сзади.

– У вас очень красивые волосы, вы знаете? – сказал он клиенту.

Парень ничего не ответил ему, только покраснел и увёл глаза от самого себя в зеркальном отражении.

– Ага, жалко даже состригать их, – продолжил настырный парикмахер.

Парикмахерша Юрия Юрьевича почему-то усмехнулась и сказала:

– Андрюша, ты всех клиентов у нас распугаешь.

Андрюша ничего ей не ответил и продолжил своё дело. Так продолжалось ещё минут пять, после чего парикмахерша почему-то начала неприятно шмыгать носом.

– Вот так! – сказала она дрожащим голосом. – А евонная мамаша, моего Бэу, тоже заявила, что и Вадика она заберёт к себе, мол, я никудышная мать, представляешь, Андрюш.

Так она всхлипывала, пытаясь одновременно стричь и вытирать навернувшиеся слезы рукой с ножницами и в один такой момент ткнула Юрию Юрьевичу ими в глаз.

– Ай! – сказал Юрий Юрьевич. – Чего вы!

– Ой! – испугалась парикмахерша. – Извините, ради бога!

Юрий Юрьевич зажмурился, поморгал и застенчиво улыбнулся.

– Ничего! Вроде видит.

Парикмахер Андрюша и его клиент парень засмеялись, но тут же остановились, потому как неудобно стало перед Юрием Юрьевичем.

В следующей пятиминутной тишине продолжилось стрекотание ножницами. Потом Андрюша кашлянул и сказал своему клиенту:

– Виски прямые или косые будем?

Парень пожал плечами, рассмотрел себя в зеркале, покрутив головой, и выдохнул:

– Да прямые, пожалуй, ага.

– Знаете, – протянул ему Андрюша. – Вам вообще пойдёт без висков, эдакая американская причёска, как у здоровенных потных нигеров в боевиках.

Парикмахерша пискнула.

– Фу! – сказала весело она. – Потные нигеры, гадость какая.

– Да, – вдруг сказал Юрий Юрьевич, заинтересовавшись темой. – Эти американские боевики одна пошлятина. Принижают великие ценности до своих низменных размеров. Вот и наши современные деятели начали снимать такую же мерзость. Включишь телик, а посмотреть и нечего, одни убийства и секс. То ли дело наше советское кино, где чистые и светлые отношения между мужчиной и женщиной. Где ж такие сейчас найти? – Юрий Юрьевич посмотрел в зеркале на свою парикмахершу, на Андрюшу и его клиента.

Но никто из них не знал, где найти такие отношения сейчас, потому никто ничего Юрию Юрьевичу не ответил. Только парикмахерша вздохнула глубоко и представила, что к чистым и светлым отношениям неплохо бы ещё было добавить чуточку интима.

– Любви бы побольше! – сказала она об этом.

– Да, – согласился о своём Андрюша и, подбрав клиенту опасной бритвой шею, добавил: – Стоим мы как-то рядом на автобусной оста-

новке с другом, стоим и разговариваем, и ливень хлынул вовсю. И все, кто стоял, забежали под навес. А нам хоть бы что, дождь не замечаем, только за руки держимся, обнялись. И все, кто пробегает мимо – сырые, мокрые, нам завидуют. Вот такая была любовь, что и дождь не замечаешь.

Андрюшин клиент покашлял, поёрзал в кресле.

– Не отстраняйтесь, пожалуйста, а то я вас порежу, – сказал ему серьёзно Андрюша.

Клиент притих, только глазами в зеркале начал пристально следить за движениями Андрюшиных рук, которые ещё немного подравняли чёлку, смахнули кисточкой с лица состриженные волосинки и сняли простынку.

– Двести рублей, – сказал Андрюша.

Клиент встал и достал бумажник.

– Дурь это всё, – сказал он, расплачиваясь. – Нет никакой любви, а есть вот бабло.

– Да уж, – сказала ему многозначительно парикмахерша. – Как в анекдоте – любовь придумали русские, чтобы своим бабам деньги не платить. Так пойдёт? – спросила у Юрия Юрьевича о его чёлке, на что тот кивнул головой.

Она начала подбривать шею Юрия Юрьевича, потом и щёки.

– Андрюш, – предложила коллеге. – Хочешь, я тебя познакомлю с одной девочкой? Сказка. Фигурка как у Дюймовочки. Ноги от шеи, грудь вот така...

Вдруг Юрий Юрьевич ощутил в левом ухе резкую боль и рефлекторно зажал его рукой.

– Ай-йа! – вскрикнул он сипло.

– Что, что? – крикнула и парикмахерша и увидела на своём клиенте кровь.

– Ай! – крикнула она сильнее, когда увидела на полу ухо Юрия Юрьевича.

А он вскочил с кресла и начал бегать по маленькому залу. Все застыли и смотрели на Юрия Юрьевича, не зная, что предпринять в этой ситуации.

Но вот Андрюша спокойно поднял отрезанное ухо и бросил его в умывальник. Потом остановил стонущего Юрия Юрьевича и усадил назад в кресло.

– Что же вы так? А? – причитал Юрий Юрьевич. – Как же вы так?

– Послушайте, послушайте! – призвал его Андрюша. – Вот выпейте быстрей, – засунул в рот Юрию Юрьевичу флакон с туалетной водой.

Юрий Юрьевич почему-то послушался, быстро выпил целый флакон и громко при этом ргнул.

Парикмахерша, с самого начала стояла с открытым ртом в шоке, тут очнулась и начала шёпотом что-то причитать.

– Смотрите-ка! – сказал весело парикмахер Андрюша. – Вам идёт так!

– Как? – не понял испуганный Юрий Юрьевич.

– В бинте. Ну-ка! – Андрюша достал из тумбочки курительную трубку и вставил в рот Юрию Юрьевича, сказав при этом, – но чего-то не хватает, или, скорее, что-то лишнее.

Он поднял валявшуюся на полу брошенную парикмахершей кровавую бритву и быстро сбрил Юрию Юрьевичу усы.

– И кто теперь скажет, что это не Ван Гог! – воскликнул Андрюша.

– Как? – не расслышал Юрий Юрьевич.

– Ван Гог! Писатель, фу, этот, художник! – сказала весело парикмахерша.

И они с Андрюшей засмеялись.

– А я даже и денег с вас не возьму, чего уж, – замахала руками парикмахерша.

– Да и вообще нечего с него брать деньги никогда. Приходите к нам задаром стричься! – предложил Юрию Юрьевичу Андрюша.

– Вот подфартило! – воскликнул клиент Андрюши. – Может, и мне ухо отрежете, и я буду тогда бесплатно стричься.

И снова все засмеялись. Даже пьянеющий Юрий Юрьевич.

Из салона красоты он шёл домой с перевязанной головой, даже шляпу не надел, просто специально забыл её в салоне красоты. Во рту держал курительную трубку. Он был весел. Ему нравился его новый образ великого живописца. Он думал о том, что в жизни даже неприятные моменты нужно использовать положительно и обращать себе на пользу.

Юрий Юрьевич достал из кармана пальто кровавый пакет, достал из него отрезанное ухо, выбросил пакет в мусорную урну и, повесив ухо на мартовскую ель, пошёл домой, представляя, как его ухо начнёт новую самостоятельную жизнь, сравнимую с жизнью гоголевского носа. И, возможно, он, Юрий Юрьевич, даже встретит своё ухо на улице, но как будто не узнает его, радуясь своей жертвенности. Ведь в добрых делах пусть одна рука не знает, что творит другая. И он, Юрий Юрьевич, подставляя лицо тёплому весеннему солнцу, затягивался несуществующим дымом своей трубки и верил, что, пожертвовав свое тело для новой жизни, теперь будет стоять на вершине добродетели, которая и называется – любовь.

## Светлана РИВЕРА

Родилась в Саранске. Окончила с отличием Московский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». Старший юрист-аналитик в «Консультант Плюс», составляет тексты по юридической тематике. Живет в Нижнем Новгороде.

## НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мы с ним сидим в кафе на берегу реки Шпрее. Он выбрал столик на открытой веранде. Я прилетел сюда, в Берлин, чтобы взять у него интервью. Я столько лет зачитываюсь его прозой, что, как только у меня выдалась возможность увидеться с ним в реальности, тут же ухватился за нее.

Олег прекрасно выглядит. Ему идет седьмой десяток, но на щеках играет легкий румянец, а глаза цвета небесных далей ясны и притягивают взгляд калейдоскопом разных оттенков.

— Я в своей жизни посетил немало красивых мест, мне очень повезло в этом плане. — Олег многозначительно помолчал, — Но знаете, какое самое красивое место на Земле, на мой взгляд?

— Какое же?

— Место, где вы на самом деле счастливы... Где вам спокойно, где вы в ладу со всем миром и собой, со своей душой. Вы искренни, вам больше не нужна эта чертова игра, не нужна погоня за сиюминутным признанием, за одобрением или пониманием.

— Где? — переспрашиваю я.

— Где? А, я не сказал? Да и не важно где... Вы можете оказаться где угодно: в кино, в трамвае, в кафе, на улице, под звездным небом или под ярким солнышком, возле моря или реки, или в пустыне. Я не привязываю вас сейчас к месту, пусть оно у меня сейчас есть, всплывает как образ, но он лишь мой образ, понимаете? — он улыбнулся — О, черт, старая привычка, спрашивать, понимают ли меня... Дело в том, что раньше я очень плохо говорил по-немецки. Я вырос в России у бабушки, и только после института мои родители забрали меня к себе... И вот беда, у меня совсем не оказалось склонности к языкам. Поэтому я все время ошибался, говорил либо слишком долго, либо слишком коротко. Я просто не мог подобрать правильных слов. Знаете, я все время пытался перевести свои мысли с русского на другой язык, и из-за этого не выходило ничего, пока я не научился просто выражать свои мысли на другом языке...

— Вы и сейчас так, или это было давно, только в вашей молодости?

— Только в молодости, да, конечно... Сейчас, в силу возраста, привычек, моего богатого прошлого эта проблема решена...



– А на каком языке вы пишете? – смотрю на экран телефона, проверяя, не забыл ли я отключить звук.

– Я пишу на английском, потом на немецком, когда хочу донести свою мысль до немцев, – несколько рассеянно продолжил он. – А для себя я пишу только на русском.

– На русском?

– Да, это мой язык, мой основной язык. Язык, на котором я хочу писать, язык, который мне дорог с детства, единственный язык, которым я владею на сто процентов. В конце концов, это язык, который я больше всего люблю, – он внимательно посмотрел на меня.

– Вы говорите как большой патриот, но... Почему же тогда вы не возвращаетесь на родину?

– Мне достаточно поскучать по России и здесь. Легкая ностальгия очень прекрасна, и в ней нет ничего общего с будничной жизнью в самой России.

– Что вы любите больше всего? – задаю стандартный вопрос я.

– Жизнь, – спокойно ответил он, – И жить. Жизнь и жить. Это то, ради чего все это происходит... Не так ли? – он лукаво смотрит на меня.

– Да? Я не понимаю...

– Ну мы, ты, я, все мы... Так или иначе все мы тут временно... Но хотелось бы – подольше, получше, так чтобы было интересно, хорошо... Ну вот хоть бы сравнить с кино, вы ходите в кино?

– Да, конечно, а как же... – растерялся я.

– Ну, кто-то, например, не любит кино, тогда я бы привел совсем другой пример. Вы приходите в зал, проходите, садитесь, занимаете свое место. Вы выбрали фильм себе по душе, у вас даже есть легкое предвкушение, а может, совсем нет никаких ожиданий, все зависит от вашего настроения... Но вот, этот момент, идет фильм и... Вы в нем растворяетесь, вы полностью в нем, ну если это хороший, разумеется, фильм – оговорочка, знаете ли... Это то, что вы выбираете для себя... Чем вы себя занимаете, то, что вам нравится, чтобы прожить эту жизнь вкусно, ярко, хорошо... Вы любите водку?

– Не совсем. Вернее, нет. Абсолютно не люблю.

– А что вы предпочитаете? – он спокойно уточняет.

– Я люблю вино, но обязательно красное.

– Да, вот оно... Этот момент выбора... Вы когда-то решили, что для вас именно так – вкусно, хорошо, отлично! – он снова немного помолчал и затем продолжил: – Я имею в виду стандарты – это пустое, как вы живете и что выбираете, главное, чтобы нравилось вам самим.

В номер я не вошел. Я вбежал. Меня переполняло предвкушение. Теперь я могу отправить ему свою рукопись.

Я считаю, эту рукопись должен прочесть он первый. Он ее оценит, я знаю... Уже в Москве меня вдруг начинают терзать сомнения. Все же я решаюсь и отправляю рукопись, следом за интервью.

Он молчит. Молчит уже неделю. Вторую.

Звонок на мой мобильный.

– Алло? – отвечаю не определившемуся в телефоне абоненту. – Да, это я... Кто оставил записку? Мокринов Олег? Не понял? В каком смысле?

Еще раз, как в замедленной съемке и при этом в ужасном по качеству фильме переспрашиваю, рассеянно тру лоб и сажусь на пуф в прихожей.

Его больше нет. Да, цветущее здоровье, оказалось, только на вид... У него на рабочем столе осталась записка для меня:

«Сходите лучше в кино».

## Мария БУШУЕВА

Прозаик, критик. По первой профессии психолог. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литинститута им. А. М. Горького.

Автор нескольких книг прозы, в том числе романа «Отчий сад» (М., 2012), а также публикаций в журналах «Нижний Новгород», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «Москва», «Литературная Америка» и других. Стихи переводились на французский язык.

Член Союза писателей России. Живет в Москве.

## ТРИ ЛЕГКИЕ УЛЫБКИ

Между ними сразу возникла невидимая связь, о которой просигналили три легкие улыбки, точно каждая послала другой условный знак их тайного общества, в которое не было доступа ни одной другой девушке в этом летнем, веселом, безмятежном кафе. Одна училась в институте заочно и работала стюардессой: изящная, высокая, черноволосая полугрузинка, вторая училась в университете на инязе, блондинка – полуеврейка, третья – русская, пепельная шатенка, оканчивала филфак, – но ни цвет волос, ни национальность не играли никакой роли в их тайном обществе: отбор в него осуществила при их рождении сама Природа. Главное, что они были красивые. Даже не будучи знакомыми, они выделили друг друга из всех остальных посетительниц кафе мгновенно – так узнают друг друга люди разных, не зарегистрированных нигде, сообществ: ревниво оглядываются на собрата актеры, перемигиваются в магазине незнакомые алкоголики, притягиваются на городском бульваре брошенные мужьями мамушки младенцев, а на дорогах чужой страны приветственно гудят одна другой машины с российскими номерами...

И четвертая девушка, их ровесница, обделенная и высоким ростом, и длиной ног, и красотой черт лица, более того, даже хорошим зрением, попав в самую сердцевину перекрещивающихся победных, веселых сигналов, осела на своем стуле, как почерневший сугроб, чтобы через несколько минут совсем исчезнуть.

Она шла по улице, таща холщовую сумку с книгами и двумя глянцевыми журналами по дизайну. Один из журналов был залит кока-колой, а второй чуть измазан повидлом от недоеденной в кафе булочки. Дома ее ждал суровый отец, постоянно недомогающая мать, вредный младший брат и вечное «учиться, учиться и учиться». Так шла она и шла, сначала в пути потеряв отца, но приобретя вместо него мужа – очкастого

и сутулого архитектора, вскоре организовав вместе с ним свою фирму, поскольку уже стала дизайнером, потом женив вредного брата на дочке подружки матери из соседнего подъезда, а себе купив новую квартиру этажом выше, и, наконец, к радости матери и мужа, родив близнецов Федора и Федота. Так шла она и шла, пока не превратилась, по словам многочисленных знакомых, в «интересную женщину с большими шармом», отличающуюся «собственным элегантным стилем», женщину, которую многие стали находить очень и очень привлекательной...

Но никто не знал, что подтолкнул ее на успешный путь, придав трудолюбия и выносливости, тот вечер в летнем безмятежном кафе, когда тайные сигналы сообщества красивых бесшумно прошли ее насквозь, так и не вычленив из летнего вечера и шума.

И потому триумфом ее жизни оказался не день рождения ее детей, не факт приобретения многочисленных мужчин-поклонников, кругами вьющихся возле сорокалетней дамы, даже не фонтан денег, позволяющий посещать VIP-салоны красоты и отдыхать на полюбившейся ей Сардинии, а самый обычный теплый вечер августа, когда в ее загородный дом приехала женщина, которую бородатый муж, прищурившись иронично, определил как «блеклую особу со следами былой красоты» и в которой она тут же узнала блондинку из далекого кафе ее печальной юности...

И порой я спрашиваю себя: неужели она бы возликовала, узнав, что давний, промчавшийся сквозь нее, безмятежный искрящийся шум, постепенно сгущаясь до пьяного губительного гула, оставил красивую шатенку молодой вдовой, замотанной тремя маленькими детьми, а пару лет спустя, сгустившись до страшного грохота, унес из жизни, отнюдь не в грозовом небе, а на почти пустом алтайском шоссе, черно-волосую стюардессу?

Блеклой блондинке она отказала.

Ты же заказывала, чтобы няня была с английским языком, удивился муж, нам такую с фирмы и прислали!

— Мне бы хотелось, чтобы у Федора и Федота был позитив, — сказала она, поджав губы, — значит, гувернантка должна быть красивой, а не со следами... И вообще, мне уже предложили мужчину, причем носителя языка, и фактически за ту же цену. На сайте есть его фото, он вполне... — Она горделиво подняла брови и улыбнулась. — Только, пожалуйста, не ревнуй!

## КОГДА ВСЕ СПЯТ

- Отдай!
- Не отдам!
- Отдай!
- Не отдам!
- Ну, Танька, скажи ей!
- Что я могу сделать?! Сама видишь!
- Ну, скажи ей, наконец! Я что неформалка с одной серьгой в ухе иди! Отдай, Даша! Отдай! Я опаздываю! Вот, уже косметика поплыла, подделки продают, блин! Фффф!
- Ффффф! Ветел, ветел, ты могуч!
- Ты, дура, тебе уже четыре года, а все «рэ» не выговариваешь! Отдай, кому говорят! Танька, выпори эту дрянь!
- Будет твоя – хоть убей.
- Отдай, мерзавка маленькая!
- Зачем тебе серьга, дочура?
- Хочу!
- Ну зачем она тебе?
- Буду клутая!
- Отдай, морда. побью!!!
- Ну что ты орешь на ребенка? Дашуня, отдай ты этой дуре сережку!
- Дула!
- Сама ты дура, и твоя дочь в тебя! Корова! Не можешь ребенка воспитать как следует!
- Слушай ты, глиста, ты роди сначала, а потом, блин, вякай! На тебе даже твой соломенный мажорчик жениться не хочет!
- Заткнись!
- Ага, ага, правда глаза колет!
- А твой муженек, папашка этой маленькой... вчера опять дома не ночевал, таскается по ночным клубам! Скажешь – гоню?!
- Папка – дулак, кулит табак, дома не ночует, спички волует!
- Так нельзя говорить про папу.
- Можно!
- Вот сережку отдай, и сразу будет можно!
- Ты чему ребенка учишь, крыса?! Я вот папаше нашему с тобой все расскажу – он тебе даст!
- Даст лваной классовкой в пьяную халю...
- Ты откуда такие грубые слова знаешь?!
- Чтобы на глядки не бегала!
- На какие грядки?! Кто тебе подучил так говорить?! Тетка Катька, да?!

– Родная мамочка Танечка! Ну-ка, Дашечка, расскажи, что ты еще знаешь! Давай, давай, не бойся!

– Даша, не смей!

– Блин! Вот она! Выронила сережку все-таки!

– Отдай!

– Чего-о?!

– Отдай, говорю! Я не разрешу тебе мои серьги надеть!

– Не дашь?!

– Не давай тетке Катьке твою сележку!

– Нет!

– А еще сестра называется! И вторую тогда заberi!

– Катись к своему уроду!

– Улод! Улод!

– А тебе завидно!

– У меня семья, а у тебя бойфренд!

– Какие мои годы!

– Ключи не забудь, а то опять в три ночи поднимешь. Дубленку, кстати, сдала бы в химчистку: рукава тупо залоснились... А то продала бы мне.

– Нашла идиотку! Ты мне потом деньги будешь три города цедить, как за финскую куртку.

– Хочу култку! Хочу култку!

– Замолчи, племяшка-букашка!

– Тогда дубленку! Хочу дубленку! У Полины дубленка, вся в клеточку!

– Кишка у тебя еще тонка!

– Отстань от моего ребенка и вали скорее! Надоело, блин, все это слушать!

– Мам, купи! ку-упи-и-и!

– Ну конечно! Прямо сейчас шопингом и займусь!

– Тогда от тетькатиной отлежь! У нее малиновая!

– Бай-бай, красотки!

– Отлежь! Ну, отле-е-ежь!!!

\* \* \*

– Опять явилась в два ночи, смотри, нарвешься!

– Доставили до двери.

– Ну, тогда ладно. У Толяна были? Или только в клубе?

– Были.

– От тебя несет.

– По барабану. Папаша до восьми утра как бревно. А твой дома?

– Дрыхнет после «Балтики». Они футбол смотрели...

– Тогда – кайф!

– Покурить ничего нет?

– В сумке.

– С ментолом?

– Без. Не было с ментолом.

– Воду включи, только не очень сильно, вода дым поглощает.

– Каждый раз говоришь одно и то же, не дебилка поди, помню...

– А...

– Дашка нормально уснула? Не рыдала?

– Нормально. Правда, вымоталась я, как собака!

- Вообще прикольная она у тебя.
- А то.
- Быстро успокоилась? Или все орала: отлежь! отлежь!
- Мобильником занялась – стала палить шариками по бедным свинкам!
- Что-то из нее вырастет, запросы уже...
- Не хуже нас с тобой будет. Ты гучи возьми, побрызгай здесь – они лучше дезодоранта. А то папаша утром унюхает...
- Окей.
- И окурки потом выброси в кухне в окно, вчера кинула в ведро, оттуда так завоняло...
- В окно брошу.
- С ментолом все-таки лучше.
- Не было уже.
- У соседей прошумела по трубам вода. И снова все стихло.
- Одна радость, прикинь, вот так ночью закрыться, когда все спят, сесть на край ванны и выкурить с тобой одну сигаретку.
- Танюха!



## ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

Порой в детстве так дружишь, что границы твоего «я» стираются, чужая душа начинает перетекать в твою душу, смешивая свои невидимые частицы с твоими, ты словно начинаешь жить в двух жизнях сразу, в своей и в совсем незнакомой, и чужие чувства и чужие мысли открываются тебе, точно книжка...

Хорошенькая новенькая, приехавшая из другого города и пришедшая в наш класс в первых числах октября, почему-то сразу выбрала в подружки меня. Все мы, одноклассники, жили в соседних домах на трех тихих тополиных центральных улицах, и Аля могла идти от школы до дома с любой девочкой, но ходить предпочитала только со мной.

Нам было по тринадцать, но я, худая и сутулящаяся, казалась замерзшим полуробенком, Аля же, наоборот, была уже почти девушкой, и в ее синих глазах прыгали рыжие искры. Училась она очень ровно – на одни пятерки, всегда делала уроки, хорошо отвечала у доски и являла бы собой образец классической отличницы, если бы не две удивлявшие меня ее черты: сипловатый низкий голос и косметика, которой она уже ловко и умело пользовалась.

По дороге из школы мы обычно болтали, как все девчонки, о наших мальчишках-одноклассниках, об учителях и не припомню еще о чем. Но однажды – и тот день я вижу как сейчас – она, остановившись недалеко от своего подъезда, – мне было нужно идти чуть дальше, – сказала с прорвавшимся отчаяньем, что у ее мамы опять новый муж.

– Как это «опять»? – удивилась я.

– У нее каждые полгода новый. Один меня курить научил, другой... – Аля горько усмехнулась. – У нас всего одна комната.

Так вот почему у нее такой сиплый голос, поняла я.

Ее маму я видела: они с дочерью очень походили друг на друга – только Аля была очень хорошенькой, а мать – из-за ярких губ и сильно накрашенных бровей даже мне, девочке, показалась вульгарной.

– Ее потому и отец бросил, – прибавила Аля, и ее усмешка стала злой. – Не вытерпел!

Никому в классе об Алиной откровенности я не рассказала. Мы так же ходили с ней от школы до дома и так же весело болтали совсем на другие темы. Нам было хорошо и легко друг с другом. К моей симпатии прибавилась жалость, заставляя меня представлять прокуренную комнату и думать об Але сочувственно почти каждый вечер.

Прошло месяца два. Наступил декабрь; в школе обстановка, как всегда в конце первого полугодия, была нервной и напряженной: кто-

то бегал исправлять двойку, чтобы за четверть стояла хотя бы тройка, кто-то уговаривал учителя разрешить переписать четверочную контрольную, чтобы остаться отличником, у одной девочки, пока она была на уроке физкультуры, пропали из раздевалки новые сапоги, а мальчик из шестого класса упал с горки, попал в больницу и перенес операцию, ему вскрывали череп, о чем знала уже вся школа...

Потом встретили Новый год, от него осталась в памяти только бабушкина сдоба с изюмом и ягодой да запах мандаринов.

Но со мной стали происходить презанятные вещи. Задумавшись, я на ощупь искала выключатель в своей комнате совсем на другой стене, могла положить тетрадь на стол, но она оказывалась на полу, потому что в том месте не было никакого стола, а в кухне я начинала поиски коробка спичек, чтобы зажечь газовую плиту, пока не вспоминала с удивлением, что в нашем доме электрическое отопление и в спичках нет никакой необходимости.

И от всех этих легких странностей я бы сумела рассеянно отмахнуться, если бы не прибавился к ним сильнейший страх и какое-то сосущее чувство то ли стыда, то ли вины. Сначала страх больше походил на неопределенную тревогу, но постепенно стал, усиливаясь, принимать черты вполне определенной, хотя и совершенно непонятной по происхождению, фобии: я стала панически бояться... милиционеров<sup>1</sup>.

Завидев на улице козырек, я бледнела, а заслышав звонок в дверь, вздрагивала – неужели милиционер уже здесь?

На время зимних каникул номенклатурные родители другой одноклассницы – я постоянно помогала ей в учебе – пригласили меня на их ведомственную дачу, где можно было покататься на лыжах и вкусно поесть в отличном ресторане: такого пломбира я не встречала больше нигде. Моя бескорыстная интеллигентная бабушка, растившая меня, выделяла родителям отстающей деньги из своей пенсии на мой отдых и кормежку, радуясь, что внучка побудет на воздухе.

За городом страх мой немного пригас, может, и потому, что охранявшие дачи милиционеры были со мной, как со всеми живущими там взрослыми и детьми, профессионально приветливы.

В первый день после каникул я с трудом проснулась вовремя: в школу идти совершенно не хотелось. Бабушка моя, придерживавшаяся старомодной точки зрения, что лучше опоздать в школу, чем не позавтракать, вяло подгоняла меня, полуспящую за столом, – и все-таки я опоздала и пропустила главное событие, о котором говорил весь класс: Алю прямо перед звонком на первый урок забрала милиция! Пришли два суровых дяди и сообщили, что она украла из раздевалки сапоги! Аля пошла в них гулять и стала кататься с ледяной горки на площади перед магазином «Детский мир», там-то ее и увидела девочка, чьи сапоги пропали. Отец девочки сообщил в милицию, и теперь, как говорили учителя, Але грозила колония. В обществе еще не царило и не манипулировало умами ловко-аморальное словечко «прихватить» – и мои одноклассники Алю дружно презирали.

На меня, дружившую с ней три месяца, не упало даже малейшей тени. Может, и оттого, что отец той одноклассницы, у которой я гостила, относился к первому ряду городской номенклатуры.

<sup>1</sup> До 2011 года полиция навязывалась милицией.

В наш класс Аля уже не вернулась, и постепенно все в школе забыли ее, и только я часто возвращалась к ней в своих мыслях. Я снова жалела ее, хотя должна была презирать, и причина моей жалости была мне самой непонятна. Она тяжелила мне сердце и вселяла мучительное сомнение в собственной чистоте. Неужели и я в чем-то плохая, если могла дружить с такой девочкой?

Может быть, Алю подтолкнула на ужасный поступок нехватка денег и влюбленность в парня, которому нравились модно одетые подружки, думала я, а может, очередной мерзкий отчим?..

Иногда я приходила к тому дому, где Аля жила, но аура пустоты, настигавшая меня в ее дворе, подсказывала, что ни Али, ни ее матери здесь больше нет.

Как-то, в очередной раз проходя мимо ее подъезда, я увидела несколько пожарных машин и в тревожной толпе, столпившейся во дворе, поймала обрывок разговора: в одной из квартир взорвался газ... И тут меня осенило! – так вот почему я искала спички, чтобы зажечь не существующую в моей квартире газовую плиту! Это я чувствовала Алины мысли как свои! Так сильно мы симпатизировали друг другу! И вот почему я панически боялась милиции! Боялась Аля!

И, едва я поняла это, меня настигло сосущее чувство стыда. Это было ее, а не мое чувство, я знала это совершенно точно! Значит, Але по-прежнему было стыдно, значит, она переживала.

У меня точно камень упал с души.

## *Из будущих книг*

### **Владимир ВАСИЛИНЕНКО**

Родился в 1942 году в Иркутске. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР в Москве, работал режиссёром на Дальневосточной студии кинохроники, на студии телевидения в Нижнем Новгороде. Снял по своим сценариям более восьмидесяти фильмов. Член Союза кинематографистов России, лауреат и призёр всесоюзных, всероссийских и международных кинофестивалей.

Автор ряда романов, повестей, пьес, сборника стихов. Лауреат Международного литературного конкурса им. А. Платонова «Умное сердце». Член Союза писателей России. Живёт в Хабаровске.

### **СВЕТЛЕЙШИЙ АЛЕКСАШКА**

*Фрагменты романа*

Нева, наконец, оделась льдом, и горожане стали охотно перемещаться с берега на берег. Самые отчаянные вначале ходили пешком, постукивая перед собой палкой с железным наконечником, пробуя лёд на крепость. Речки: Мойка, Фонтанка, Охта, Чёрная и все каналы тоже промёрзли до дна, давая возможность обывателям свободно передвигаться, куда им угодно.

Светало поздно, и рабочему люду приходилось вставать затемно, в душе кляня свою разнесчастную долю и заодно батюшку-царя, по вине которого все они: новгородцы, псковичи, ярославцы, нижегородцы, тверичи, туляки, москвичи, куляне, орловцы и прочие – оказались в этом гнилом, сумеречном и промозглом углу России.

Почти каждый год, на протяжении полутора десятков лет, сюда сгоняли тысячи мужиков. Их руками рылись каналы, вбивались сваи, одевались камнем берега, возводились фабрики, кузницы, лесопилки, заводы для обжига кирпича и черепицы, строились дворцы вельмож, питейные заведения и дома простых горожан.

Труд был изначально подневольным, первыми здесь надрывались и гибли уголовные преступники (если им не удавалось бежать), потом царь распорядился присылать людей по специальному указу.

Требовались в основном каменщики и плотники, но таковых, как правило, не находилось, ибо владетельные помещики расставались лишь с теми, в ком не было особой нужды. А опытными мастеровыми они жертвовать не хотели, любыми путями обходя строгие распоряжения

самодержца. И мало того что в будущую столицу пригоняли толпы голодных, полуодетых, незадачливых оборванцев – каждому из них ещё полагалось принести с собой мешок земли или груды камней, в полпуда весом. А ни лопат, ни заступов, ни тачек не было.

Но город, «парадиз» – по выражению Петра, тем не менее рос и ширился. За время отсутствия царя каторжные работы по строительству и приведению Петербурга в надлежащий вид не прекращались. А кроме мощных крепостей, пышных дворцов, храмов, каналов, мостов, садов и дач множилось кладбища и погосты с приметными и безымянными могилами. В них упокоились бранные тела бесчисленных работников, неимоверными трудами которых возводилось вся и всё...

И сколько тысяч умелых, крепких рук требовалось ещё для окончательного завершения грандиозного плана, задуманного отважным государем?! Выдюжит, вынесет ли Россия этот дерзновенный вызов? Похоже, Пётр не позволял себе в этом усомниться.

Объехав и обойдя вместе с Данилычем и генерал-полицмейстером Девиером все районы и закоулки своего любимого детища, заметив во многих местах недоделки, недочёты и упущения, государь насупился, придирчиво оглядев своих помощников:

– Ну, други любезные, все дыры и прорехи снегом присыпало, – он криво улыбнулся, – а по весне, как солнышко добре пригреет, всё и обнажится!.. Стыда тогда не оберётесь!..

Светлейший мужественно принял удар на себя:

– Моя вина, государь! Однако признаюсь честно – мужиков позарез не хватает... Тысячу-другую пригнать бы, точно не мешало.

Пётр вздохнул:

– Да где ж их взять?..

Помощники переглянулись.

– В армию едва-едва рекрутов набираем, а тут... – царь махнул рукой.

Меншиков вдруг вспомнил:

– Недавно ко мне обер-комиссар князь Черкасский явился, доклад особый принёс.

Пётр насторожился:

– Какой ещё доклад?

Данилыч охотно объяснил:

– Он предлагает заменить труд подневольный вольнонаёмным, через особых подрядчиков... Они и наберут людей, сколько потребуется...

– Это как? Каким чудом? – озадачился царь.

– Князь пишет, что через подрядчиков все работы выполняются и скорее, и лучше, чем подневольными людьми... – Меншиков развёл руками, – Выходит так, что для государства наёмный труд выгоднее... Работники, мол, приходят по своей охоте и управлять ими гораздо легче!

Пётр задумался. Предложение князя Черкасского, при всей его внезапности и смелости, стоило хорошенько обмозговать. Государь оглядел своих спутников. Оба они – и Меншиков, и Девиер – были его добровольными помощниками, не щадившими ни сил своих, ни даже самой жизни ради блага государства, которое отнюдь не было родным тому же Девиеру. Крещёный португальский еврей пошёл на службу по зову русского царя.

Государь скупно улыбнулся:

– Охота, говорят, пуще неволи... А это значит, что охочий человек – невольник сам себе, так, что ли?..

Помощники озадаченно переглянулись. Пётр знал, что они друг друга недолюбливают, даже совсем не терпят, хотя и слынут близкими родственниками. Генерал-полицмейстер угодил в свояки к светлейшему князю, будучи женатым на его родной сестре. Причём сама свадьба случилась только по приказу царя, а Меншиков никак не хотел отдавать любимую сестру за пришлого авантюриста, даже бивал его.

– Кто кому станет невольником, – нашёлся с ответом Данилыч, – пусть решают сами... Лишь бы от того польза была!..

– Дело говоришь! – согласился государь, – И посему следует эту задумку одобрить и дать ей ход...

Он шагнул к своему небогатому экипажу, кивком приглашая туда обоих спутников. Все они с трудом поместились в тесном возке. Пётр намеренно усадил двух недоброжелателей бок о бок, словно не замечая этого.

– Трогай! – скомандовал он кучеру, и царский экипаж лихо покатил по Невской «першпективе» (так тогда именовали проспект), от самой Александро-Невской лавры до Адмиралтейства.

По обе стороны прямой, как стрела, и довольно широкой улицы, вытянувшись в линейку, чинно стояли трёх-, двух- и одноэтажные дома, выстроенные из кирпича (или раскрашенные под кирпич). Всё это напоминало Петру столь любимую им Голландию, разительно отличаясь от несуразной, бестолковой, суетной Москвы, где толком ни пройти, ни проехать...

– Славно тут шведы потрудились, – глядя по сторонам, Пётр указал Девиеру, – а ты, Антон, должен сию главную улицу в образцовом порядке и чистоте содержать.

(Невский проспект был проложен руками пленных шведов.)

– Всякому обывателю, чьи дома тут стоят, надлежит об этом думать и всячески тому способствовать.

Генерал-полицмейстер согласно кивнул:

– Я полагаю, Пётр Алексеич, что в каждой слободе или улице надо назначить старосту, дабы он за порядком строго смотрел и докладывал полицмейстеру...

– Об чём докладывал? – вмешался Меншиков.

– Обо всём... О гулящих и праздношатающихся людишках, обо всех прибывающих и убывающих... – Пётр сурово посмотрел на помощников. – Также нелишним было бы знать, что на базарах продают и почём? Не мошенничают ли? Не обвешивают? Не обсчитывают?.. Не играют ли где в зернь и карты? Не потакают ли вора и тунеядцам? Заодно и нищим...

У Меншикова глаза полезли на лоб. Свояк же его, напротив, всё принимал беспрекословно и старательно, как всегда. Его отличала беспримерная строгость и въедливая дотошность в исполнении царских указов. Городские обыватели разных сословий только при одном имени генерал-полицмейстера приходили в дрожь. Нерадения и слушания Девиер не спускал никому.

Государь вздохнул и прибавил с грустью:

– Вот так нещадно, други мои любезные, мы с вами колотимся и бьёмся, столицу и всё государство в божеский вид приводим... – он пристально окинул спутников: – А кому это после нас достанется?..

Губернатор и главный полицейский, не сговариваясь, подумали, что царь, скорее всего, имеет в виду сбежавшего наследника. Почти два года минуло с тех пор, как Алексей тайком уехал за границу. У Петра



был ещё один сын – трёхлетний мальчик Петруша, рождённый Екатериной и названный в честь отца. Но до сих пор он не ходил и не говорил, хотя государь очень любил его, ласково зовя «шишечкой» ...

По обыкновению, встав с постели ещё затемно, в пять часов утра, Пётр прошёл в токарню. Запалил от ночника толстую сальную свечу и поместил её в медный подсвечник, рядом с токарным станком. Из бокового шкафчика достал небольшую стамеску, поднёс её лезвие к наждачному кругу, закреплённому на том же станке. Поставил ногу на качающуюся педаль внизу, привычно её нажал.

Дёрнулся связанный с педалью железный рычаг, закрутилось большое маховое колесо с ремённым шкивом, передавшим усилие на колесо малое, и точило стремительно завертелось. Царь приложил к нему лезвие стамески, и целый сноп искр просыпался на пол. В комнате запахло калёным железом.

Пётр любил этот запах, так же как и дух железной окалины, когда тяжёлый кузнечный молот с маху бьёт по раскалённой, грубой полосе, вынутой из жаркой печи, а от неё летят во все стороны бойкие, обжигающие искры и тут же гаснут в полумраке...

Любая работа, связанная с недюжинным усилием, ловкостью и умением, завораживала и неудержимо влекла его. Пётр не только стремился подчинить себе всё стойкое, крепкое и неподатливое, ему не терпелось достичь в каждом ремесле вершин успеха и мастерства.

Наступивший день у царя был заранее расписан. После завтрака он намеревался поехать в Сенат и утвердить там несколько указов: о строжайшем запрете украшать золотом и серебром одежду. Старые, чрезмерно дорогие платья разрешалось донашивать, а новые – шить только из русской, китайской или персидской материи. (И тем самым развивать собственную мануфактуру, а с Персией и Китаем шире вести торговлю.) Ещё следовало запретить азартные игры на деньги. А беглых солдат надлежит в первый раз прогонять сквозь строй, во второй – ссылая на галеры.

В Сенате он бывал ежедневно, неукоснительно следя за работой своих помощников. Ему хотелось видеть в них деятельных, исправных работников, неустанно пекущихся о благе и могуществе государства.

Заточив до нужной остроты лезвие, он закрепил в особом захвате десятивершковый липовый чурбачок и вновь привычно надавил на педаль. Поднёс к липовой заготовке заточенное лезвие стамески: оно уткнулось в необработанную поверхность, и вниз виртуозно заскользила кудреватая липовая стружка.

Неказистый липовый чурбачок постепенно, мало-помалу, под острым резцом превращался в безукоризненный, гладкий цилиндр. Большие, мозолистые руки царя бережно подавали стальное лезвие, и оно уверенно срезало тончайшие полоски древесины...

В токарню вошёл давний помощник Петра токарь Нартов. Государь почувствовал его приближение по колеблющемуся огоньку свечи.

– Доброе утро, Пётр Алексеич!

– Здорово, Андрей! – царь перестал давить на педаль, и станок замер. – Ты чего так рано поднялся?

Нартов улыбнулся:

– Вы меня опередили, государь...

Пётр вздохнул:

– Не спится чего-то... Который нынче час?



Токарь, он же отличный механик и часовой мастер, вынул из кармана часы-луковицу, привычно откинул серебряную крышку;

– Четверть седьмого, Пётр Алексеич...

Царь безотчётно проследил за его собранными движениями и сказал:

– Надо бы тебя за границу отправить. В Германии или в Англии ты бы зело многое постиг...

Нартов – молодой, двадцатичетырёхлетний ремесленник-самоучка, толковый и любознательный, конечно, не думал отказываться. Он тут же приблизился с явным намерением поцеловать государю руку. Однако тот остановил его предупредительным жестом:

– Будет тебе! Ты же знаешь, я этого не люблю.

За дверью слышались шаги. Пётр насторожился:

– Кого там нелёгкая несёт?.. Видать, сон им точно не в радость...

В токарню вошли Головкин, светлейший князь и кабинет-секретарь Макаров со свечой в руке. Сухой, желчный канцлер, по-видимому, всю ночь не сомкнул глаз. А Меншиков, как всегда, выглядел бодрым и жизнерадостным, в роскошном парике и щеголеватом, дорогом кафтане.

– Гутен морген, Пётр Алексеич! – с улыбкой поприветствовал он царя.

Пётр небрежно кивнул в ответ, остановившись взглядом на бледном лице Головкина. Канцлер учтиво поклонился и запустил худую ладонь в карман довольно потёртого кафтана. Он отличался известной скупостью, над которой неизменно потешались при дворе.

– Что там у тебя? – заметив это стремительное движение, спросил его царь.

– Деша, государь, от сенатора Толстого из Неаполя... – Головкин намеревался передать бумагу Петру, однако тот опередил его:

– Доложи, что там?.. Я послушаю...

Канцлер на всякий случай осторожно развернул письмо, а царь взял в руку подсвечник и протянул его Нартову:

– Посвети ему, Андрей.

Токарь поднёс огонь к плечу канцлера. Головкин чуть отстранился, оберегая свой засаленный парик, и резким голосом произнёс:

– Толстой пишет, что накрыл-таки наследника в королевском замке, и полюбовница его, девка Афросинья, тщится ему всемерную помощь оказать... То бишь Толстому...

Меншиков неожиданно рассмеялся.

– Ты чего? – обернулся к нему Пётр.

– Свояченица моя, мин херц, горбунья Варвара, как-то обмолвилась, что надобно бы к Алексею через девку эту и слуг его подобраться... – Данилыч хитровато подмигнул.

Государь мрачно отшутился:

– Недаром говорят – из осинового дышла тридцать три холопа вышло! Как есть семя крапивное... Любого продадут – им не привыкать.

Головкин искоса глянул на светлейшего, а тот мигом согнал с лица ухмылку. Вольно или невольно, но царь задел его лакейское прошлое. Пётр тоже заметил это и решил поправиться:

– Ладно. У всякого мастера свои ухватки. Ежели Толстой решил таким манером действовать – значит, так ему сподручней. Лишь бы толк из этого вышел! – он сурово оглядел своих помощников. – Уж больно долго, братцы мои, канитель эта тянется. А конца, похоже, не видать!..

Канцлер, светлейший князь, секретарь и даже механик-самоучка виновато понурили головы. Хотя, ежели вдуматься, никакой особой вины

за ними не значилось. Пожалуй, лишь одного Меншикова следовало в кое-чем упрекнуть, однако же вид у князя отнюдь не был покаянным. В токарню заглянула царица:

– Батюшка, завтрак уже на столе! Чего доброго остынет... Ужо поспешайте!

Пётр обратился к свите:

– Пойдёмте, любезные. Закусим, что бог послал, и в Сенат поспешим. Дел неотложных зело много набралось – решать их надобно.

Он направился к двери, канцлер, князь и секретарь двинулись следом, лишь токарь остался на месте, со свечой в руке.

– А ты чего, Андрей? – окликнул его царь.

– Я, Пётр Алексеич, уже позавтракал, – ответил Нартов.

– Ну, молодец! Всё успел, – одобрил царь и прибавил. – Я начал было точить скалку для своей Катеринушки, ты не сочти за труд – доделай её за меня.

– Не тревожьтесь, Пётр Алексеич! – с готовностью отозвался Нартов. – Всё будет в лучшем виде!

И вся державная троица покинула помещение.

У вице-короля далёкой Италии графа Дауна состоялся любопытный разговор с секретарём.

– Скажите, Иоганн, – спросил граф у Вейнхарта, – наследник всё продолжает упорствовать? И какие меры предпринял Толстой?

Секретарь едва заметно улыбнулся:

– Алексей совершенно растерян. А Толстой, ваше сиятельство, начал атаку, если можно так выразиться, с тыла.

– Вот как? Вы имеете в виду...

– Его любовницу Евфросинью.

Эти щекочущие подробности, как видно, всерьёз заинтриговали вице-короля:

– Он решил подкупить её?

Секретарь не спешил с ответом.

– По всей видимости, Толстой этим не ограничился... – и, видя, что высокий патрон теряется в догадках, Вейнхарт добавил: – Русских, ваше сиятельство, нелегко понять, но, кажется, он её сильно напугал.

– Вот как? И чем же?

Секретарь явно озадачился. А вице-король с нетерпением ждал ответа, и тому пришлось пуститься в туманные, зыбкие предположения:

– Вероятно, он пригрозил забрать у неё ребёнка.

– Какого ребёнка? Разве он есть у неё?

– Ваше сиятельство, эта девица беременна, – смиренно сообщил собеседник.

– Беременна? – граф усмехнулся. – А впрочем, в этом нет ничего удивительного, – он игриво подмигнул помощнику, – значит, у царя Петра скоро появится внук или внучка!..

В кабинете воцарилась тишина. Неожиданная новость, только что прозвучавшая, требовала кое-какого осмысления. Вице-король небрежно поправил надушенный шейный платок, чуть сменил позу, переложив левую ногу на правую, и сказал глубокомысленно:

– Его величество писал мне, что у царя Петра и его нынешней супруги растёт малолетний наследник. Но он не ходит и даже не говорит...

Секретарь вздохнул и пожал плечами. Это могло означать всё что угодно – от искреннего, прямого сочувствия до полного, безграничного равнодушия.

– И наш император тем не менее полагает, что Пётр намерен передать престол своему младшему сыну... – граф пожал плечами.

– Который не ходит и не говорит?..

Высокий собеседник ответил глубоким вздохом. А секретарь, вопреки всему, позволил себе усомниться в происходящем:

– Но позвольте, ваше сиятельство, почему же тогда русский царь так бьётся и негодует по поводу бегства Алексея? Если он намерен передать престол младшему, то зачем же ему старший сын?

Произнося последние слова, Вейнхарт, к своему ужасу, понял, что перегнул палку. Никак не следовало задавать этот каверзный вопрос вельможному хозяину. Ответа на него вице-король наверняка не знал.

– И Толстой, к сожалению, этого не знает, – ловко вывернулся секретарь, дабы на лице патрона не появилось недовольной гримасы.

– Но всё-таки каков результат? К чему нам следует готовиться? – не моргнув глазом, настойчиво осведомился Даун.

– По всей вероятности, ваше сиятельство, – мигом откликнулся Вейнхарт, – наложница готова слушаться Толстого во всём.

– Это хорошо. Лишь бы всё это не затянулось надолго. Император не намерен ждать, – граф взглянул в лицо собеседника. – Надеюсь, она не собирается рожать у нас?

– Нет, ваше сиятельство. Эта женщина на четвёртом или пятом месяце. Время ещё есть.

Вице-король недовольно проворчал:

– Это у неё есть время, а у нас оно на исходе!

Секретарь сделал озабоченное лицо, согласно кивнув головой. Он не рискнул признаться патрону, что получил от Толстого взятку и сам, наедине, говорил с царевичем, убеждая его вернуться в Россию. Вице-король якобы намерен лишить наследника своего покровительства и, разумеется, крыши над головой. Алексей тогда расстроился вконец, униженно умоляя Вейнхарта дать ему немного времени на размышление.

Пауза явно затянулась. Граф Даун, перебирая в уме все возможные варианты дальнейших действий в отношении злосчастного беглеца, неожиданно спросил:

– Как вы думаете, Иоганн, принц очень дорожит своей любовницей?

– О да, ваше сиятельство! – убеждённо отозвался помощник.

– Она что – какая-то невероятная красавица?

Вейнхарт снисходительно усмехнулся:

– Что вы, ваше сиятельство! Я бы так не сказал. Это рыжеволосая, коренастая, с толстыми губами простолюдинка... Словом, обыкновенная служанка. Кстати, не очень опрятная.

Вице-король недоумённо пожал плечами:

– Странно. Когда я познакомился с наследником – он произвёл на меня впечатление умного, образованного... – Даун помолчал и прибавил: – пожалуй, несколько экзальтированного молодого человека.

Секретарь привычно выжидал, не спеша высказывать собственное мнение.

– Я знал его покойную жену – Шарлотту... – граф вздохнул. – Она не была красавицей, но эта... Как её имя?

– Евфросинья, – незамедлительно ввернул собеседник.

Даун покачал головой:

– Чем она его прельстила? Ума не приложу...

В дверях появился камер-лакей:

– Ваше сиятельство, русский посланник нижайше просит принять его!

Вице-король и секретарь озадаченно переглянулись.

– Ну вот, – граф нехотя оставил кресло, – надеюсь, что этот неожиданный гость нам всё объяснит! Проси!

Лакей вышел и через минуту в просторной, богато обставленной приёмной вице-короля появился Пётр Андреевич Толстой...

Добившись аудиенции у вице-короля, Пётр Андреевич никак не рассчитывал на радушный приём. Более того, он был готов к тому, что его неожиданный визит не принесёт желаемых результатов. Поэтому, войдя в приёмные покои властителя Италии, Толстой сделал глубокий поклон и выжидательно замер, всем своим видом показывая готовность к любому повороту событий.

Граф Даун и секретарь обменялись многозначительными взглядами.

– Мы готовы вас выслушать, господин посол, – строго официально заметил вице-король, давая понять о своих серьёзных намерениях.

Пётр Андреевич искоса глянул на секретаря. Вейнхарт, бдительный и неприступный, почтительно замер в двух шагах от своего патрона, всячески демонстрируя, что между ним и русским гостем нет ничего общего. Толстой этому не удивился, хотя всего лишь день назад он доверительно, по-приятельски беседовал с секретарём и тот получил от него двести гульденов.

– Мой государь, ваше сиятельство, пребывает в крайнем недоумении, – нарочито спокойно ответил Пётр Андреевич, – какие меры ему ещё необходимо предпринять, чтобы вернуть наследника?

Вице-король заметно растерялся:

– Меры?! О чём вы, господин посол?..

Толстой продолжал разыгрывать сдержанное негодование:

– Вероятно, ваше сиятельство, вашему императору мало русской армии, готовой вступить в Богемию? – он перевёл дыхание. – Возможно, вы ждёте визита нашего монарха? Он, между прочим, находится неподалёку.

Граф и секретарь встревоженно переглянулись.

– Но позвольте, господин посол, – вице-король старался говорить вполне искренне, – наш император не возражает против возвращения принца. По моему мнению, Алексей сам не желает этого.

Возразить тут было нечего, и Толстой не стал спорить. Теперь в его положении оставался единственный выход: упросить или принудить вице-короля применить силу в отношении послушника. Только как? И граф словно подслушал его мысли.

– Ну, согласитесь, господин посол, мы же не вправе арестовать Алексея и выслать его с позором из страны? Он не совершил ничего противозаконного. Приехал к нам как обычный путешественник...

Пётр Андреевич едва сдержался, чтобы не напомнить высокому собеседнику, как царевича совсем недавно содержали в тайной тюрьме. Но посмотрел в неподвижное лицо секретаря, поймал в его глазах сочувствующие искорки и решил:

– А если вы, ваше сиятельство, попросту откажете ему в своём гостеприимстве?

Даун озадаченно умолк. Предложение «русского медведя» было заманчивым, однако графу не хотелось огласки. Громкие слухи о том, что царского наследника выдворили вон, как какого-то грязного бродягу, непременно пойдут в народ и, чего доброго, просочатся в европейские газеты...

– Нет, господин посол, на это мы не пойдём, – вице-король брезгливо поморщился, – это уж слишком.

Но, несмотря на отказ, Толстой почувствовал в тоне хозяина явное желание идти на уступки. Теперь ему следовало найти какой-то иной, более мягкий подход. И тут на помощь неожиданно пришёл секретарь.

– У принца, ваше сиятельство, – он скривился в улыбке, – тайно проживает любовница.

– Любовница? – Даун как будто услышал это впервые. – А кто она?

– Простая девка. Служанка, – вместо секретаря ответил Толстой, с трудом соображая, куда повернёт разговор.

– Ну, что же, – спокойно, со знанием дела, вице-король признал, – в этом нет ничего необычного. Кстати, у многих царствующих особ были подружки из служанок. Это просто его наложница.

Секретарь продолжал хитро улыбаться:

– Смею заметить, ваше сиятельство, что это – дама его сердца. Он будто бы намерен на ней жениться...

И пока продолжалась эта на первый взгляд пустая и никчёмная светская болтовня, Пётр Андреевич пытался понять, зачем пронырливый секретарь её затеял? И, наконец, уразумел.

– От Алексея она беременна, – разом вклинился он в пустопорожний разговор, – и наследник намерен на ней жениться.

– Да неужели?! – громкий возглас вице-короля прозвучал настолько открыто и нелिцемерно, что даже секретарь поразился этому. Как будто бы час назад о преступной связи Алексея и его намерении заключить брак с наложницей не было и речи!

Пётр Андреевич тяжело вздохнул и озабоченно нахмурился. Граф выжидательно взглянул на секретаря, а тот прозрачно намекнул:

– Вероятно, принц был лишён отцовской и материнской любви. И его первый брак, по слухам, оказался несчастлив. Зато теперь...

В силу своего положения Толстой не мог, вернее, не имел права пускаться во всякие чувственные суждения, касающиеся царственных особ. Однако намёк лукавого секретаря он оценил вполне.

– У нас говорят: любовь зла – полюбишь и козла! – Пётр Андреевич сокрушённо развёл руками.

Но его собеседники, почти буквально, всё приняли к сведению.

– Козла?! – удивился вице-король, – О чём вы, господин посол?.. Надеюсь, вы не имеете в виду скотоложника?..

– Нет-нет! Боже упаси! – Толстой поискал слова. – Русские так говорят о пустом, ничтожном человеке.

– Этот человек, – подсказал Вейнхарт, – та женщина? Несчастливая наложница?

– Именно. Но для наследника она – дороже самой жизни! – Толстой безнадежно махнул рукой.

Собеседники понимающе переглянулись. Пётр Андреевич успел перехватить чужие взгляды и кое-что сообразить. Выждав необходимую паузу, он глубокомысленно заметил:

– Вот ежели бы так случилось, что эту злокозненную девку от наследника довелось убрать подальше...



– Убрать – и что тогда? – подхватил хозяин.  
– Тогда Алексея можно было бы в бараний рог скрутить.  
– В бараний рог?! – вице-король усмехнулся. – Вас трудно понять, господин посол. То вы говорите о козле, теперь вспоминаете барана...

Секретарь Вейнхарт тоже осторожно улыбнулся:

– Наш гость, по всей видимости, твёрдо убеждён, что любовницу принца можно использовать в качестве приманки.

Толстой согласно кивнул.

– Или той самой верёвки, на которой ведут строптивых животных. И баранов в том числе... – на последних словах секретарь значительно умолк.

И все присутствующие, не сговариваясь, поняли, что окончательное решение теперь зависит от вице-короля. Он медленно приблизился к огромному окну, безотчётно оглядел просторный, ухоженный двор, словно желая найти там искомый, нужный ответ. Толстой и Вейнхарт выжидательно переглянулись. Во взгляде секретаря Пётр Андреевич сумел прочесть, что тот всецело на его стороне.

– Если царевичу пригрозить, что его любовницу отнимут, – негромко, в качестве невольной подсказки, предложил Толстой, догадываясь, что вице-королю никак не хочется брать ответственность на себя, – тогда Алексей выполнит всё...

– А кто будет осуществлять эти угрозы? – граф произнёс это, не поворачивая головы.

И не успел Пётр Андреевич открыть рта, как прыткий секретарь, не колеблясь, заверил:

– Если ваше сиятельство позволит – я готов говорить с принцем.

– От моего имени?

– Как вам будет угодно.

В пышной приёмной воцарилась долгая, сосредоточенная тишина...

1717 год, последние три месяца которого государь провёл в своём любимом «парадизе», мало чем отличался от предыдущих. Слава богу, что в нём не случилось никаких переломных, потрясающих событий, способных круто изменить ход европейской истории. Пожалуй, только для Петра, в связи с побегом наследника, год этот имел судьбоносное значение. Поэтому он с нетерпением и тревогой ждал любых известий, присылаемых Толстым.

И в присутствии Александра Даниловича Меншикова и Гаврилы Ивановича Головкина Пётр горячо обсуждал их.

– Толстой пишет, что с помощью вице-короля ему удалось-таки пристращать Алексея, – царь расхаживал по кабинету, стуча подошвами разношенных башмаков. – Надо думать, тот уже выбирается, с божьей помощью, из Италии.

– А Толстой что? – полюбопытствовал Меншиков, ценя подробности.

– И Толстой едет вместе с ним. А деву-чухонку он отправил другой дорогой, под охраной наших верных людей.

Головкин, не отличавшийся быстрым, въедливым умом, простодушно спросил:

– Как ему удалось склонить на свою сторону самого вице-короля?

– Кому? Толстому? – Пётр остановился посередине комнаты.

– Должно быть, он пригрозил австрийцам, что армия наша вот-вот границу перейдёт! – догадался сообразительный Меншиков.

Царь подумал и ответил:



– Армия армией, однако же сынок мой зело строптивым оказался, и бедняге Толстому пришлось любые средства в ход пущать, – он лукаво сощурился. – Чухонка-то шибко важной приманкой явилась.

– Эта девка? Но как?! – не понял канцлер.

Светлейший князь ухмыльнулся:

– А ты, Гаврила Иванович, неужто не знаешь, что слаще бабы токмо один мёд слывёт? – он игриво подмигнул государю. – Хотя для кого как...

Худосочный, мрачноватый Головкин пожал угловатыми плечами. Пётр сокрушённо вздохнул:

– Кто бы мог подумать, что ради этой дворовой девки он готов на любое преступление пойти?! Это мой-то Алёшка!.. Тихоня заклятый...

В кабинете повисло молчание, и царь вновь заходил из угла в угол. Канцлер с князем переглянулись. Историю сбежавшего наследника каждый переживал и обдумывал по-своему. Головкин прикидывал в уме возможные последствия грядущих событий и своё участие в них. А Меншиков трезво просчитывал количество голов, должных слететь с повинных плеч, если царевич вскоре возвратится домой. Голова самого князя наверняка останется на месте.

– Кикина арестовали? – словно прочитав его тайные мысли, сурово осведомился царь.

– Ещё месяц назад, Пётр Алексеич. Также ростовского епископа Досифея, генерал-майора Глебова и князя Вяземского в оборот взяли, – немедленно ответил Меншиков, назвав всех ближайших сообщников строптивного наследника.

– А что с Авдотьей? – хмуро кивнул Пётр, вспомнив о своей бывшей жене Евдокии.

– Её наконец-таки постригут и отправят в Ладугу, в монастырь тамошний, – подкакнул князь Головкин, дабы доказать своё рвение и осведомлённость.

– Авдотья-то любовник – майор Глебов? – зрачки у царя сузились.

– Точно так, мин герц, – ухмыльнулся Меншиков.

Государь резко остановился, в упор глядя круглыми карими глазами на своих ближайших помощников:

– Мы с вами и не заметили, как за спинами нашими гнездо осиное буйно развелось! – он зло махнул рукой. – Сколь добра ни делай, сколь голов ни руби, сколь крамолу ни души – она, как плесень, из всех углов прёт! Хрен удержишь!

Канцлер и светлейший князь виновато потупились. Они готовы были признать, что и сами являлись пособниками той самой «крамолы», имея в виду своё тесное общение с наследником. Ведь каждый помнил и знал, что последующим правителем России, после кончины Петра, станет Алексей. А кому по доброй воле захочется портить отношения с будущим самодержцем?

Но государь беспокоился о другом:

– Пока мы со шведами насмерть воевали, да Россию-матушку в Европу на аркане выводили, науку да просвещение в народе укореняли, вороги наши бородастые тоже не дремали! – царь погрозил кулаком своим закоренелым, невидимым противникам. – Они свои шупальца да жала всюду запустили! Искали, где над нами верх взять...

Собеседники не возражали. Оба понимали, что царь говорит правду. Общее недовольство его личностью и действиями копилось не только в простом народе, но и среди высшей чиновничьей и родовитой знати.

Никому не давая даже малейшей поблажки, заставляя всякого отважно воевать, постигать и внедрять новое, беззаветно служить и ревностно трудиться, он добивался этого на пределе сил и возможностей. А людям хотелось мира и покоя...

– Но ничего, – Пётр мстительно сжал скулы, – крамолу мы с корнем вырвем! Иначе – либо мы её, либо она нас! А коли она верх возьмёт – не видать России светлых дней! Уж поверьте мне!

Меншиков и Головкин, не сговариваясь, оба вспомнили грозный и кровавый 1698 год, когда был подавлен знаменитый стрелецкий бунт и летели буйные головы грозных мятежников. Светлейший исподтишка взглянул на свои руки, которые напрочь снесли два десятка стрелецких голов. Теперь он едва ли бы отважился на подобную удаль...

Весь долгий и нелёгкий путь от Неаполя до границ России Пётр Андреевич старался заранее прикинуть основательно. Ведь не только непогода и тяготы дорожные могли стать коварными, неодолимыми препятствиями, но и всякие неожиданные сюрпризы. К примеру, внезапная болезнь, нападение грабителей или военные действия в самых неподходящих местах.

Царевич Алексей, окончательно сломленный хитроумными приёмами Толстого, уже не сопротивлялся и был готов покорно следовать за ним. Единственное, что беспокоило несчастного наследника – судьба его дорогой Евфросиньи. Время от времени он приставал с расспросами к своему неумолимому надзирателю: какой дорогой она поедет? Уже выехала или нет? Удобен ли экипаж? Не растрясёт ли её, бедную? Ведь она тяжела, то есть беременна...

Толстой, искоса поглядывая на царевича, ядовито размышлял: «Горе, горюшко ты луковое! Рассказать бы тебе, незадачливому, что поведала мне твоя зазноба! Как она тебя кляла и поносила!.. Ни одного доброго, ласкового слова... Одни укоризны и беды злобно призывала на твою бесталанную головушку!»

И всё-таки старик сдержался. Но не затем, чтобы пощадить Алексея, не желая окончательно добить его, а всего лишь оставляя наследнику слабую, крохотную надежду. Пусть, мол, несчастный слепец тешит себя шальной мыслью, что, вернувшись на родину, он тут же женится на своей разлюбезной. Толстой всерьёз уверял царевича, будто бы Пётр поклялся устроить ему свадьбу. Как ни странно, Алексей этому верил...

Из Неаполя наследник в сопровождении Толстого и Румянцева выехал в середине октября. Вице-король выделил им дорожные экипажи и хотел снарядить целый эскорт офицеров для сопровождения. Пётр Андреевич за кареты поблагодарил, но от эскорта решительно отказался, заявив, что обойдётся своими силами.

На самом деле он боялся какого-либо подвоха со стороны чужого охранения. Вдруг офицеры получили подробные инструкции от вице-короля и при первой возможности арестуют их? Или Алексей неожиданно запросит о помощи?..

При его неустойчивом, мятущемся характере надеяться на гладкое, беззаботное путешествие, увы, никак не представлялось возможным. И недужный, страдающий многими болезнями, семидесятитрёхлетний старик был вынужден сжать в единый кулак ум, волю и энергию, чтобы ни на минуту не упускать из виду своего подопечного. В глубине души он называл его «зверем»...

Именуя так царевича, Пётр Андреевич вовсе не считал того лютым хищником. Скорее всего, лишь определяя при нём свою роль. Ведь и в самом деле – он обложил наследника со всех сторон, как медведя в берлоге.

Без особых приключений они минули Рим, Флоренцию, Болонью, Падую, Венецию... Толстой охотно вспоминал, как два десятка лет назад он уже посещал все эти города. Алексей, сидя в карете напротив, с интересом слушал старика. Сам он, к сожалению, вихрем проскочил все славные места, убегая из австрийской крепости и спасаясь от агентов отца. А Толстой рассказывал всё обстоятельно, красочно и подробно.

Сильнее всего его поразила сказочная Венеция. Уроженцу холодной, равнинной страны было удивительно наблюдать, как вместо улиц и переулков город разделяет великое множество каналов, через которые перекинуты удобные, ажурные мосты. Под ними скользят лёгкие, изящные, с обоюдозагнутым носом и кормой ладьи, именуемые «гондолами». А в них сидят пышно одетые господа и дамы, звучит улаждающая слух мелодия лютни...

Пётр Андреевич побывал в Венеции летом и мог увидеть и узнать массу интересных вещей. Кроме великолепных дворцов, каналов и мостов дотошный москвит близко познакомился с тамошними жителями. И многое почерпнул из чужих обычаев и нравов.

– Подле самого моря, – неспешно рассказывал он, – стоит собор белокаменный святого Марка, весь искусно изукрашенный, и большая площадь перед ним. А на той площади жители затевают «машкарады», – Толстой приложил ладони к лицу, давая понять, что на нём – маска.

Но царевич был довольно образован и знал, что это такое.

– В Голландии и Австрии машкарады тоже часто затевают, – охотно поддакнул Алексей.

Толстой хитровато усмехнулся:

– Затевают-то они затевают, только непотребств таких, поди-ка, не творят!.. Ведут себя весьма пристойно, как добрым людям следует.

– Каких непотребств?

Старик укоризненно покачал головой:

– Бабы ихние, венецианки – молодые девки и постарше, надевают эти «машкеры», гуляют в них по всей площади, берут за руки иноземцев приезжих и забавляются с ними безо всякого стыда!.. – он говорил всё это отнюдь не ради пустой болтовни, а стараясь отвлечь наследника от беспрестанных мыслей о Евфросинье...

Алексей с дороги писал своей разлюбезной проникновенные письма: «Афросиньюшка, дорогою себя береги, поезжай не спеша, ведь в Тирольских горах дорога камениста. А где хочешь – отдыхай, по скольку дней захочешь. Не следи за расходом денежным, пускай много издержишь, но мне твоё здоровье дороже».

Незадачливый наследник, кстати, так и не узнал, что его зазноба, следовавшая по тому же пути в Россию, но месяц спустя, прожила в Венеции несколько счастливых дней. Город ей очень понравился. Она не только осмотрела его каналы и дворцы, но также посетила торговые ряды, где купила тринадцатый локтей парчи, золотой крест и серьги, кольцо с рубином и побывала на концерте. Однако пожалела, что не увидела знаменитые «машкарады» ...

Алексей слушал молча, изредка поглядывая в окно. Моросил мелкий, заунывный дождь, которому, казалось, не будет конца. Дорога

раскисла, лошади трусили усталой рысью, прядая мокрыми ушами и потряхивая набрякшей гривой. По всему было заметно, что им до жути опостылело влачить размокший, потяжелевший экипаж и даже жить на этом свете.

Возница, жалко скрючившись на облучке, плотно закутался в какое-то подобие башлыка, соединённого с накидкой, укрывшей его целиком. И вожжи в красных от холода руках время от времени похлопывали по крупам лошадей, и брызги летели во все стороны...

— А вот в Неаполе, — продолжал рассуждать Толстой, — блудный грех осуждают весьма и говорить о нём даже стыдятся, не токмо что делать...

Царевич покорно кивал головой, однако думал уже о своём. Примирившись с бесславным возвращением на родину, Алексей в душе готовился к самому худшему. Давая устную и письменную клятву в том, что он окончательно отрекается от престола и станет жить жизнью обычного, простого человека, наследник опасался одного: его суровый, непреклонный родитель заставит непутёвого сына постричься в монахи. И тогда прощай всё — и женитьба на Евфросинье, и тихие семейные радости!..

Будучи неглупым человеком, Алексей понимал отца. Вся российская жизнь была устроена так, что в ней не было места для рядового, ни в какие разряды не вписанного человека. Более того, если ты рождён князем, дворянином, купцом, крестьянином либо слугой — то судьба твоя уже предрешена. Ты поневоле станешь тем, кем был твой родитель.

Алексей родился царским сыном, как и его отец. Но кроме случая рождения у Петра была натура властелина. Он не мог стать никем, кроме творца и преобразователя земли русской. И был готов положить на это все силы и самоё жизнь!..

А вот Алексей оказался случайной обмолвкой. Он это тоже понимал. Зато чётко знал и помнил, что вблизи него и дальше — в самых глубинах простого, чёрного люда — сотни, а может, многие тысячи страждущих, обездоленных, мятущихся душ помнят о нём и ждут своего избавителя. Как будто он сможет сотворить это, заняв место всеильного отца...

— Вот женский народ в Риме, — гнул своё Толстой, — больно стыдлив, блудный грех смертным грехом считает, великим позором и страхом к нему живёт. Тем и славен...

Капитан Румянцев, уткнувшись головой в угол кареты, мирно дремал под стариковскую болтовню. Мерно трусили лошади. Кучер, сиротливо нахохлившись, зорко высматривал ближайшую станцию. А до столицы Австрии, славной Вены, было более семисот вёрст. Там находился сам император, с которым Алексей пожелал увидеться.

И глядя на то, что наследник вёл себя на редкость смиренно и покорно, Пётр Андреевич немного расслабился и тоже задремал. Но готов был мигом пробудиться от любого случайного, постороннего шума...

Пётр приехал в Москву под новый, 1718 год. Никаких торжеств и праздничных пиршеств на сей раз не затевалось. Государь, не отдыхая, сразу принялся за дело. Посетил несколько фабрик — полотняных, бумажных, суконных и кожевенных. Его прежде всего интересовали те, где ткалась парусина для судов.

Хотя был выпущен манифест о начале мирных переговоров со шведами, однако морской флот – любимое детище царя – всё рос и креп. Не только военным, но и торговым кораблям требовались доброе парусное вооружение.

На казённой фабрике в Москве трудились больше тысячи рабочих. К приезду государя всё-таки подготовились: убрали лишний хлам и приодели ткачей. Особых помещений, именуемых цехами, тогда не строили. Петра препроводили в огромную избу с множеством окон, в которой стояли высокие и длинные сбитые из дерева ткацкие станы, так называемые кросны. Внутри каждого находилась большая рама, а на ней протянулись, одна рядом с другой, великое множество льняных нитей.

Ткачи находились тут же, с челноками в проворных руках. На челноке была густо намотана та же нить, и ею следовало перевить нити продольные, накрепко уплотнив всё специальным прижимом. Труд был монотонным, изнурительным и нескончаемым. Чтобы выткать три аршина холста, следовало просидеть за станком несколько дней.

Государь, остановившись возле молодого ткача, несколько минут следил, как тот старательно и неуклюже протаскивает челнок между льняной основы, будто громоздкая посуда отчаянно ныряет в сонную, гладкую реку и потом с трудом выныривает на поверхность...

– Как тебя кличут, парень? – по-отечески ласково обратился к нему государь.

– Петрухой, царь-батюшка... – смущённо отозвался тот.

Царская свита игриво переглянулась.

– Тёзки мы, значит, – государь сделал знак рукой. – А ну-ка, Петруха, освободи царю место, – он снял тёплый кафтан на меху и сунул его в услужливо протянутые руки управляющего.

Малый суетливо вскочил с громоздкого табурета, едва не опрокинув его, управляющий мгновенно обмахнул сиденье платком, а Пётр привычно опустил на освободившееся место. Взял у работника челнок и с завидной ловкостью стал орудовать им. Челнок как живой летал в царских руках.

– Легче надо с ним управляться, – наставлял он парня, – тут не сила нужна, а проворство да верный глаз. И ещё надобно терпение... – под мозолистыми, но гибкими пальцами царя полотно выходило на удивление ровным и гладким.

Управляющий и чиновники из свиты восхищённо качали головами. И в самом деле, здесь стоило чему восторгаться. Не одна только лесья принуждала всех умилённо вздыхать и улыбаться.

– Работников надобно учить как следует, – Пётр, решительно прервав наглядный урок, быстро встал. – Держи, тёзка, – он сунул челнок парню, – как тебя кормят?

– Ничего. Не жалуюсь, царь-батюшка, – покорно ответил тот.

Управляющий мигом подхватил:

– Муку, крупу, соль и солдатский паёк они получают, Пётр Алексеич, сполна.

– Добро, – Пётр надел кафтан, угодливо поданный управляющим, и поморщился. – Ты чем сапоги-то мажешь?

– Дёгтем, Пётр Алексеич, – быстро ответил тот.

Государь сердито нахмурился:

– Указы мои вы читаете? Вижу, что нет.

Чиновники встревоженно переглянулись.



– Я три года назад писал, – царь возвысил голос, – кожа, которую употребляют на обувь, весьма плоха, ибо делается с дёгтем, – он показал на сапоги управляющего, – и от воды, как каша, расплзается.

Половина чиновников с опаской взглянула на свои ноги.

– Надо делать её с ворваньим жиром, для чего я пригласил мастеров из Ревеля, вам на пользу, а себе, грешный, видать, на мороку! – Пётр стремительно направился к выходу.

Свита кинулась за ним. Царский гнев их напугал, но большинство помнило, что государь, слава богу, отходчив и долго зла не держит. А Петру частенько хотелось примерно наказать ослушников, если бы их не было так много! Казалось бы, та же кожа – если сапоги шить из той, какую делают у себя немцы, – она дольше носится и воды не пропускает. Три года царь указами и действенными мерами заставлял кожевников работать по-новому – и тщетно!

А военная амуниция? Разве светлейший князь Меншиков гнилое сукно не поставлял? И это в то время, когда ещё не виделось конца войне со шведами...

Но, посетив ещё несколько фабрик, Пётр распорядился: тех, кто не выполняет его указы, подвергнуть конфискации имущества и сослать на галеры. А для строительства Петербурга набрать плотников, столяров, каменщиков, кузнецов и чернорабочих в достаточном количестве.

Между тем в народе продолжалось глухое, недовольное брожение. Простой люд не понимал и не принимал все новшества и помыслы царя. Зачем и почему он без конца усложняет и без того нелёгкую жизнь? Старики вспоминали его отца – Алексея Михайловича. Вот был государь всем на утешение! При нём всякий мог найти себе укромное место, чтобы его лишний раз не шпыняли и не тревожили.

А этот «кукуйский» выкормыш никому не даёт покоя и спуску! Любого норовит куда-нибудь пристроить – в кузню, в шахту или на галеры. Даже жалких нищих – людей, питающихся подаянием, живущих светлым Христовым именем, – называет «тунеядцами» и велит им заниматься полезным делом.

При Тишайшем вся нищая братия была весьма уважаема и пользовалась всеобщим покровительством. Теперь они вынуждены от всех скрываться, а в новой столице – Петербурге – человека, просившего милостыню, надлежит немедленно арестовать, допросить – откуда он и как давно побирается. Потом его щедро наказывают батогами и выдворяют на родину. При повторной поимке бьют кнутом на площади и отправляют на галеры. Женщин-нищенок посылают на суконную фабрику, а детей отдают учиться ремеслу.

А ежели бродяга оказывается крепостным какого-либо помещика, то по расследовании помещик платит за каждого довольно большой штраф. Это тоже не радует никого – ни виновника, ни его владельца. И все эти жёсткие меры, конечно же, не прибавляют Петру любви и уважения.

Теплилась слабая надежда, что вот умрёт, сгинет или погибнет от чьей-то руки ненавистный самодержец – и с облегчением вздохнёт вся Россия!..

Но Пётр, несмотря на всеобщую нелюбовь и озлобление, не окружал себя стеной телохранителей, не скрывался и не прятался, а всюду ездил и ходил, часто с двумя-тремя помощниками и был открыт для любого человека. Мог запросто прийти в гости к плотнику или боцману, выпить с ним чарку водки и закусить пирогом с морковью.



Более терпеливые и проницательные ждали одного-единственного часа – наконец-таки надорвётся неужённый властелин и на смену ему придёт кроткий, милостивый, желанный избавитель – царевич Алексей. И с ним возвратится в усталую, загнанную страну мир и покой...

Ожидая возвращения наследника, Пётр не забывал и не оставлял важных государственных дел. Первопрестольная – город, принесший царю столько бед и злоключений, – жила скрытой, потаённой жизнью. Как и прежде, в его храмах и монастырях кучковались ревнители косной старины, «большие бороды», люто ненавидевшие царя-святотатца. И возлагавшие все надежды на благочестивого царевича, должного, по их несокрушимому убеждению, отменить все несправедливые, богомерзкие указы отца. Московский люд с опасением и тревогой следил за тайной борьбой в коридорах власти.

Слухи о бегстве Алексея за границу, потом о его насильственном или добровольном возвращении какими-то неведомыми путями проникали в народ. Пётр об этом знал и старался кое-что упредить. Там же, в Москве, он издал несколько указов, и среди них – указ о доношительстве. В нём было три главных пункта: об умысле на здоровье государя, об измене и бунте, о хищениях казны.

По первым двум осведомителям надлежало явиться ко дворцу Его Величества и лично передать донос. А по третьему – в Приказ тайных дел. Виновных в умысле на жизнь царя наказывали безжалостно: рвали ноздри и ссылали на галеры, так же поступали и с зачинщиками бунта. Государь не столько беспокоился о своей жизни и здоровье, сколько о судьбе России. Он был почти уверен, что с его внезапной кончиной придёт крах всем его неимоверным трудам и свершениям.

Фигура злосчастного Алексея, ставшего по воле судьбы главным мотыльщиком отцовских реформ, неотступно, упорно маячила перед его мысленным взором. Петру доносили: чем ближе к русским границам движется карета с наследником, тем шумней и восторженней принимают её простые люди. Часто разносятся клики: «Слава царевичу! Благослови, Боже, будущего государя нашего!»

Понятно, что эти дикие восторги и благостные ожидания радости у Петра не вызывали. Однако же он не ударился в панику и готовился противостоять всему. Ближайшие его помощники: Меншиков, Головкин, Шафиров и Шереметев, съехавшись к государю в Кремль, держали совет. Пётр, совсем не жаловавший Москву своей любовью, всё-таки наиболее важные, судьбоносные решения предпочитал принимать в старой столице. Возможно, идя на уступки самым дремучим ретроgrадам.

А ведь главный символ Москвы – старый Кремль, средоточие всех его святынь, мощи и великолепия, – выглядел не лучшим образом. После пожара в июне 1701 года в нём сгорел Теремный дворец, Оружейная палата, царицыны палаты, многие церкви, даже Успенский собор был повреждён огнём...

И с тех пор, особенно с началом нескончаемой Северной войны, в нём не производилось никаких восстановительных работ, денег на это попросту не было. Во всех кремлёвских дворцах царило запустение, и Верхняя палата, в которой расположился государь вместе с сановниками, имела весьма обветшалый вид.

Старый фельдмаршал Шереметев, бывавший здесь ещё во времена покойного царя Фёдора Алексеевича, с грустью оглядывал обшарпанные

стены, когда-то обитые посеребрённой кожей, а ныне вытертые до дыр, широкие скамьи, некогда затянутые разноцветным бархатом, а теперь ободранные целиком. Высокое, дорогое кресло в углу под образами, украшенное искусной резьбой и позолотой, на котором обычно восседал хозяин, даже оно треснуло и облупилось...

Но государю, как видно, не было никакого дела до этой вопиющей разрухи и обнищания. Он по обыкновению ходил из угла в угол, зорко поглядывая на своих помощников, не уставая их вразумлять:

– Сие уж кому-кому, а вам всем давно ведомо – мой никудышный наследник к делам государства непригоден. – Пётр на секунду замер, потом резко махнул рукой. – Терпеть его далее я не намерен, особенно после того, что он, негодник, сотворил!

Вельможи молчали. Случайно или намеренно так получилось, но вся эта четвёрка состояла из людей, разных по происхождению и влиянию. Шереметев и Головкин имели солидную родословную и могли на равных соперничать со старой знатью бывшей столицы, а Меншиков и Шафиров, напротив, выбились из самых низов, особенно светлейший князь. Вопреки всем заслугам и титулам, их положение едва ли можно было считать незыблемым. А в случае какого-либо возврата к прежним, старомосковским временам участь обоих станет точно прискорбной...

Головкин осторожно заметил:

– Но будем надеяться, Пётр Алексеич, что с божьей помощью Алексей Петрович всё-таки остепенится, – он истово осенил себя крестом.

Государь придирчиво оглядел своих помощников. На тучном лице Шереметева застыла благостная, милосердная улыбка. Фельдмаршал явно поддерживал канцлера. Светлейший прятал под густыми бровями пронзительные голубые глаза, занимая выжидательную позицию. И только юркий, толстенький Шафиров не мог скрыть очевидный протест:

– Как в народе-то, Гаврила Иваныч, говорят – на Бога надейся, а сам не плошай! – он искоса взглянул на своего начальника и повернулся к царю. – Надо бы, Пётр Алексеич, главной опоры его лишить, дабы он, чего доброго, в голову себе мыслей лишних не забрал.

Сколь туманна ни была фраза, все присутствующие догадались, о чём идёт речь. Подканцлер имел в виду привычное окружение Алексея. Люди, плотно опекающие наследника, наверняка ведь добровольно не сдадутся и будут искать малейший повод, чтобы затеять смуту в стране. Слава богу, что давным-давно почил царевна Софья, но затаились её верные приспешники, и с годами только умножаются их мятежные ряды...

– Наследства я его лишу, – твёрдо заявил Пётр, – а далее что? Упечь его в монастырь? А в который? Ну-ка, подскажите.

– Да как он, мин херц, жениться вскоре намерен, – вступил в разговор Меншиков. – А коли станет монахом – прощай тогда его чухонка!

Шереметев рискнул взять царевича под защиту:

– И пуцай себе женится! Глядишь, в заботах семейных с головой увязнет! Не до праздномыслия ему станет.

Государь понимал, что помощники не могли разделять целиком все его неустанные думы о будущем России. Каждый относился к ним по-своему. Осторожный, осмотнительный канцлер Головкин так глубоко задумываться вовсе не привык и не хотел. Старый боевой товарищ царя Шереметев по доброте душевной видел всё в розовых тонах. Бывший

денщик, а ныне второй человек в государстве Меншиков искал во всём личную выгоду и был готов к любому повороту событий. И лишь маленький, толстенький Шафиров говорил о будущем нелицеприятно и прямо.

– Что скажешь, Пётр Павлович, – обратился к нему царь, – следует мне постричь наследника в иноки? Не переусердствую ли я?

Тот ответил без колебаний:

– Это смотря по обстоятельствам, Пётр Алексеич.

Три других сановника разом подумали, что хитрый подканцлер ловко вывернулся. И только царь так не считал:

– А ежели все обстоятельства выйдут боком? Что тогда?

– Тогда следует, – чётко ответил маленький человек.

Пётр перестал вышагивать по комнате, грузно опустившись в старое кресло. Когда-то, восемнадцать лет назад, ему казалось, что, затеяв войну со шведами, он переживал главные, судьбоносные минуты своей жизни. А потом была славная Полтавская битва и те же судьбоносные мгновения...

Затем последовал провальный Прутский поход, турецкое окружение, возможный плен и неминуемый крах всего достигнутого. Но, слава богу, всё обошлось. А что теперь?.. Неужто его вновь упрямо настигли едва переносимые, жестокие удары судьбы...

Так что же ныне? Ведь он не хотел горькой доли своему нелюбимому сыну. Будь Алексей покрепче характером, стань наследник прямым, яростным, непримиримым противником отца – Пётр наверняка уважал бы его. Как уважал своего врага – Карла XII.

Но сын вырос лживым, увёртливым и бесхребетным. Охотно поддадал под чужое, тлетворное влияние и становился жалкой игрушкой в ловких, своекорыстных руках. Многие из окружения государя то ли не видели, то ли не хотели этого видеть.

А Пётр смертельно опасался одного: когда-нибудь его злосчастный первенец делается послушным орудием и кровавым знаменем буйного, жестокого, безрассудного мятежа. Как беглый инок Гришка Отрепьев, ставший главою польских захватчиков. И полетят в бездну, в тартарары все тяжкие, неусыпные труды, ведущие к славе и благу Отечества!..

Сановники дружно молчали. Каждый из них, в пределах своего ума и воображения, пытался нарисовать себе, о чём думает царь. Меншиков, ближе и лучше всех знавший Петра, готов был поклясться, что государь уже принял решение и бедному наследнику ничего хорошего не светит...

В передней послышались быстрые шаги. Все насторожились. Денщик царя Полубояринов вырос на пороге:

– Государь, Алексея Петровича привезли!

Пётр быстро встал, и разом поднялись всё высшие сановники...

Только возвращением и наказанием бежавшего наследника государь решил не ограничиваться, а поставил себе целью найти и вырвать с корнем все тайные ростки крамолы. Для чего была создана Тайная розыскных дел канцелярия. Возглавить её царь поручил Петру Андреевичу Толстому.

А кому ещё, как не этому умному, ловкому, оборотистому человеку заниматься поиском и уничтожением явных и скрытых врагов? Пётр Андреевич принялся за дело с толком и размахом.

Первой его жертвой стал, разумеется, Алексей. На первый взгляд с провинившимся царевичем всё было понятно, но лишь на первый взгляд. Будь на месте Толстого не в меру ретивый и угодливый исполнитель, он бы, ничтоже сумняшеся, подверг виновника жесточайшему допросу и скоренько подвёл бы его под суровое наказание.

Но зная своенравную, неукротимую натуру царя, Пётр Андреевич не торопился. Он не только занимался расследованием, но и внимательно наблюдал за настроением государя, стараясь ничего не упустить из виду. А Пётр вёл себя по-разному. Встретившись с послушником-сыном в Кремле, он поначалу вознамерился простить его. И опять же Толстой настоятельно советовал Алексею пасть перед отцом ниц и умолять о прощении...

Войдя в палату, где находился государь и его ближайшие сановники, царевич, без шпаги и парика, в помятом кафтане и нечищенных сапогах, опустился перед ним на колени, дрожащим, срывающимся голосом умоляя простить его.

Картина получилась поистине библейская. Пётр, любя некоторую театральность, торжественно приблизился к блудному сыну, наклонился и поцеловал его в опущенную, повинную голову. Шереметев и Голловкин прослезились. Толстой и Шафиров смущённо потупились.

Один лишь Меншиков не изменился в лице. Светлейший словно предчувствовал, что этой умирительной сценой дело не ограничится. На этом библейские страсти закончились.

Стоя на коленях, Алексей протянул отцу бумагу. Это было покаянное письмо, в котором он признавал себя недостойным сыном, виновным в попытке измены отечеству и не должным быть наследником престола. Пётр бумагу принял, помог царевичу подняться и, в свой черёд, объяснил ему, что от престола тот отрешён.

Наследник принял всё как должное, но оказалось, что чаша позора ещё не испита до самого дна. Далее полагалось подкрепить слова царя обязательной присягой и церковным уставом, ибо деяние это и мирское, и духовное. Все сановники настороженно переглянулись: в России подобное событие случалось впервые!

Конечно, наследников престола безжалостно свергали и даже убивали, многие помнили историю несчастного царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Кстати, и самого Петра, бывшего десятилетним мальчишкой, тоже когда-то низвергли с трона. Но чтобы сам наследник, будучи в здравом уме и твёрдой памяти, отказался от притязаний на царство – такого страна ещё не знала!

– Как вам будет угодно, батюшка! Я на всё согласен, – покорно ответил блудный сын.

– Добро, – голос царя прозвучал веско и удовлетворённо, – приводи себя в порядок, а вскорости мы с тобой все наши тяжбы, как должно, решим. Под присягой и в храме Божьем! – он широко перекрестился.

Алексей не поднимал головы. Пётр подал знак капитану Румянцеву, неотступно надзиравшему за наследником. Тот приблизился к Алексею и тихо шепнул ему что-то на ухо. Бедный царевич, ни на кого не глядя, неуклюже повернулся и, как журавль, мерно ступая, зашагал вслед за бравым капитаном.

Все присутствующие, включая отца, проводили его внимательными взглядами. В глазах большинства, кроме Меншикова, сквозила жалость и сочувствие. Даже государь на мгновение тоже поддался общему настрою, сокрушённо сдвинул густые каштановые брови, выразительно

сжав губы с полоской кошачьих усов. Но стоило нескладной фигуре наследника исчезнуть из виду, Пётр обернулся к Толстому и оживлённо воскликнул:

– Скажи-ка нам, Пётр Андреич, как тебе удалось императора обвести вокруг пальца и все козни его пресечь?! Лихо ж ты это проделал!..

Сановники тут же повернулись к заслуженному триумфатору. И в самом деле, этот битый, тёртый семидесятидвухлетний интриган был достоин всяческого восхищения. Любой из присутствующих, даже неуёмный, блистательный Меншиков, наверняка не смог бы состязаться с неказистым, полноватым, небольшого роста стариком. Светлейший умел добиваться всего безудержным напором, дерзостью, нахрапом, а Толстой брал противника хитростью, расчётом, измором.

– Ну, рассказывай! – настаивал царь и первый опустил в кресло, подавая пример остальным.

Сановники тоже уселись на свои места, горя желанием услышать поучительную историю. Пётр Андреевич не спеша выбрал свободный стул, прочно занял его, маленькими цепкими глазками зорко оглядел слушателей. Аудитория замерла. Рассказчик едва заметно улыбнулся и охотно начал:

– Из Венеции мы, значит, напрямиком отправились в Вену, поелику Алексей Петрович непременно того желал, а нам с Румянцевым этого пресечь никак не удалось... – он сокрушённо вздохнул. – Затеять скандала мы никак не хотели – надо было тайну сохранить... Политес соблюсти...

Слушатели без лишних объяснений поняли, что бедного наследника вывозили, по сути, контрабандой.

– И вот полтора месяца мы, как сукины дети, тряслись по мокрым, грязным дорогам, а в Вену приехали в начале декабря...

– Числа не помнишь? – перебил Пётр.

– Ну как не помнить? Я ещё из ума не выжил. Пятого декабря, поздно вечером, в канун дня святителя Николая, – Толстой проворно перекрестился, – а наутро мы отправились далее...

– А как же свидание с императором? – вклинился Меншиков, – Ведь Алексей этого хотел!

Старый интриган снисходительно усмехнулся:

– Надо думать, что мы недаром столько дней в колыхаге этой бок о бок телепались – отговорил я его!.. Мол, как в таком непотребном виде, да в захудалом экипаже, в замызганном платье, невымытым и нечёсаным, на глаза владыке европейской-то державы показаться? Ещё, мол, чего доброго, засмеют!.. Он, поразмыслив, согласился...

Слушатели понимающе улыбнулись. Однако это был ещё не конец всей занимательной истории. Уговорив наследника наотрез отказаться от встречи с главой Священной Римской империи германской нации, Пётр Андреевич навлёк на себя его монарший гнев и твёрдое желание наконец-таки пресечь дальнейший путь беглецов. В Моравии карету строго задержали по приказу тамошнего генерал-губернатора. Толстой был вынужден подчиниться. Остановившись в гостинице тихого городка Брюнна, незадачливые путешественники приуныли. А к ним прибыл посыльный и объявил, что сам губернатор приедет для встречи с царевичем.

Пётр покачал головой:

– Зело крепко вы Карлусу (он имел в виду императора Карла VI) досадили! Не ожидал он такого!



– Это точно, – согласился Толстой, – спохватился он только поздно.  
– А что сказал губернатор? – напомнил Меншиков.

Пётр Андреевич развёл руками:

– Ничего. Опять уломал я Алексея Петровича, чтобы он не принимал губернатора...

Сановники озадаченно переглянулись. Выходило так, что старый интриган всецело подчинил себе наследника.

– И вы поехали дальше? Нахальным манером?.. – подсказал Шафиров.

Рассказчик шумно вздохнул:

– Куда там! Этот чёртов губернатор пять дней нас в городе этом продержал! И добился-таки встречи с... – Толстой хотел сказать «с наследником», но вовремя спохватился и буркнул, – с Алексеем Петровичем...

А вот это, между прочим, были одни из самых ответственных и напряжённых минут. Генерал-губернатор, выполняя приказ Карла VI, поставил жёсткое условие: если он не увидится с Алексеем, то беглецы будут немедленно арестованы. Пётр Андреевич условие это принял и выдвинул своё: встреча должна состояться в присутствии его и капитана Румянцева.

Она-таки состоялась. Несчастный наследник путано и жалко старался оправдать свой проступок. Он сказал, что у него не было приличного экипажа и соответствующего наряда, а предстать перед высокой особой императора в грязном и позорном виде он не имел права. Губернатор не нашёлся с ответом. Но, вероятнее всего, ему пришло в голову единственное объяснение – чёрт их разберёт, этих русских медведей!

– А что было потом? – не отступал Меншиков.

– Потом я проводил его до двери, – спокойно ответил Толстой, – и приказал собираться в дорогу. И вот мы здесь, в Первопрестольной!

В палате воцарилась многозначительная тишина. Слушатели, не сговариваясь, подумали, что удачно провернуть такое хитрое дельце не каждому под силу. Никто из присутствующих не смог бы отважиться на подобное, разве что вице-канцлер Шафиров. Однако и он едва ли. Красноречивому, хваткому Петру Павловичу порой не хватало терпения и мешал взрывной, сварливый характер.

Государь медленно встал, пересёк комнату, молча приблизился к Толстому. И не успел Пётр Андреевич подняться, царь сдёрнул с его бесценной головы пышный парик и звонко поцеловал в обширную плешь. Сановники благодушно заулыбались.

Три дня спустя, 3 февраля 1718 года, государь решил совершить, как должно, церемонию отрешения Алексея. Значит, в будущем наследовать престол будет сын Екатерины – Пётр Петрович, трёхлетний мальчик, пока не умеющий ходить и говорить. А согласно церковному календарю этим днём начиналась неделя «о мытаре и фарисее». Последующая же седмица, по странному стечению обстоятельств, именовалась неделей «о блудном сыне».

Доброхоты царевича-беглеца – Шереметев и Головкин – предлагали государю именно в эту неделю всё и доверить. Пётр решил обсудить вопрос с Толстым.

– Оно, конечно, было бы весьма заманчиво... Блудный сын, его покаянное возвращение... – хитровато сощурился старый пройдоха, – ведь народ наш любит душеспасительные гистории! – он посерьёзней. – Только бы сие боком не вышло...



– Боком? И кому же? – озадачился царь.

– Вам, Пётр Алексеич...

Государь замолчал, обдумывая слова собеседника. А Толстой, видя, что тот теряется в догадках, негромко обронил:

– «И когда он был ещё далеко, увидел его отец и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его»...

Царь посмотрел в глаза Петру Андреевичу:

– Евангелие от Луки?

– Оно, государь.

Оба помолчали.

– Как ты сказал? Наш народ любит истории душеспасительные?... – Пётр, кажется, понял, куда клонит бывалый собеседник.

– Именно так, Пётр Алексеич! И, вестимо, все будут ждать конца благополучного, как же без него? – согласно кивнул Толстой.

– А ежели этого не случится – то меня обзовут вероотступником. Христопродавцем... Ну, и кем-то ещё... – мрачно подытожил царь.

Пётр Андреевич сокрушённо развёл руками.

– Ладно. Будем творить как задумано давеча. Пущай я буду... – царь на секунду запнулся, потом задорно подхватил, – мытарем, а мой сын никудышный – фарисеем!

Толстой скупно улыбнулся и завершил словами Евангелия:

– «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится!»

– Именно так, – согласился Пётр.

Для непосвящённого человека этот короткий разговор остался бы неразрешимой загадкой. Однако оба собеседника отлично поняли друг друга. А для людей того времени, упорно старавшихся или, по крайней мере, пытавшихся жить по библейским заповедям, пример евангельских героев был непреложен.

Известная история о мытаре и фарисее учила отличать истинного правдоискателя от изворотливого лицемера. И государь, не колеблясь, остановился на третьем числе февраля...

Весь обряд полного отрешения наследника от престола проходил в Успенском соборе Кремля. С раннего утра на тесную площадь между Архангельским и Благовещенским соборами стал собираться народ.

Москвичи не только прослышали о предстоящем событии, но накануне узнали из царского манифеста, что царевич Алексей постоянно пренебрегал обязанностями, возложенными на него отцом. Сторонился воинских и мирских дел. Наконец, позорно бежал из страны.

Терпение государя небезгранично, и тем не менее он прощает его, освобождает от наказания, но лишает наследства. Объявляет своего младшего сына наследником престола, и все подданные должны его таковым признать и целовать на этом крест. А кто по-прежнему будет ратовать за Алексея – те объявляются изменниками...

Высшее духовенство, сенаторы, сановники, крупные чиновники, богатые купцы собрались под сводами храма. Простой люд толпился на площади.

Пётр, в тёмно-зелёном мундире офицера Преображенского полка, но с солдатским галстуком на шее, возвышаясь на целую голову над окружающими, стоял вблизи высокого аналоя, на котором лежало Евангелие и рядом – исписанные листы бумаги. Митрополит, в митре и торжественном облачении, вместе со всем своим клиром находился по другую сторону.

Государь, зная настроения московского духовенства, не ждал от него молчаливого одобрения своим действиям, зато был твёрдо уверен, что никто не дерзнёт ему прекословить. Ведь вся духовная верхушка многие годы покорно, безропотно подчинялась светской власти.

Единственное, чему робко следовали церковные чины, – открыто не выражать восторга и раболепия в присутствии царя. И потому все они стояли с постными, унылыми минами, дабы все православные видели – они не одобряют поступок самодержца, но скрепя сердце подчиняются ему, ибо «нет власти не от Бога».

Сенаторы и сановники тоже особо не воодушевлялись. Многие, очень многие с превеликой радостью не явились бы сюда, если бы не важное обстоятельство – своим зримым присутствием или дерзновенным отсутствием каждый свидетельствовал свою верность или неверность царю и трону. Только жестокая болезнь или смерть могла оправдать ослушника.

За стенами храма раздался шум, негромкие выкрики: «Ведут! Ведут!» Государь и все собравшиеся насторожились. Кого ведут, они поняли разом. У Петра от сильного волнения, как обычно, затряслась голова и задёргалось лицо. Меншиков, стоявший рядом, озабоченно взглянул на него. В храме воцарилась напряжённая, гнетущая тишина...

Толпа у входа безмолвно расступилась. Алексей в сопровождении Толстого и Румянцева медленно вошёл внутрь. Вид у царевича был убитый и раздавленный. Наверно, такое мертвенное выражение лица, вкупе с телесной немощью, бывает у людей, ведомых на плаху. Как ни крепились все участники постыдной церемонии – появление её главного героя потрясло каждого.

Даже жестокосердному Меншикову сделалось не по себе. Однако он не спускал цепких глаз с государя, вероятно, опасаясь, чтобы тот вдруг не расчувствовался. Приблизившись к отцу на расстояние нескольких шагов, Алексей едва не сделал попытку упасть ему в ноги. Но царь дал знак Толстому и Румянцеву, и те вовремя подхватили наследника под руки, не давая ему разыграть душещипательную сцену. Лёгкий шумок пронёсся под сводами храма...

Пётр сурово приказал одному из секретарей:

– Читай!

Секретарь Думашев взял с аналоя исписанный лист бумаги. Это был царский манифест. Резким, бесстрастным голосом он стал излагать то, что большинство уже знало. И, как ни странно, это скучное, монотонное чтение внесло заметное успокоение в тесные ряды собравшихся. Многие пришли в себя.

Даже Алексей, едва не потерявший сознание от всего происходящего, слегка ободрился и стоял на своих ногах, не опираясь на Толстого и Румянцева. Отец выжидательно покосился на него и перестал трести головой.

Заключительные слова манифеста: «Кто по-прежнему будет ратовать за Алексея – те объявляются изменниками» – прозвучали в напряжённой, кладбищенской тишине. Окончив чтение, секретарь быстро поклонился и отступил.

Царь кивком дал знак Толстому. Пётр Андреевич шепнул что-то наследнику, подтолкнув его в худую, полусогбенную спину. Алексей на деревянных ногах приблизился к отцу и в растерянности, исподлобья, взглянул на него. Пётр кивком показал ему на аналой, где лежало Евангелие. Царевич сделал два неверных шага и замер.

К нему тут же подскочил секретарь, сунул в левую руку наследника заранее приготовленный текст. Это была присяга. Митрополит и его свита настороженно переглянулись. Пётр, заметив это, цепко воззрился в лицо секретаря. Тот мгновенно уловил повеление монарха, ухватил холодную, безжизненную правую руку Алексея, ловко возложил её на Евангелие. Священнослужители приободрились. Их миссия на этом не закончилась.

Наследник едва слышным, прерывающимся голосом стал читать присягу. Зрелище, точнее слушание, выглядело омерзительным. Мало того что половину слов, даже в мёртвой тишине храма, не было слышно, вид кающегося грешника парализовал собравшихся...

Многие, и в их числе фельдмаршал Шереметев, канцлер Головкин, сенаторы Долгоруков и Голицын, не стесняясь, роняли слёзы. Только сам государь, светлейший князь, генерал Бутурлин и Толстой стояли с каменными лицами. Митрополит и его свита не поднимали голов, словно их не касалось всё происходящее.

Наконец Алексей произнёс последние слова, в которых он признавал истинным наследником своего единокровного брата Петра Петровича. Митрополит поднёс ему распятие. Царевич приложился к нему сухими губами.

Секретарь Думашев вручил ему перо и чернила. Дрожащей рукой блудный сын подписал лист присяги. Но на этом вся процедура не закончилась. Толстой и Румянцев увели её главного виновника, а затем новоизбранному, малолетнему наследнику престола стали присягать все присутствующие и расписываться на особом листе.

По окончании важной церемонии государь отправился к себе в село Преображенское на обед, пригласив туда всех действующих лиц. И до позднего вечера все пили, ели и веселились.

Евфросинья – любовница несчастного наследника – возвратилась в Россию в апреле, когда ей приспело время рожать. Государь уже переехал в Петербург, захватив с собой отрешённого царевича. И Алексей, выполнив все пожелания отца, заметно приободрился, с нетерпением ожидая скорой встречи с возлюбленной.

На пути домой она получила письмо: «Батюшка, – писал царевич, – поступил со мной милостиво. Слава Богу, что от наследства меня отлучили! Дай Бог благополучно пожить с тобой в деревне». Но, против ожидания, его подружку сразу поместили в Петропавловскую крепость. И, войдя в её нелёгкое положение, каземат бедной наложнице выделили не слишком тёмный и холодный.

Первым на свидание с узницей пришёл Пётр Андреевич Толстой в сопровождении своего ближайшего помощника Ушакова. Этот высокий, благообразный, с гвардейской выправкой майор слыл одним из самых немилосердных палачей.

Неспешно войдя в камеру, Пётр Андреевич благодушно взглянул на подследственную и улыбнулся небольшим, похожим на кокетливый бантик, ртом:

– Ну, вот мы и свиделись опять, Афросиньюшка!

Любовница царевича онемела от страха. Она никак не думала, что её встретят с распростёртыми объятиями, но угодить с дороги прямиком в тюрьму уж точно не предполагала. А взглянув на молчаливого спутника Толстого, от внушительной фигуры которого веяло гибельным, замогильным ужасом, Евфросинья едва не упала с табурета. И ребёнок в её чреве беспокойно зашевелился...

Толстой встревожился:

– Да тебе, девонька, никак рожать пора? – Он повернулся к Ушакову. – Нешто мы не вовремя сюда явились, Андрей Иванович?

Майор, бросив на узницу короткий тяжёлый взгляд, произнёс густым, громыхающим басом:

– Вовремя. Государь проволочки не терпит.

Этот взгляд и раскатистый бас так неотразимо подействовали на заключённую, что она покорно закивала головой, и дитя в её утробе замерло.

– Тогда ответствуй, любезная, что тебе поведал Алексей Петрович? Какими тайными думами и мечтами делился? О чём грезил на досуге? – ласково осведомился проницательный старик, присаживаясь на свободный табурет.

Тут бедная узница стала охотно и без малейшей утайки рассказывать своим дознавателям всё, что слышала, знала и о чём могла догадываться. Её пространные, простосердечные, ошеломляющие признания погубили бывшего любовника безвозвратно. Она с лихвой оправдала все надежды, возлагаемые на неё...

Допросы продолжались несколько дней. Вместе с Толстым и Ушаковым в камеру приходил канцелярист, подробно ведя протоколы допроса. Со слов узницы неопровержимо следовало, что Алексей прямо-таки жаждал смерти своего родителя.

Евфросинья передавала: «Царевич непристойные речи говаривал – я старых всех переведу и изберу себе новых по своей воле. Когда буду государем, буду жить зиму в Москве, а лето в Ярославле, Петербург оставлю простым городом. Корабли держать не буду, войско стану держать только для обороны».

Толстой и Ушаков, внимательно слушая эти убийственные признания, заговорщицки переглядывались. Любовница давала им в руки такие козырные карты, с которыми можно было вести любую игру. И, без сомнения, только выигрышную...

Они знали, что Алексей после отречения ответил письменно и устно на вопросы, представленные отцом, выдав своих сообщников: Кикина, Вяземского, Игнатьева, Долгорукого и других, но себя он всё-таки выгородил. И многое утаил...

Сообщников схватили, начались допросы, пытки, вновь допросы и пытки, наконец, жестокие казни. Колесованием, отсечением головы, посадкой на кол, ссылкой... Алексей же понемногу успокоился. Гроза как будто миновала. И вдруг эти зубодробительные подробности!..

– Он желал смерти своему отцу, нашему государю? – действительно спрашивал Толстой, зная, что каждое слово сейчас имеет особую цену и вес. – И даже насильственной?..

– Желал, – отвечала наложница и продолжала: – а после смерти на царстве останется его жена, – Евфросинья пояснила, – мачеха Алексея...

Толстой и Ушаков молча кивнули. Речь зашла о Екатерине.

– И будет бабье царство, но порядка не будет, а будет смута, – любовница вошла в роль, говоря словами царевича. – Кто-то станет за меня, а кто-то за брата...

Следователи поняли, что речь идёт о наследнике трона, трёхлетнем Петре Петровиче. Обоим стало ясно: этих ошеломляющих откровений хватило бы на то, чтобы их автор сам подписал себе смертный приговор. А когда узница поведала о том, что царевич намеревался поехать в Рим и повидаться там с папой, Толстой уяснил, что пора доложить обо всём государю.

Пётр принял его в Летнем дворце, на левом берегу Невы. Захватив с собой протоколы допросов, Пётр Андреевич подробно и обстоятельно рассказал всё, что успел выведать у словоохотливой заключённой. В кабинете царя находились светлейший князь, канцлер Головкин, князь Долгоруков, вице-канцлер Шафиров, генерал Бутурлин.

Внимательно выслушав Толстого, государь, вопреки ожиданиям, не стал метать громы и молнии, негодовать и материться. Хотя кое-кто из сановников, тот же Шафиров и Бутурлин, явно хотели выпустить пар. Но Пётр ответил тяжёлым, угнетающим молчанием. Он словно одолевал какую-то гигантскую высоту или отодвигал неподъёмную преграду.

– Ну, будет, – бросил он после долгого безмолвия, – эти признания Алексей подтвердил? – царь посмотрел в лицо Толстому.

– На то вашего повеления не было, – моментально ответил тот.

– Пусть он с ними познакомится и своё слово скажет, – в голосе самодержца едва заметно прозвучали угрожающие ноты, и все знающие его поняли, что судьба старшего сына предрешена.

– А ежели он будет запирается? – спросил на всякий случай Толстой.

– Поступай с ним как с последним злодеем, – и в выпуклых глазах царя мелькнули мрачные огоньки.

Всем присутствующим стало не по себе.

По приказу Толстого Ушаков арестовал Алексея в его двухэтажном особняке на Адмиралтейской стороне. Поместив царевича в камеру Петропавловской крепости, ретивые следователи тут же учинили ему допрос.

Для начала арестанту дали прочесть показания его дражайшей возлюбленной. Толстой с помощником сидели напротив, не спуская глаз с бывшего наследника. Длинное, высоколобое, узкое лицо Алексея кривилось в мучительных гримасах. Следить за ним и делать нужные выводы не представляло ни малейшего труда. Утаить или отрицать то, что ставилось ему в особую вину, он попросту не мог и не смел. Обезоруживающие откровения любовницы выбивали у него почву из-под ног.

Ушаков даже огорчился – малодушие подследственного лишало его рвения и азарта. Но Толстой чувствовал, что им ещё придётся попотеть. Дело было не в признании вины, а в том, что несчастный царевич мечтал порушить, предать забвению все труды и подвиги отца. Этого Пётр не простил бы никому и никогда. Превратить любимый царём «парадиз» в захолустный городишко?! Уничтожить флот?! Распустить армию?!

И Петру Андреевичу сделалось страшно от мысли, какая судьба ждёт бедного арестанта. В отличие от того же Меншикова, он не испытывал к царевичу неприязненных чувств. А подлое предательство несчастной наложницы не осуждал даже в душе, понимая, что выбора у той нет. Он и сам не однажды поступал подобным же образом, принимая сторону сильнейшего.

Но, как бы то ни было, показания Евфросиньи погубили Алексея. Дальше начались истязания и пытки. Царевич окончательно запутал себя, выбалтывая такие тайны и подробности, которые, вероятно, лишь только грезились ему. Теперь сам Пётр неотступно следил за процессом и неоднократно присутствовал при страшных экзекуциях.

Допрос проходил уже в особом застенке, со всеми атрибутами, необходимыми при подобных операциях: горне, где раскалялись добела



железные крючья и клещи, дыбе, на которой подвешивали арестантов, кнуте и батогах.

Мы избавим читателя от подробных описаний того, как и почему происходили подобные мероприятия. Кстати, венценосный страдалец в них и не нуждался. Он и так выложил всё своим мучителям.

Однако нравы и порядки того времени иного не предполагали. Коль скоро Алексей попал в разряд грозных преступников и вероятных царевубийц – эту горькую, страшную чашу ему предстояло испытать до самого дна.

А его суровый, непреклонный родитель давал наглядный урок всем своим подданным – любому, посягающему на верховную власть, будь он даже кровным сыном, – пощады не будет никому!..

Царевич скончался при странных обстоятельствах. За пять дней до смерти его пытали шесть раз. И, случалось, дважды в день. При слабом здоровье и хлипком телосложении Алексея истязания были ужасающими.

А 26 июня 1718 года наступили последние мучения страдальца. В книге Петропавловской гарнизонной канцелярии записано: «В 8-м часу утра в крепость прибыли Долгоруков, Головкин, Апраксин, Мусин-Пушкин, Стрешнев, Толстой, Шафиров, Бутурлин. И учинён застенок до 11 часов. Потом разъехались. Того же числа, пополудни, в 6 часов царевич Алексей Петрович преставился». Вот так – коротко и туманно...

«Преставился» – значит умер. И не насильственной, а естественной смертью. Неважно от чего – от пыток, увечий, разрыва сердца, кровоизлияния, но умер сам. Не задушен, не задавлен, не повешен, не застрелен...

Зато гуляли слухи, что царевича то ли отравили, то ли удавили. Однако смущает другое – отрешённый наследник почему-то скончался в самый канун торжества, которое уже в десятый раз должна была праздновать Россия и которым законно гордился царь.

27 июня – годовщина Полтавской победы. И можно только гадать – старались или нет ближайшие сановники государя угодить ему и не омрачать грядущее торжество? Но почему-то именно в этот день, впервые за десятилетие, не случилось ни роскошного пира, ни грандиозного фейерверка. И всё это вопреки тому, что Пётр почти до самозабвения увлекался огненными потехами по любому подходящему и не подходящему поводу...

По городу поползли мрачные слухи. Жители знали, что царевич заключён в Петропавловской крепости и там его жестоко пытаются. Случайные свидетели будто бы слышали ужасающие крики и стоны, издаваемые несчастным. Но 27-го числа из бастионов не доносилось ни звука, а главное – туда не приезжали кареты высших сановников. И потому следовал непреложный вывод: Алексей тайно умерщвлён.

Простые обыватели, разумеется, не знали, что смертный приговор царевичу был вынесен за четыре дня до его кончины. Его подписали сенаторы, адмиралы, генералы и высшие сановники.

Священный синод, «как бабушка (слова А. Пушкина), сказал на-двое». По мнению высшего духовенства, государь волен поступить согласно Ветхому Завету – то есть предать казни ослушника-сына. Но мог и простить его, руководствуясь Новым Заветом, «ибо сердце царёво в руке Божьей». Как он решит – так и будет справедливо.



Пётр не решил «никак», переложив это на плечи своих ближайших помощников; первым среди коих был светлейший князь. И его корявая подпись стояла во главе мрачного списка...

Лично Меншиков не нуждался в устранении царевича, но как человек, наиболее близкий к Петру, он чувствовал и знал, что тот желает раз и навсегда избавиться от «теней прошлого». От ненавистной супруги, которую ему навязали в юности, и нелюбимого сына, поневоле ставшего врагом.

И, ко всему прочему, на совести Данилыча скопилось столько грехов: мздоимство, казнокрадство, подлоги, откровенный грабёж, – а потому услуга, вовремя оказанная государю, могла сыграть роль громоотвода. Ну, хотя бы на время...

А вот кому гибель наследника оказалась наиболее выгодна – это был Пётр Андреевич Толстой. Вдруг снизойди на самодержца ангел кротости и милосердия и останься Алексей в живых – жизнь и судьба Толстого наверняка круто бы изменились. Во-первых, он выманил наследника из-за границы, он вёл над ним жестокое следствие и навеки разлучил его с обожаемой любовницей...

Кстати, что случилось с ребёнком Евфросиньи – мальчиком или девочкой, – неизвестно. Ходили слухи, будто её вскоре освободили и удачно выдали замуж за какого-то гвардейского офицера, но точных свидетельств нет. А пока шло следствие, главной его фигурой предстал Толстой. Как бывший заговорщик он, конечно же, знал и находил основные пружины заговора и всех его участников...

При всей бесхарактерности и малодушии Алексея роль наследника в возможном мятеже или возмущении вполне могла стать роковой и определяющей. Пётр Андреевич прекрасно помнил, как вспыхнул бунт, когда нынешний самодержец был десятилетним мальчишкой.

Стоило Толстому пустить слух, что Нарышкины – мать и дяди Петра – извели слабоумного Ивана – последнего сына первой жены Тихайшего – Марии Милославской, – остервенелые стрельцы неудержимым валом ринулись в Кремль...

И зная, сколько людей возлагают надежды на скорейшую кончину государя, Пётр Андреевич, как никто, понимал, что за этим последует. Душа и натура русского человека устроены так притко и складно, чтобы не мешкая перейти от слов к делу. Он не станет долго ломать голову, а тут же разнесёт вдребезги всё вокруг себя...

К несчастью или к счастью, но и Пётр это отлично понимал. Не одни лишь детские впечатления, но и бунт стрельцов шестнадцать лет спустя, и восстание Булавина во время войны со шведами научили его быть всегда настороже. Благодушие и попустительство никогда к добру не приведут...

Накануне подписания смертного приговора у Толстого состоялся любопытный и примечательный разговор с государем. Они сидели в канцелярии крепости перед очередным допросом наследника.

– Сколь сыновей у тебя, Андреич? – сосредоточенно спросил царь.

– Двое, Пётр Алексеич. Иван да Пётр...

Царь подумал и уточнил:

– А который из них тебе дороже?

Толстой не стал кривить душой и признался:

– Старший. То бишь Иван.

Собеседник подпёр ладонью голову, подвигал щёткой усов и едва заметно усмехнулся:

– У пророка Авраама был любимый сын Исаак. Не старший, но законный...

– И он должен был принести его в жертву, – подхватил Толстой.

– Вот-вот, – Пётр вздохнул, – в жертву Господу... – они встретились взглядами, – А ты бы принёс своего Ивана?

Толстой помедлил и ответил:

– Пожалуй, нет... Скорей бы сам стал жертвой...

– Молодец, что правду сказал... – царь отвёл взгляд, насупился и голос его посуровел. – А когда ты противу нас стрельцов поднимал, помнишь?

Толстой сжался и похолодел.

– Тридцать шесть годов назад, верно?

Старик обеспокоенно кивнул. Он хорошо знал, что царь подвержен внезапным вспышкам ярости и гнева.

– Мне десять лет было, но я всё помню ясно, будто вчера.

– Государь... – едва слышно произнёс Толстой.

– погоди. Уймись! – махнул рукой самодержец. – Ежели бы Софья задумка удалась и всех нас прикончили... – он покачал головой. – Что стало бы?..

– Бабье царство, а порядка никакого... – собравшись с духом, пролепетал Толстой.

– То-то и оно! И сынок мой непутёвый то же самое говорит... – Пётр криво усмехнулся. – Тебе которое царство ближе?

Бедный старик ответил без промедления:

– Твоё, Пётр Алексеич. Мужичьё, стало быть...

Государь подумал и согласился:

– Тут ты, пожалуй, не лжёшь... – он вновь посмотрел в лицо собеседника. – Помнишь, кем ты был при Софье? Воеводой в захудалом городишке. Может, дослужился бы до воеводы в Архангельске либо в Новгороде, и шабаш.

Толстой согласно кивнул. Царь был прав – ближним боярином или окольничим он бы не стал никогда. Беспоместному дворянину нечего об этом и думать.

– Авраам приносил в жертву своего сына, – задумчиво продолжил Пётр, – потому что Господь обещал ему умножить семя его, дабы оно овладело городами его врагов...

– Но ангел Божий, – осторожно напомнил Толстой, – отвёл его руку и подарил ему овна для жертвы...

Царь покачал головой:

– А кто мою руку отведёт? – он помолчал и прибавил: – Ведь другой жертвы у меня нет. И мне она не надобна...

Толстой, понимая безысходность случившегося, подавленно молчал. Вероятно, обременённый заботами и сомнениями самодержец нуждался в его сочувствии, только Петру Андреевичу и сказать-то было нечего. Привезя царевича на заклание, мог ли он облегчить его участь? И для чего?.. А тут ещё убийственные откровения Евфросиньи...

Не дождавшись ответа, Пётр тяжело вздохнул и мрачно произнёс:

– Ну, пойдём-послушаем, что наш греховодник под кнутом на дыбе скажет. А мы потом подумаем.

Они оба медленно встали и направились в застенки, где умелый палач уже развёл в горне огонь, раскалил добела щипцы и разложил розги. А другие сановники, с бледными, траурными лицами, тоскливо теснились у входа...

Но вот пришёл конец изнурительной Северной войне со шведами. Королева Ульрика-Элеонора подписала мирное соглашение. В финском городе Нейштадте 30 августа 1721 года был заключён мир. Пётр, без сомнения, радовался больше всех.

Затевая нелёгкую военную кампанию ещё сравнительно молодым, полным сил двадцативосьмилетним человеком, государь закончил её уже основательно изношенным, больным, усталым сорокадевятилетним мужчиной. Однако свершившееся событие вернуло ему «второе дыхание» ...

В начале сентября жителей Петербурга обеспокоило и поразило странное событие. По холодной разгулявшейся Неве против течения плыла царская бригантина, подняв все паруса. Из трёх носовых орудий клубились облака дыма, через каждую минуту гремели выстрелы, всю ревел сигнальная труба.

Горожане высыпали на берег. Они были в недоумении. Кое-кто знал, что государь отправился морем в Выборг на своём судне – и на тебе! Но вот все разглядели у мачты высоченную фигуру Петра. Он размахивал руками и кричал: «Мир! Наконец-то мир!» На Троицкой пристани, куда направлялось судно, собрались тысячные толпы людей.

Бригантина бросает якорь, царь прыгает в шлюпку, десяток матросов рьяно наваливаются на вёсла. А в Троицкой церкви уже звонят колокола, на площадь выкатывают бочки, полные вина и пива. Царь высаживается на берег, толпа дружно подхватывает его и несёт в собор. Пётр шутиливо отбивается, понимая, что не может противиться этому взрыву восторга и ликования. Он сам веселится, как ребёнок.

Его круглое, с припухлыми веками, небольшим выразительным ртом и большими карими глазами лицо светится детской радостью. Но как православный человек он спешит в храм, дабы горячо возблагодарить Всевышнего за долгожданный мир...

После благодарственного молебна Пётр выходит на площадь, тесно запруженную народом, ему вручают большой ковш, полный вина, царь поднимает его, возвышая голос:

– Благодарите Бога, православные! Он прекратил войну, длившуюся двадцать один год, и даровал нам счастливый, вечный мир! – окидывает весёлым, искрящимся взором волнующееся море человеческих голов и восклицает: – Пью за вас, русские люди!..

Многие плачут, особенно женщины, раздаются голоса:

– Слава тебе, царь-батюшка! Будь вечно здрав и весел! Сто лет тебе!..

Пётр выпивает ковш до дна и бросает его наземь. Толпа разражается дикими криками восторга. У бочек с вином и пивом выстраиваются шумные очереди. Люди празднуют победу.

К храму съехались все виднейшие сановники государя, а некоторых, увы, уже нет в живых. Два года как преставился главный военачальник генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев...

Нет главы Приказа военных дел Тихона Стрешнева, умер верный Фёдор Ромодановский, ушли в мир иной Фёдор Головин и Алексей Шеин, год назад скончался храбрый Адам Вейде, угодивший в плен в первой битве под Нарвой...

Десять лет его продержали в шведской тюрьме, надеясь, что смелый немец перейдёт на службу к королю. Однако тот не поддался на уговоры, и пришлось обменять его на пленного рижского губернатора...

Но живы Меншиков, Апраксин, Репнин, Брюс, Бутурлин, Мусин-Пушкин, Голицын – те, с которыми Пётр сражался под Азовом,

Нарвой, брал Нотебург (Орешек), Ниеншанц (будущий «парадиз»), Дерпт, Ригу, Выборг, Ревель...

И все они участвовали в знаменитой Полтавской битве. Каждый из них не раз рисковал жизнью, и государю не в чем упрекнуть своих верных боевых товарищей. Жаль только тех, кого не стало...

Старый вояка Борис Петрович Шереметев наверняка несказанно бы обрадовался долгожданному миру. Из своей 67-летней жизни более сорока лет он провёл на поле брани. Потерял в жуткой турецкой неволе старшего сына...

Михаил Шереметев два года томился в земляной яме семибашенного замка Едикюль в Стамбуле, будучи заложником. Там же держали Шафирова и Толстого. Но через два года оба вышли на волю и продолжали преданно служить России...

После первых, стихийных празднеств через несколько дней в Санкт-Петербурге начался пышный маскарад и продолжался целую неделю. Государь, нарядившись голландским матросом, бил в огромный барабан. Екатерина с корзинкою в руке изображала голландскую крестьянку.

Придворные дамы были одеты нимфами, пастушками, монашками (!) и шутихами. Для простого народа соорудили два фонтана, из одного щедро лилось красное вино, из другого – белое. Пили и веселились до упаду. Торжеству даже не помешало наводнение, случившееся в начале ноября.

Река снесла мосты, вырвала с корнем деревья, выбросила на берег лодки и корабли, затопила подвалы и принесла большие убытки купцам. Но, слава богу, вода быстро схлынула, и веселье продолжалось. Сколько было выпито вина и пива, сколько веселья, шуток, смеха, слёз пролилось на улицах, в домах и дворах шумного города – не знает никто!..

Правительствующий Сенат преподнёс Петру титул Всероссийского Императора и Отца Отечества, отныне его стали именовать Петром Великим.

Затем торжества плавно переместились в Москву. В Успенском соборе Кремля император вновь благодарил Бога за дарованный мир и за то, что перед Россией открылись новые исторические пути. И вновь длились праздники, фейерверки, иллюминации...

Огромные Триумфальные ворота установили на Тверской-Ямской, в Китай-городе и на Мясницкой. Торжество продолжалось восемь дней.

Желая несказанно удивить Первопрестольную, государь приказал составить длиннющий поезд из многих десятков саней. На них установили модели морских судов. Маршалом всего парада был светлейший князь. И он его открывал, сидя в открытой барке с громадной позолоченной статуей богини Фортуны на корме.

А следом пятнадцать лошадей едва тащили огромное сооружение, изображавшее двухпалубный фрегат, с мачтами и парусами, где расположился сам царь, одетый матросом, и курил трубку. Из маленьких пушек, установленных по бортам, холостыми зарядами умело палили слуги-мальчишки, тоже наряженные матросами.

Далее двигались «корабли» поменьше, и в них сидела Екатерина в одежде голландской крестьянки, которая ей очень шла, а с ней катили придворные, изображавшие африканок и африканцев. Следом скользили – сани за саниями – «корветы», «бригантины», «барки», – и в них теснились вельможи, посланники, гости, одетые китайцами, персами,

черкесами, индусами, турками и, конечно же, немцами, французами, шведами, поляками и т. д.

Но больше всего горожан поразила огромная, затейливо расписанная турецкая «кочарма». На её высокой корме, в чалме и расшитом золотом халате, на персидских коврах и атласных подушках, восседал бывший молдавский господарь Кантемир с сыном Антиохом и дочерью Марией, ещё недавно представлявшей нешуточную угрозу матушке Екатерине. Экзотическая красавица едва не покорила пылкое сердце влюбчивого государя...

Потешная «флотилия» растянулась на несколько вёрст. К изумлению и восторгу москвичей, по узким, извилистым улицам «сухопутной» столицы, извиваясь огромной змеёй, катили причудливые сооружения, в которых сидели полупьяные, шумливые и бесшабашные люди, громко и задорно крича:

– Виват, император! Виват, Россия!..

Государь и его сподвижники любили и умели веселиться. Ведь минуло столько лет с начала тягостной войны – и греха в этом не видел никто. А многим казалось, что теперь российский самодержец займётся делами сугубо мирными. И Пётр наверняка так же думал...

Только старые соперники России думали иначе. Давний недруг – Османская Порта, видя опасное усиление северного соседа, решила захватить побережье Каспийского моря и поглотить слабую Персию, у которой были добрые отношения с нашей страной.

И Петру пришлось отбыть в новый, уже Персидский поход.

## Марина ТАРАСОВА

Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Москве. Окончила Московский полиграфический институт, редакторское отделение. Работала библиографом в иностранном отделе Ленинской библиотеки, редактором в АПН (в редакции стран Латинской Америки), редактором в издательстве «Современник».

Автор десятка книг поэзии и прозы, многочисленных публикаций в журналах и антологиях. Живет в Москве.

## УМРИ ВМЕСТО МЕНЯ

*Повесть, фрагмент*

Что худосочный аспирант не жилец, Агния поняла сразу. Вздохнула и поняла. Любой маломальский жилец, снимая квартиру, высмотрит, не обвалится ли балкончик с бурыми цветочными кадками, оглядит плиту, ибо огонь, который еще Гераклит почитал за бога, загнанный в ржавые газовые трубы, сулит много неприятностей, а этот... неопределенно хмыкнул и выложил на кухонный стол деньги. Назойливая оса, квартирная агентша, только и ждала, слепила договор.

Длинный ветер острием воздушного потока сгребает листья под окном, красный кленовый гребешок падает на балкон. Нагатинская пятиэтажка, как доморощенная коптильня, источала жир своей жизни. И верно, не прошло и двух недель, как появилась женщина с тусклым обручальным кольцом, сгребла аспиранта, удравшего в самоволку, вытащила, царапая пол, его скарб. Агнии бы расстроиться – кто еще снимет за двести долларов? А она привыкла покупать хорошие шампуни, раз в месяц стричься и делать маникюр. Агния была большезубый полноватый терапевт шестидесяти двух лет. Зеленые баксы, как фиговые листки, прикрывали ее одиночество, подступившую старость.

Но все так скверно сложилось, совпало, что Агнии не расстраиваться надо было, а волком быть. Неслучайно она приехала с брезентовой сумкой. Директор дома отдыха, вор и картежник, сказал, что врач им больше не требуется. Прощай, значит, служебная комнатуха, дармовые харчи, московская аренда. Адью, халява. Не будет ее уже томить, будоражить свист поездов, в любую погоду, этот Вий железной дороги, вытягивающий воздух из легких. Студенистый воздух набитых вагонов, пятнистый баян, младенцы в банданах... А когда через пару дней отправилась за халатом, стетоскопом и остальным богатством, в каби-



нетике, на ее стуле, дрыгала ножкой, попивала кофе молодая черноглазая особа. «Проиграет он тебя в карты, дуреха», – зло подумала Агния.

Хрипло гаркнула сирена в Южном порту. Два раза кукнула нагатиная кукушка, словно кукиш показала. Громыкнуло медное ведро грозы. Агния постаралась представить взрослое лицо давно умершей дочери, хотела поговорить с Валечкой, но увидела синеватое личико сердечницы с младенческим пушком. Ничего не осталось, кроме ужаса памяти. Агния плакала вся – вздрогнула переносица, набрякли веки, источая две струйки, зашмыгал покрасневший нос, уткнувшийся в мятый платок. Куда подашься? За поддержкой, за утешением?

Вчера она извлекла карпа из холодильника; он никак не хотел засыпать в начиненной электричеством белой утробе, мелко вздрагивал, поглядывал на нее опухевшим глазом; Агния разозлилась, вышла на площадку и шмякнула карпа головой об стенку, из красной махровой жабры прыснула кровь, и она услышала безмолвный голос: что ты меня истязашь, отрезала бы ножом башку, – выронила рыбину, подумала, что рехнулась, грохнула дверью и плакала, как сейчас. У пустого холодильника, а когда снова вышла, недобитка уже подобрала.

В Нагатино все занято, она ходила. Можно – где-нибудь совсем на окраине, но и там старички не потеснятся. «Была бы жива Ната, – она вспомнила свою энергичную подругу, – пристроила бы». Попробовать медсестрой... а куда девать тех, кто помоложе, нечего дорабатывать до погоста. Гори огнем! Краюха с маслом, терпкие дезодоранты, аккуратное неснашивающееся белье. У мусорных бочков все равно, кто ты – геолог или терапевт. «Ну уж тыхватила, – вытерла глаза Агния, – ведь кое-что есть, приколпено по мелочам, и пенсия, которая – тьфу! – немного протянуть можно».

Несокрушимый животный дух был в листопаде, и виделось ей, не листья состояли при людях, а люди при них, много раз повернутые и отраженные в желтых зеркалах, призванные помнить и не отрекаться.

Агния накинула белую шаль с двумя большими дырками, лень было заделать, зашить, свернулась калачиком в кресле подле телевизора. Сейчас она посмотрит какое-нибудь ток-шоу.

В дверь громко позвонили. Разозленная Агния подбежала, крикнула: – Квартира не сдается!

В доме всегда догадывались, знали. А теперь пусть помалкивают, не подсылают.

– Не сдается! – резко повторила она, не слушая ответа.

– Я не по поводу квартиры, – мягко сказал мужской голос.

– А зачем? – Агния прикинула к глазку.

– Я вам все объясню.

Неужели она кому-нибудь как врач понадобилась?

Агния приоткрыла дверь на цепочку, молодой мужчина изумил ее. От велюровых глаз, чисто вымытого лица исходила такая искренняя благожелательность, рубашка струила белизну; на нем был смокинг, строгий и одновременно великолепный галстук. Теплая волна подкатилась к горлу Агнии, пальцы задрожали, она увидела бриллиантовую ящерку в галстук – нет, не может быть квартирным барыгой, даже разбогатевшим, он супер! – Агния сняла дверную цепочку.

– Вы... вы риелтор? – глупо пролепетала она. – Но я... я не продаю квартиру.

– Я не риелтор. Здравствуйте, Агния Николавна. – Неведомый гость плавно вошел в прихожую и поцеловал ей руку.

Забытое прикосновение мужских губ к ее пальцам залило красным вином крови дрябловатые щеки. «Что же это делается со мной? Так забалдеть? Это же стыдно. Стыдно, как забеременеть в пятьдесят».

— Хочу вам представиться, — он протянул визитку. Тонкие черные буквы круглились на отливающей голубым карточке. ЧЕРКАСОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. И ниже: Вице-президент Компании АЗОВ-НЕФТЬ, рябили телефоны и факс...

— Садитесь, — Агния опустошенно указала на стул. — Ну, и зачем вы пожаловали? Чем, так сказать, могу быть вам полезна? — взвинченно спросила она.

И на нового русского не очень-то смахивает. Скорее из советско-интеллигентной семьи.

— Вы успокойтесь, дорогая Агния Николавна, — он вкрадчиво сжал ей запястье, словно считал пульс. — Разговор у нас с вами долгий, не совсем обычный, конечно, разговор. Внизу ждет машина, я бы вас очень попросил...

— А что, здесь нельзя поговорить? — вскинулась Агния.

— Я вас очень прошу... — повторил вице-президент. — Пойдемте со мной. И ничего не бойтесь, — он улыбнулся краешком пухлого рта.

Агния, как загипнотизированная, накинула плащ, выключила свет в прихожей. «Завезет бог знает куда, на пустырь, и кокнет. Из-за квартиры. Подделывают не только визитки, но и паспорт. А может, хочет в машине поговорить?»

— Откуда вы меня знаете? — глухо спросила она, когда они выходили из кирпичной пятиэтажки. Он бережно поддерживал ее под руку.

— Я вам все скажу. В свое время.

Уже смеркалось, день катился к закату, но у подъезда они прошли сквозь живой строй. Казалось, старухи не вымирают, бессменно несут вахту, а если кто-то выбывал из ряда, ее место тут же занимала другая каменная тетка.

— Вот это клиент! Принц заморский. Не то что разная пьянь, — гомонили им вслед. — Суший дипломат.

— Да разве такой на наш тараканник позарится?

Большой черный лимузин стоял со стороны улицы. Сверкнули дверцы. Охранник пересел на переднее сиденье к шоферу. Агнии страшно хотелось оказаться вместе с Черкасовым на заднем. Чувствуя его коленкой, она утонула в лиловом полумраке. Как она всегда мечтала о жутковатом полумраке т а к о й машины.

«Неужто он хочет взять меня своим семейным доктором?» — нелепо подумалось, когда машина мягко тронулась с места. Это ее-то, средней руки врачешку, без новаций?

— У вас все здоровы? — на всякий случай, глотая слюну, спросила Агния.

— Бог миловал, — Черкасов усмехнулся, словно прочел нехитрые мысли.

Шикарный лимузин не стоял в пробках. Переехав через мост, поднагнанный водитель разом ввинтил «мерседес» в узкие улочки, покрутил там, а потом вывернул на просторную, уже не забитую Автозаводскую. Все это произошло очень быстро, Агния опомнилась, когда они пригормозили у стеклянного куба магазина с широкой лестницей и нарядными манекенами в витринах. Двери распахнулись сами собой, и она, еще толком не понимая, зачем ее привезли сюда, ступила в стеклянное царство. Длинноногие красотки, с улыбками во весь рот, вились вокруг

них. Самая воздушная, с летящими волосами, видно, хорошо знавшая Черкасова, предложила ему дымящийся кофе и журнал, а девичья эскадрилья застрекозила подле Агнии, подвела ее к зеркальным стойкам с великолепными вещами. Нарядами. Агния, которая одевалась в секонд-хенде, с трудом поняла: она должна что-то выбрать из этого богатства – для себя. Красота била под дых. Побродив немного и не зная, можно ли к этой красоте так, запросто, прикасаться, она всплеснула отяжелевшими руками, еле выдавила:

– Давайте на ваше усмотрение.

В залитой светом примерочной она с омерзением стянула с себя свое барахло, сунула его в предусмотренно поставленный пакет, и тут рука нащупала другой хрустящий пакет – с тонким бельем. «Господи, как славно, что я не окончательно растолстела с блинов да с пирожков, – восхищалась Агния, утягиваясь в длинное иссиня-черное платье с густой вышивкой на полупрозрачных рукавах. – Какие молодчаги, как все подобрали», – думала она, влезая в очень легкие и удобные туфли на высоком каблуке, и тут же, не давая опомниться, будто по мановению волшебной палочки, в просторную кабину впорхнула еще одна – раскосая, похожая на японку, с двумя высокими пуфиками. На первый она усадила счастливую Агнию, а на другой кожаной табуреточке разложила разные кисточки, краски-мазюльки, и уже через десять минут рыхловатое, мучнистое лицо Агнии преобразилось до неузнаваемости – светлая помада скрыла, смикшировала крупные, выступающие зубы, искусно наложенные тени увеличили, сделали более яркими глаза, а тон с пудрой полускрыл морщины. И это еще не все. Рыженькая товарка «японочки» надела на нее изумительный русский паричок, в котором Агния стала похожа на французскую актрису, играющую возрастные роли. Невероятно! Немыслимо! Какой можно стать красивой всего за час, даже за полчаса, были бы только деньги. В руки ей, уже мало что соображающей, дали маленькую шелковую сумочку, с такой дивной, прямо натуральной розой, на плечи накинули струящуюся фиолетовую шаль. Не вспомни Агния о накрашенных ресницах – заплакала бы от нежданной радости прямо тут, среди множества зеркал. Теперь она готова была ехать куда угодно, хоть на пустырь, умирать.

Зачем и для чего это делается, чего хочет неожиданный благодетель, она видит его в первый раз, не родственница, никто ему, а так, ни за что, не бывает... – обрывки испуганных мыслей роились у нее в голове, как ночные насекомые на свету.

Черкасов встал из-за низкого столика, расплатился карточкой.

Теперь она соотвествовала его смокингу.

– Замечательно! – Он снова взял ее под руку. – Вам-то самой нравится?

– У меня нет слов. Ради чего вы так стараетесь, Валерий Дмитриевич? – Агния не в силах была поднять на него глаза.

И снова их вертел водоворот освещенных улиц. Агния давно не вылезала из Нагатина, из узкой прорези своей жизни. Она не знала этого нового вечернего города с режущими слух названиями: стрип-бар, блин-хаус... Обжитого новыми, неведомыми ей людьми. Раньше такая иллюминация была только по праздникам. Даже показалось, что луна сорвалась с неба и присела на лакированный капот лимузина, как свадебная кукла у молодоженов. Но когда они остановились у продолговатого здания с танцующими, светящимися буквами «КАЗИНО», Агния испугалась, запротестовала.

- Нет, нет, я никогда не играла. Да и денег у меня нет.
- Ну что вы, какие могут быть страхи? Я поставлю за вас.

Зал с большим расчерченным столом кружился пред глазами. Водопад неизведанных ощущений размывал ее. Руки крупные летучими мышами вспархивали над склоненными головами. Агнии даже почудилось, что между пальцев у него перепонки. Черкасов вынул несколько стодолларовых бумажек. Вертелась малиновая юла. «Как фокусник! Кто он? Молодой Воланд?» – вспомнился давно прочитанный роман.

Черкасов уверенно сгреб фишки. В кассе перед Агнией легла пачка долларов. Она неуверенно пересчитала. Две тысячи. Целый капитал!

– Поздравляю! – заулыбался Черкасов.

– С чем? Выиграли-то вы.

– Эти деньги, Агния Николавна, при любом раскладе останутся в вашей собственности. – Он увидел ее замешательство. – Да они ваши! Берите. Такое дело полагается отметить! – Лукаво сверкнули его острые зрачки.

– Я готова! – обрадовалась Агния, достала зеленую пачку. Наконец-то она расплатится.

– Спрячьте деньги. – Валерий прикрыл ладонью сумочку. – Я вас приглашаю.

В ночном клубе, как и в магазине, в казино, Черкасова тоже знали. Агнию не покидало ощущение, что она смотрит на заезжих циркачей. И в кабинку их провели под стать театральной ложе, куда отдаленным прибором доносилась музыка. А за перегородкой одиноко томился черкасовский охранник.

На маленьком круглом столе горели свечи.

– Это лангуст, – Валерий показал холеной белой рукой на хрустальное блюдо с распятым крабом. Агния рассеянно кивнула и выгнула шею в прибой голосов, где на помосте златогривый стриптизер уже скинул сверкающую рубашку. Да, ей было интересно, когда и что он еще снимет, так она пыталась скрыть, подавить разогретую вином, неприличную тягу к Черкасову, эту ворвань несбыточного женского желанья. Наконец, она повернулась к нему – еще обидится, ведь не смотреть же на полуголого мужика он привел ее сюда. А Черкасов, не беспокоя официанта, подливал из красивых бутылок, клал на хлеб красную гвоздику икры, открывал щипчиками розоватые створки, посылая ей в рот сбрызнутые лимоном устрицы.

Все это растворялось во времени, казалось бесконечным. Хлопнув для храбрости виски, запив божоле, Агния набрала в легкие воздух и спросила:

– Ну так что привело вас ко мне? Чего вы хотите, Валерий Дмитриевич?

Улыбчивое лицо с безупречной кожей стало непроницаемым, серьезным, Агния с тревогой заметила перемену.

– Вы же понимаете, у меня ничего нет. Тут я вам ничем...

– Агния Николавна, вы можете заработать большие деньги, очень большие, речь идет о нашем партнерстве.

– Партнерстве? – изумилась она. – Я вся внимание. Я вас слушаю.

– Извольте. – Черкасов слегка кивнул, как джентльмен, уступающий желанной дамы, но в поблескивающих темных глазах Агния увидела не что иное, как испуг, да, его обаятельная уверенность разом куда-то подевалась.

– Несколько дней назад, точнее, пять дней, – он замялся, в общем... это не была всецело моя инициатива, надо мной есть и поумнее головы, состоялся соответствующий разговор... и я подумал, а чем черт не шутит, поддержка у меня есть, через два года выборы в Госдуму, почему я не могу стать депутатом от каких-нибудь Нижних Батогов? Залог полагающийся я внести могу, а остальное дело техники и тех же денег.

Агния напряженно слушала, совершенно не понимая, куда клонит Черкасов.

– Подумать-то я подумал, но все же такой резкий поворот жизни, можно сказать, судьбы. А тут мой старый приятель сказал: сколько еще будешь мучиться, сомневаться? Что у него есть мощный экстрасенс, берет дорого, но стольким помог, людей пропавших разыскивает, детей прикосновением лечит и все такое. И я к ней направился.

– Да? А как выглядел ваш экстрасенс? – оторопела Агния.

– Сразу скажу, дама эта меня поразила. В комнате она сидела в какой-то странной шляпе, пол-лица под вуалью. Спросил я ее о будущем депутатстве – есть ли шансы пройти? Она глянула своими ледяными глазами и говорит: «О каких выборах вы грезите, молодой человек? Через два года, в сентябре 2003-го, когда вам исполнится 33, вас убьют, сделают вас. Что вы так смотрите на мою шляпу? Ваша смерть будет в точно такой же шляпке, охнуть не успеете».

– Да она шарлатанка, очень смахивает, почему вы верите? – Агния едва усидела на стуле.

– Э, бросьте. Я же к ней с каким вопросом пришел, а она мне что выдала? Таким от нее холодом, склепом веяло, мы мальчишками лазили, я знаю.

– И как вы реагировали?

– Как, как – постарался не показать, что выпал в осадок, хотя у меня до сих пор мурашки по коже.

Черкасов затанулся пахучей сигарой.

– Спросил, нельзя ли это как-то отсрочить, у меня процветающий бизнес, потом... двое маленьких детей.

– Действительно... – поддакнула захмелевшая Агния.

– В ответ мне было сказано, что можно не только отсрочить, но и отменить, я понял, если Агния Николаевна Кулигина, согласится умереть вместо меня по истечении двух лет и это будет скреплено договором. Да, да, не удивляйтесь, именно так мне было заявлено. Фамилия у вас достаточно редкая, разыскать было нетрудно.

Но Агния уже не слушала его. Ее трясло негодование.

– Это чушь какая-то! Полная ерунда! – чуть ли не кричала, разбив тарелку с очередным деликатесом. – Знаете, мне хочется плюнуть вашей экстрасенше в лицо. Откуда она знает про меня? Мою фамилию.

– Они же общаются с тонкими мирами, а т а м такая картотека на всех...

– Где это – там? – плакала Агния. Ей как человеку атеистическому всякая мистика была чужда и противна. – Почему я должна умирать за вас? – Неужели так дико должен был кончиться несказанный, несравненный вечер, и теперь над ней измываются, бьют мордой об стол, не оставляя даже горстки иллюзий. Да, ее нарастающее обожание было смешно, заметно, но зачем же так? Агнии все еще казалось, что это какая-то нелепая, гадкая шутка.

– Вы успокойтесь, успокойтесь, Агния Николаевна, – нежно приговаривал Черкасов. За переполнявшими ее слезами она почувствовала, как он гладит ей руку.



– Меня не удивляет ваше возмущение, но поймите. Поймите, если вы согласитесь, вы проживете два года, ни в чем не зная отказа, как богатые люди. Любые поездки, круизы, что захотите, – ласково увещевал он. – Да что я говорю, слова – это слова. Завтра я вам предъявлю ваш банковский счет, покажу квартиру на Воробьевых горах...

– Скажите, в тот вечер вы пропустили рюмку-другую?

– Совсем немного.

И он не походил на алкоголика.

– Вы колаетесь? Кокаин? Наблюдались у психиатра? – стыдась, что разнюнилась, выпрашивала Агния.

– Ну что вы, – Черкасов не обиделся, но отодвинул от нее бокал. – Как вы себе представляете, даже если бы я слегка этим баловался, я мог бы возглавлять такую большую компанию?

Агния вспомнила отдающую серебром визитную карточку. Правда, и власть предрежащие всегда имели букет тайных пороков, иначе чем объяснить нашу общественную шизофрению?

– А так, сами подумайте, Агния Николавна, – уже спокойно уговаривал ее Валерий, – ну доживете вы до семидесяти лет. Но какое это будет качество жизни? У вас стенокардия...

– Что вы знаете о моей стенокардии? Я могу с ней дотянуть до восьмидесяти, я вам как врач говорю.

Ее оборона уже давала сбой.

Она налила себе виски в чистый бокал, пила и пила мелкими глотками жаркую жидкость, которую сделал Джон, вылупившийся из пшеничного зерна.

...Стены с растрескавшимися обоями, не ее теперешние бзики, перманентное помрачение бабы, даже год не побывшей замужем, а Паркинсон вкупе с Альмгейцером, корыто мусорного бачка или дом престарелых, куда теперь принимают з а к в а р т и р у и делают все – от сквозняков до отказа в уколе, чтоб ускорить конец...

– Что я могу вам сказать? Вы меня так оглоушили.

– Я и не требую немедленного ответа. Я буду у вас завтра в два часа, поедем смотреть вашу новую квартиру.

– Хорошо. – Распухшие от обильной выпивки ноги еле держали Агнию. А Валерий был свежий, кум королю. Охранник молчаливой тенью следовал за ними.

– Хотелось бы посмотреть на вашу экстрасеншу.

– Вы же понимаете, что это невозможно. Выспитесь хорошенько, – посоветовал Черкасов, прощаясь у нагатинского дома с черными провалами потухших окон.

Спать? Разве она могла. Когда, проворочавшись пару часов, Агния встала, звезды некрасиво и низко желтели, как объедки на посуде. Платье вороним крылом обвило спинку стула. Умирать не хотелось ни через два года, ни завтра. Никогда. Пусть она будет шкрябать стиральным мылом свою ноздреватую кожу, лишь бы жить. Продаст квартиру, купит комнатку с приплатой, только что купит – чулан? Рука в полумраке нащупала шелкового зверька – сумочку. Деньги из казино были на месте, две штуки баксов. Их-то он не отберет, ведь верно? Ей надолго хватит.

Первый утренний луч, как бойцовский петух в загончике, гордо просунул красную шпору в предрассветный сумрак.

Да риелтор он, косящий под вице-президента. Ее квартира ему нужна, эта, в Нагатино. Остальное – туры на колесах, лажа. Надо же,



сенша сказала! Как поет Алла Пугачева: «Пришла и говорю...» Агния взяла серебристую визитку, напялила очки и набрала телефон в верхней строчке, офиса.

– Компания «Азовнефть» слушает, – раздался высокий женский голосок. Не охранника. Агния осторожно положила трубку. Что ж, они в такую рань уже работают, можно сказать, круглосуточно?

В закрытое окно непонятно как ворвалась крупная оса, медовая, с черными полосками, приветом из июля. Крылатый тигр пожужжал, пометался и вылетел, нашел лазейку в кухне.

Съезжу-ка я к Валечке, на могилу, вздохнула она, облачаясь в брюки и старую ветровку. Потом долго тряслась в трамвае на Даниловское кладбище. Бабьего лета как бы не существовало, тополя стегали трамвайные стекла мутной листвой. От кирпичных кладбищенских ворот Агния шагала по асфальту в полном безлюдье, машинально толкая разношенной кроссовкой влажный голыш. Вот и Валечка – в разросшемся чертополохе, скрывшем облупленный камень. Сирень давно отцвела и теперь кажется жилистой черной каргой. Господи, всю жизнь ее сгибал и давил труд, ну пусть не лечила – в наших поликлиниках вообще не лечат, но никому не отказывала, роздыху не знала на приемах и на вызовах; стала сдавалой, квартирной хозяйкой, ютилась в казенной десятиметровке, как из милости, и что же – нет у нее денег поставить Валечке новый памятник, растрянжирила. Говорят, то, чем торгуют на рынках, никакая не мраморная крошка – пластмасса никудышная, а здесь столько сдерут за гранит, и каменную скамейку, и цветничок. Агния окинула взглядом соседнюю богатую могилу, внушительный камень соседа по кладбищенской коммуналке. И была у него могила, как у Самсона Далила. Понуро она стояла у покосившейся оградки, сапожник без сапог, терапевт, не спасший своего детеныша, сердечницу. «Скажи, Валечка, может, согласиться, потрафить этому Черкасову, коли не врет, и тогда мы скоро встретимся»... но потускневший медальон с детским личиком молчал, казалось, вот-вот он лопнет, как воздушный шарик, который Агния упустила в детстве.

Выходит, brave капитан Кулигин приехал с Финской ради того, чтобы сделать Агнию. С ее матерью он не был зарегистрирован, но, понятно, расписался бы, если б не угодил на большую войну, откуда уже не вернулся. Агния считала, что назвали ее наперекор предвоенным аббревиатурам: Владлен, Полюция – политическая революция; что означает имя Агния, она не знала. В школе дразнили ангиной, а в лукавом студенчестве Агни-ёгой, для краткости Ягой. Интересно, что же останется от нашего времени, какое шикарное имечко? Наверное, Экстрадация.

В комнате, пропахшей меховыми воротниками, среди серых ватных манекенов и таких же хмурых чучел, редких сожителей матери, зиждилось под стук швейной машинки, набухало одиночеством ее детство. Обрастало невнятицей жизни. Какая она была, мать? Пелена времени уже укрыла, растворила бледное лицо с тонкими обиженными губами.

Погибший в Германии отец, которого она не помнила; послевоенная Москва со снегом по колено, с неуклюжими автобусами, похожими на керосинки, клейкая мякоть весенней листвы, чужие голуби, стартующие из ближних дворов. Однажды Агния подсмотрела за бабушкой: в пронафталининной комнатухе зачем-то размораживалась печенка, колыхалось в мисочке темное желе, и перед сном старуха отрезала кусочек малиновой медузы и так, сырую, ела втихаря. Как-то заметила

Агнию, приложила исколотый палец к губам: «Это мне надо, это жизнь продлевает»...

Агния хорошо успевала, сначала училась в женской школе; мать и бабушка, шившие тяжелые пальто на заказ, боявшиеся фининспектора, старались приодеть, платье и школьный фартук отличались индпошивом, фасоном... Другие девочки куда хуже ходили. Невдомек тогда было Агнии, что бедные девочки пойдут в торговлю, встанут за прилавок, не жалея пухнувших вен, наберут на богатую и большую старость. Устроятся в кафе, полюбят золотишко и шубки, скопят на богатую и большую старость. Вы когда-нибудь видели незамужнюю буфетчицу или официантку? А если встречали разведенную – то уже без пяти минут замужем.

Аню учить надо! – этот боевой клич сотрясал стены в желтеньких цветочках, не вторгаясь в сон ее души, не делая мать ближе, роднее. В первый раз Агния провалилась в медицинский, блата никакого не было, но не отступилась, отбарабанила год санитаркой, и ее приняли.

Мать сшила Агнии широкую цыганскую юбку, красивую, как Кармен, этой юбкой, несмотря на холодную осень, она шелестела вечерами «на картошке», в коровнике, наскоро переделанном под жилье студентов. Обычно они лежали вповалку на волглых матрасах, как бойцы после боя, некоторые косили под простуду, отлеживались, иные ворочались в жару, надсадно кашляли от нескончаемых дождей на колхозных полях. В двенадцать часов, в полночь, из крестьянских ходиков вылезала толстая матерчатая мышь и говорила: «Ку-ку». Одного такого, честно заболевшего, в дневном безлюдье, и накрыла большим шелковым сачком цыганская юбка Агнии. Он был блестящий аспирант, теперь уже давно член-корр, придумал, как срезать бородавки лазером. Там-то, «на картошке», все и приключилось. Когда уже в Москве она сказала аспиранту о последствиях жаркого секса на холодном полу, ее первого секса, тот удивленно развел руками.

– Ну и угораздило тебя! Ты же медичка, сделай что-нибудь.

Поговорив с матерью, Агния делать ничего не стала, и появилась Валечка, похожая на прозрачный засушенный цветок. Агния взяла академический, порой ей казалось, огромная белесая моль вьется над Валиной кроватью, сбегавшая из марлевых кулей, где томился обватининный драповый крой. Операция обещала процентов двадцать успеха, делать ее можно было только в три года, а Валя ушла по веревочной небесной лестнице, не прожив и половины отпущенного срока. Аспирант ни разу не видел свою больную дочь, не ведал, что Вали уже нет среди людей.

Агния вернулась в учебное стойло, надела хрустящий белый халат, ломкий, как сосульки, которыми она набивала рот девчонкой... Раннее апрельское утро, примус детства раздувает небесную синеву; она идет пустынным коридором в поликлинике, уборщица, кряхтя, трясет тряпкой. У кабинетов, на пыльных стульях высаживаются люди, занимают места на унылый спектакль, толкаются в регистратуру.

А говорят – жизнь, жизнь... Скоро она поняла: женщина в белом халате – это тебе не обычная женщина, и дело не в том, что он скрывает недостатки фигуры. Женщина в белом халате может многое: достать редкое лекарство, сделать больничный, списав чей-то прогул, в ответ получая по советской справедливости не только благодарность, но и подобие любви. Для храбрости она выпивала, как дамы в девятнадца-

том веке нарочито бухались в обморок, пока мужские руки, словно по клавишам, бежали по костяшкам корсета. На вызовах... в непроветренных комнатах, когда жены на работе, на простынях, смятых другими. Сладкие шоколадные коробки и крепкий портвейн. Ягоды из чужого компота. Постепенно Агния привыкла, что и чужого-то особенно нет. Правда, почти не находилось желающих встречаться в ее неслужебное время. Изредка приглашали в театр, но сидели с пустым лицом, сразу видно, это награда за врачебное внимание, надежда на будущие таблетки и справки. Зато не было семейного занудства, стирки мужского белья, подлых измен, одни только пустые вечера, чистые. Зимой – от ничейного снега, а летом – от народившейся листвы.

А ведь бабушка, – вдруг кольнуло Агнию, она сидела на чужой скамейке, расставив ноги грубым углом, – когда еще жили все вместе, а Нагатино было рабочей слободой подле знаменитых Котлов, в их квартирке, на этой меховой грядке, крепко унавоженной бытом, бабушка говорила, что смерть дважды приходила за ней, да не взяла. И когда лежала уже в агонии, с сомкнутыми пергаментными веками, в конце отворила глаза, словно увидела кого поверх дочери и внучки, и без испуга отошла. Получается, есть кто-то полуматериальный, в бекеше или там... в шляпке, кто существует и караулит. А какой была последняя минута ее отца, его она не могла помнить, пехотного капитана, нет, тогда уже майора, убитого в конце войны шальной пулей? Может, в это краткое мгновение за ним явилась смерть, переодетая вестовым?

Да сколько она видела смертей, случайных и закономерных, работая в поликлинике! Порой приезжала поздно, даже слишком, когда некрасиво отвисала челюсть и не расцепишь скрюченные пальцы. Она бы ушла из этого мрака, не побоялась расстаться с профессией, которую никогда не жаловала, если б не коллега, Игорь Иванович. С нелюбимой женой и двумя детьми, в общем, с полным набором. Игорь – старше ее, белокурый богатырь с пудовыми ручищами, с усталым взглядом за толстыми линзами. Агния, еще без очков, с зелеными омутками глаз, покрасила тогда волосы в цвет ягоды шиповника.

Они стали встречаться в нагатинской квартире, где Агния жила уже одна, и быстро бы у них все кончилось, если б Игорь не стал единственным, кто принес ей женскую радость, надрывающую тело, уносящую в заоблачные выси. Эквивалент любви. И не надо выпивать, Игорь сам был как крепкий самогон, медовуха из кованой бочки. С небольшими остановками их роман продолжался больше двенадцати лет. Агния уже стала сам-треть в его семье с нелюбимой женой, знала, какой мебелишкой они разжились с премией, где собираются проводить отпуск. В перерывах между грубыми ласками здоровяка он все рассказывал и рассказывал, вываливая на Агнию поток унылой информации. И ведь ни разу не взорвалась, не треснула его чем попало за этот вкрадчивый разговор.

...Сегодня он ходит дружинником, на полу валяется повязка, может остаться до утра. Две ночные бабочки влетели, выются над лампой, отталкиваются блеклыми крыльями. Бабочки никогда не совокупляются в доме, не люди. Агния гасит свет, темнота возбуждает Игоря. Ей трудно и беспокойно спать с его телом на узком диване, а спозаранок – опять в поликлинику, в аэростат, плывущий в московском смоге, в прутьяную клетку – загонять каждую свою живую клетку. «Ты от нее уйдешь?» Он глубоко затягивается сигаретой. «Но когда дети

подрастут?.. говоришь, не любишь?» – тоскливо вопрошала Агния. «Уйду, уйду», – бормотал Игорь, выносил пепельницу.

Но время шло, дети уже окончили школу. С Игорем у нее был выбор не между больничкой, в которой оба трудились, и остальной жизнью, а между преданностью, ни за что не взыскующей, и обидой, не прощающей ничего. Но без темных лучей, без затмения нет и самого солнца. Затмение затянулось, и однажды они спохватились, сообразили, как неприлично долго тянутся их отношения, давно изжившие себя, – и разбежались мирно. Он, слишком байбак для новой интриги, – на повышение, она же, упустившая все женские сроки, – в подступающую старость, в дом отдыха, к директору-картежнику, куда ее устроила участливая Ната. Тоже терапевт.

Агния вспомнила, как лет через пять она встретила Игоря уже с внуками, их было всего двое, а ей казалось, внуки лезут из подмышек, из пакетов; вырастут, дай им срок, а они с Игорем ничего не сказали, только посмотрели друг на друга затуманенно; как она вернулась домой – из вазы слепо ткнулся в глаз георгин, даренный кем-то из больных.

Ничегошеньки от нее не зависит, хочет она или не хочет, заартачится, выдавят, распластят, уберут бесплатно, раз предупредила Черкасова, накаркала смерть. А кому нажалуется, скажут, рехнулась старая, у нас после шестидесяти вообще за человека не считают, даже вскрытия не делают. Отмажут.

Внезапно закололо в груди. Валя молчала из своего травяного покоя, наверно, потому, что не успела научиться человеческим словам.

– Не хочешь ты со мной разговаривать, – прошептала бледными губами Агния. Небесная кровинка дождя упала на ее разномастные крашенные волосы. Лето, как заспиртованная змея, смотрело сквозь стекло облаков. Два дерева-клена отбрасывали две тени: один, разросшийся, не тронутый ураганом, прогремевшим несколько лет назад, ронял зубчатую пагоду, у второго – криво вытянувшегося на месте обрубка – и тень была миражом.

А может, он еще и не приедет, страдала Агния, снова трясясь в трамвае. Может, так они шутят, вице-президенты. Знаем мы их собачьи шутки, а пачка баксов – это же аванс, оформленный под выигрыш в казино. У таких всегда есть запасные варианты, те, кто умирает вместо них. Шоферы, бездарно гибнущие при разборках, юная лимита – рыженькие сержанты милиции. Пускай подождет, в лимузине сидеть один черт, в булочную зайду, решила Агния, сползая с трамвайной ступеньки. Но пошел дождь, и она повернула к дому.

Со стороны улицы – стоял вчерашний, лакированный. Охранник с открытым зонтом распахнул дверцу. Из мокрых ушей домов лилась вода. Черкасов в куртке тонкой кожи, надушенный крепким мужским парфюмом, галантно поцеловал ей руку. «Не буду соглашаться, откажу ему, откажу, и все», – твердила про себя Агния, как привередливая невеста. Она вяло показала рукой на подъезд.

– Я думаю, Агния Николавна, зачем нам тянуть время, поедем смотреть вашу квартиру?

– Не знаю, что вам сказать, я ничего не решила. – И совсем тихо добавила: – Кому же хочется умирать?

Агния мялась в коротковатых брюках и старых кроссовках, как женщина, пришедшая наниматься на домашнюю работу.

– Ну вот увидите квартиру, остальное увидите и решите. – Черкасов с охранником усаживали ее в машину. Импозантный Валерий Дмит-

риевич уже не будоражил, не было того стыдного, жаркого, чего она испугалась в себе, темные стекла скрывали пронзительные велюровые глаза.

«Мерседес» мягко шуршал по набережной. Отсюда, в маренговой сетке дождя, Москва-река показалась Агнии Финским заливом, потому что никакого другого она не видела. Перекашивалось темное олово воды. Справа, на холмах, небоскребы новых русских вытянули жирафьи шеи, заслоняя рослые, обжившиеся тут деревья. К одному такому, распиравшему свежий асфальт строительной площадки, лихо подкатил лимузин. За массивной дверью уже сидела консержка в очках, в аккуратной блузке, чем-то похожая на провизора. Она слишком преданно улыбнулась Черкасову. Везде у него свои люди, все-то ему улыбаются. «Каждому здесь кобелю на шею я отдам свой лучший галстук».

Они вошли в зеркальный лифт. У добротной металлической двери в анфиладе девятого этажа Черкасов подмигнул ей и повернул внушительный породистый ключ; на бронзовом лице центуриона, охранника, не дрогнул ни один мускул. Большой холл перетекал в еще более просторную, метров в пятнадцать, полукруглую кухню, обставленную вишневым стенкой. Агния замерла на пороге.

– Это... все мне?

– А то кому же? – Черкасов улыбнулся мелкими зубами, вчера, очарованная, она их не заметила.

Очумело окинув холодильник «СТИНОЛ», посудомоечную машину, Агния прикинула к высокому духовому шкафу, он-то и сразил ее окончательно. Прощай, жопастая, грудастая, вонючая жизнь с подгоревшими сковородками и едкими порошками, с оттиранием жира на треснувшем кафеле. Но это еще было далеко не все. Отороченная деревом арка вела из кухни в комнату, являя великолепие перламутровой кровати за воздушными шторами и волнистые стены цвета нежного морского прибоя, непонятно как выполненные, потому что обоев таких не бывает!

– Это не квартира, это суший рай, – запинаясь, произнесла Агния.

– Смотрите дальше, – командовал Черкасов, ведя ее, дрожащую, в сладком стрессе, в опаловый, под слоновью кость, евротуалет с широкой низкой ванной. Гипноз продолжался. Он включил клавишу на золотистой вазе унитаза, из его керамической утробы раздалось птичье щебетание. На таком постаменте можно впасть в забытие, легко отлететь с последней соловьиной трелью. Агния неловко топталась на узорчатом полу, стыдясь мятых брюк и несвежих носков.

– Пойдемте, – Валерий Дмитриевич взял ее под локоть.

– Вам и выписываться не надо из Нагатина, эта квартира просто ваша собственность.

В комнате, на низком ореховом столике, он выложил перед Агнией ордер, приватизацию.

– Довольны?

Агния словно лишилась речи.

Тогда Черкасов открыл маленький бар-холодильник, вытащил ледяное пиво, бокалы дорогого стекла. Включил музыкальный центр. Что-то классическое, кажется, Баха. Отпустил охранника. От пива под музыку Баха у Агнии заглодело горло. И тут Валерий открыл свой главный козырь – обычную такую светло-синюю тоненькую книжечку из банка. «Кулигина Агния Николаевна...» – прочла она первую страничку, перевернула и подпрыгнула на стуле, глазами своим глупым не веря: ее валютный вклад составлял 50 000 долларов.



– Я согласна! Умереть за вас! – чуть ли не вскричала, боясь, что это наваждение, недоразумение какое-то, что Черкасов может передумать. Так вот в какую невероятную сумму он оценил ее никчемную, одинокую жизнь. Пусть хоть два года... или свою. Нет, свою он ценит, конечно, дороже.

Над их головами тихо рокотал Бах.

Черкасов прочитал ее мысли.

– Вы потрясены? Это у нас человеческая жизнь ни во что не ставится, не ценится. Жизнь – копейка, судьба даже не индейка, а ножка Буша. – Ухмыльнулся. – Я вам обещал, и вы все получили. Достойное существование. Признайтесь, не ожидали. Эта квартира, такая сумма.

– Да, да, – вторила Агния. Ее сомнения, очень большие сомнения наконец-то развеялись. Немыслимая сумма вдвое превышала стоимость нагатинского жилья. Слегка опомнившись, Агния все же настояла, чтобы до заключения страшного договора Черкасов поехал с ней. Он посоветовал на дефицит времени, но согласился. И они, вместе с охранником, ждавшим на площадке, снова сели в мягкий лимузин.

Агния побывала у нотариуса, выбранного наугад, в банке, у юриста. Со всеми переговорила. Удостоверилась. Являлось очевидным, квартиру для нее Валерий выкупил в новострое и передал ей в собственность. Она боялась, что Черкасов обидится ее недоверием, но он был человек деловой. В эйфории она уже не стеснялась выцветшей ветровки. Разомлев от предложенного шампанского, не помнила, кажется, уже в своей новой квартире, под вечер, передала Валерию ключи от Нагатина, а он их и не просил. Отдала как бы извиняясь за хлопоты, в благодарность.

И вот они снова остались вдвоем. Струился розовый боковой свет. Перед Агнией на ореховый стол лег плотный лист бумаги. Валерий протянул ей паркер. Он сидел перед ней, сцепив замком тонкие белые пальцы.

– Пишите, – сказал буднично, и только ранняя склеротическая жилка дернулась на шее. – Вот здесь в середине страницы – Д О Г О В О Р, – диктовал заготовленное. – Я, Кулигина Агния Николаевна, находясь в полном рассудке и трезвой памяти, согласна совершенно добровольно, без всякого принуждения с чьей-либо стороны, по истечении двух лет поступить в распоряжение Смерти, то есть умереть вместо Черкасова Валерия Дмитриевича... о своем решении обязуюсь никого не ставить в известность... – у Агнии засучили пальцы, с паркера свалилась клякса на белоснежный лист. – Ну вот, теперь переписывать придется!

– А вы не сатанист? Не в секте? – испугалась Агния.

– Какой я сатанист! – раздраженно говорил Черкасов. – Согласитесь, дорого бы мне встало такое членство. – Хмыкнул. – Насколько я знаю, сатанисты своим жертвам ничего не платят, даром мочат. А я хотел... – он осекся, – чтоб у нас с вами все было по-хорошему. По обоюдному согласию. Так ведь?

– Да. Но как-то это несерьезно, – искала Агния последнюю зацепку. Ведь принятый, сухой язык договора вступал в явное противоречие с его невероятным содержанием.

– А как с е р ь е з н о? Может, научите? Я что, каждый день составляю такие контракты, о намерениях? Все мозги сломал!

Агнии понравилась его растерянность, даже стало жалко Черкасова. Он взял ручку и, начитывая вслух, ровным деловым почерком продолжал писать под кляксой:



– Я, Черкасов Валерий Дмитриевич, обязуюсь предоставить во владение Кулигиной А.Н. однокомнатную квартиру класса люкс на Воробьевых горах, открыть на ее имя валютный счет в сумме 50 000 долларов США, обеспечить во время действия договора в случае необходимости лекарствами последних разработок, лечением в престижных клиниках за рубежом, а также оплату ритуала... – Черкасов замаялся, – иных обязательных расходов. Договор... составленный в одном экземпляре, пролонгации не подлежит, вступает в силу со дня подписания.

– Почему в одном? – всполошилась было Агния.

– А что как вопреки обязательству вы кому-нибудь покажете договор? Ну и выглядел бы я! Женщины есть женщины.

У Агнии дрожала рука, когда она ставила подпись, отсекая от себя свою прошлую жизнь.

– Если бы я не подписала ... отказалась от квартиры, от всего, что бы вы сделали?

– Не знаю, – Валерий пожал плечами, – придумал бы что-нибудь. – Жестко взглянул.

– Вот ведь, – Агния отодвинула чашку с пахучим кофе, – оказывается, все исходит не от Адама.

– Не понял.

– А то, что из моего ребра вы получаете новенькую, беспечальную жизнь. Из ребра Евы.

– Странные вещи вы говорите, Агния Николаевна. – Черкасов наморщил маленький лоб. – Может, как медик... но знаете, мне такая хирургия не по душе, – пытался пошутить. – Оставайтесь, обживайтесь, я припозднился, – он взглянул на плоские часы. – Белье, одеяло найдете, холодильник загружен. Вещи ваши мы перевезем, не беспокойтесь.

Что перевозить-то, продавленные кресла?

Она растерянно проводила его до двери, щелкнула хитрым замком. Решилась посетить евротуалет. Сколько она прикупит разных лосьонов, кремов для этих полочек, подумала. Для лица, для рук и для ног. Вспомнила анекдот про Чапаева и яичный шампунь. А в белый шифоньерчик – махровый набор. Как потолковее потратить, получше распорядиться небывалыми, несусветными деньгами, доставшимися ей? Размышляла, ходила, оглядывала апартаменты с нежно-морскими стенами. Прямо спальня куртизанки из французских романов! – прочувствовала Агния. Старенькая Галатея, разжившаяся на деньжата нового русского Пигмалиона. Но Галатея что? Статуя. То-то и оно. Вспомнила грязные, побитые гипсы вокруг дома отдыха, где трудилась врачом. Вздохнула. По незнанию, по своей еще малой причастности к шикарному быту, включила кондиционер и открыла балконную дверь – пусть воздух идет. Отсюда, из красной кирпичной ниши, сражал небесной красотой будто чужой, совершенно другой город. Но не серебряным трепетом, свежестью реки, новодевичьими куполами восхищена была Агния, а совсем близкой стекляшкой метростанции. Неподалеку грохнул выстрел. Агния вздрогнула. Неужели бывают разборки – среди этого благолепия? Ведь с глушителем – вспомнилась лабуда сериалов, не слышно. Или из пугача кто-то шарахнул? Хлопнул одинокий выстрел самоубийцы? Агния постояла еще в красной нише. Балконного воздуха ей было мало, подумала, надо пройтись. В метро можно и так, в чем она сейчас. Нарядов она пока закупать не будет, тут у Агнии замаячили особые планы, приобретет самое необходимое, так, несколько вещей, чтоб можно было выползти в эту новую жизнь.

Вот они стоят в полубезлюдье «Воробьевых Гор», недавно открытой станции, такие же, как она, может, немного получше видом. С тяжелыми сумками, ждут поезда. Ведь они, несколько молодых, принаряженных не в счет — только сильнее оттеняют команду загнанных трудяг, все они живут и умирают для таких, как Черкасов, ничего не получая взамен. Дедка за репку, Чук за Гека. А она перехитрила судьбу? Нищей старицкой свободе у телевизора предпочла чудовищный контракт, два года неведомой богатой жизни, безотказной. Может, потому что смолodu была маргиналкой, полуинтеллигенцией, и не подозревала об этом, думала-то о себе хорошо, как и весь ее круг, приятели с высшим образованием. С их анекдотами на кухнях, гитарами, посиделками в день полочки, пьяными пересыпами, фигой, тянущейся из кармана навстречу стареющей власти. Маргиналами и были.

Агния довольно быстро, ведь не надо было ездить, прицениваясь, где подешевле, привезла в новую квартиру маленькую аккуратную стенку натурального дерева, с горкой для сервиза, нарядный угловой диван и кое-что еще по мелочам. В фирменном магазине ознакомились с ассортиментом мобильных. Первый был простой и дешевый, как поцелуй солдата. Во второй, подороже, вмонтирован плеер, можно слушать любую музыку не отходя от кассы. А третий — супер... с ним можно сидеть в сауне, плавать в бассейне, использовать как маленькую дрель. Она выбрала — неброский ценой, где-то посредине, с красивой подсветкой и крышечкой.

Черкасову она пока не звонила, потому что не звонил он. И это добавляло горечи в марципан ее жизни. Неужели и вправду случайными партнерами сварили неслыханную сделку и разбежались кто куда?

## Стихи по кругу

**Валерий СУХОВ**

*Пенза*

### Корниловский мятеж

К 125-летию со дня рождения Бориса Корнилова

*Меркнут глаз его татарских лезвия.*

Б. Корнилов «Соловьях»

Как небо, Светлояр глубок.  
Хранит он храмы Китежа.  
И слышен звон колоколов  
к вечерне. Помолитесь же.  
Глухих семёновских лесов  
напевы и молитвы.  
Надёжней нету парусов  
при качке и при битве.  
И крепко за родной подзол  
поэт корнями держится.  
Чтоб был настой стихов соснов,  
нужна вода из Керженца.

Хотел Есенину прочесть,  
да опоздал трагически...  
У песнопевцев русских есть  
дар гибельный, провидческий.

Был век кровав. Жесток был нрав.  
Ордынец Русь насиловал...  
И кто был в поединке прав –  
того Господь не миловал.

Княгиня Ольга. Князь Борис.  
Кто главный, а кто сбоку?  
Вцепилась Азия, как рысь,  
кобыле белой в холку.  
Глаза у Ольги – бирюза.  
Ждёшь? Не дождёшься милости.  
Грозы татарские глаза  
сверкнули по-корниловски.

Нарывом назревал разрыв.  
Берлога разворочена.  
К другим уходят, отлюбив.  
Дочь не спасла. Всё кончено.

А жизнь его берёт своё.  
Бурлит ручьями «Молодость»!  
Размашист буйный неужём.  
Во всём сквозит раскованность.

Нет! Не унять его – хоть режь,  
ни таской и ни лаской.  
Бурлит корниловский мятеж  
в крови густой татарской.  
А что умел он? Только петь!  
Сладка судьба солёвья.  
И по-библейски «смертью смерть...»  
в крови взошло «Триполье».

Прошла Гражданская война...  
Под марши до упаду  
так бодро пела вся страна  
про утро и прохладу!

Был молод для войны одной.  
Не дожил – до другой.  
Не понял: для страны родной  
он свой или чужой?

Скандалил, хулиганил, пил  
и пел с надрывной силой.  
За что был пущен на распыл  
поэт Борис Корнилов?

Знать, из вулкана бытия  
так лава песен пёрла,  
что разорвало соловья  
клокочущее горло!

Предсказан роковой рубеж.  
Пять пуль, как многоточье...  
Поднялся Китеж на мятеж  
из Светлояра ночью!  
На куполах горит заря.  
Так предрассветно тихо.  
Не слышно больше соловья.  
Тоскует соловьяха.

## Левашовская пустошь

*20 февраля 1938 года на Левашовской пустоши  
под Ленинградом был расстрелян поэт Борис Корнилов*

*Я пущен в расход...  
Б. Корнилов*

Месяц по небу чиркнул ножом –  
хлынула кровь рассвета.  
Сочиняет карлик Ежов.  
«встречный» план по поэтам!

Бдительный критик куёт донос.  
В бездну отверзлись двери.  
Как при Грозном, суров допрос.  
Раскаялся?! К высшей мере!

Кержак коренаст. Весь в землю врос!  
Страсть разрывает мрежи!  
По-азиатски горяч, раскос  
и, как буран, мятежен.

Не устаёт, как конь, играть,  
в нём пугачёвская воля.  
А покопаться – бунтарь он под стать  
кулакам из «Триполья».

Не зря его прадед, как хищный зверь,  
разбойничал по лесам...  
Лязгнула глухо камеры дверь.  
Во всём виноват он сам.

Жизнь пронеслась словно «Встречный» в дыму.  
Из рук выскальзает обмылок...  
Ко рву подводят по одному.  
И стреляют в затылок.  
Стал рутиной людской убой.  
А человек – скотиной.  
Звёзды роятся над головой,  
следуя за дивной картиной.  
Вспоминал он, кусая рот,  
как напроорочил это  
строкою одною:  
*«Я пущен в расход».*  
*Смерть «кудрявая»,*  
*где ты?*  
Не покаяние, а стихи,  
шептал у обрыва могилы.  
Услышал Всевышний – простил грехи.  
К Данте канул Корнилов...  
Смерть на Руси бывает такой.  
Тьма кругом – без просвета!  
И оплакивал вдовий вой  
волчью гибель поэта.  
На пустоши – не растёт трава.  
Этим место приметно.  
И вот на поверке встаёт изо рва  
тень живого Поэта.  
Так из бездны предсмертный крик  
сам восстаёт из праха.  
Бог вдохновил на заветный стих  
иль с топорами плаха?!  
К солнцу вознёсся волжский откос.  
Сгнула Русь? Неужто ж!

. . . . .

Злая позёмка. Февральский мороз.  
Левашовская пустошь.  
А на берёзах горят снегири –  
русской земли поэты.  
Кроваво-алые от зари.  
Вьюгой они отпеты...

## Михаил ПОПОВ

Москва

\* \* \*

Отдельные снежинки словно мысли  
Печально приближаются к земле,  
А то вообще расслабленно повисли,  
Кто думает их, в холе и тепле  
Навряд ли пребывает. В небе бледном  
Нет ничего, ну, кроме грязных туч,  
Он остается вовсе незаметным,  
Тот, кто велик, разумен и могуч.  
Вот замысла его летят частицы,  
А где он сам, и где его престол,  
Кем надо быть, чтоб так вот раствориться,  
Его найти расхристанным крестом  
Не получается. И лишь полет снежинки  
Коснется и чуть-чуть моей щеки,  
След исчезающий, шершаво-жидкий...  
Да, что-то в глаз попало, мужики.

\* \* \*

Угрюмую жизнь разнимая свою  
На более мелкие части,  
Ищу я ту линию, или струю,  
Которая выведет к счастью.

И не нахожу, как ни тщателен я,  
Ни в юные годы, ни позже.  
Сплошной и тяжелый недуг бытия,  
Тревога гнетет меня, Боже.

Спроси, а чего ты боишься браток?  
Получат все по интересам,  
И ждет меня скучный и жалкий итог –  
Воскресну на свет мелким бесом.

\* \* \*

Дай мне укрыться под снегами,  
Что покрывают дом и сад,



Лежать как недвижимый камень,  
Уйти, но, чтобы путь назад  
Был спрятан в очень старой книге,  
А та в старинном сундуке,  
Я снежные свои вериги,  
Как буква, скрытая в строке,  
Пережидал бы там веками;  
Пусть мне однажды повезет,  
Тогда меж прочими строками  
Меня Господь произнесет.

## Арсений ЛИ

*п. Виноградово, Московская область*

\* \* \*

Когда при столкновении стонут  
могучие железные детали,  
и вдоль салона пролетают  
девчонки, семечки, цветы,  
я вспоминаю про тебя,  
про незнакомую, чужую,  
и кто спасёт тебя такую? –  
Увы, не я.

А ты вполне могла быть здесь,  
лететь на встречу, вся как есть,

и вот теперь, покрыв простышкой,  
тебя к карете медицинской  
еще чуть-чуть и пронесут.  
Да, ты вполне могла быть тут...

И в этом битом хрустале  
на золотящейся обочине  
рисует ветер озабоченно  
послания тайные ко мне.

1994

После смерти империи есть всего ничего, –  
пара, быть может, или чуть более лет,  
когда можно практически всё, и наоборот, –  
то, что было возможно раньше, теперь абсолютно – нет.  
Можно выпить всю водку; перебраться в Крым;  
стать героем на ровном месте; продать страну  
без особых последствий; временно умереть;  
взаимовыгодно проиграть войну.  
Это время, когда не жить – легко,  
значительно проще, чем жить и не умереть, –  
и есть свобода, а то, что придёт потом, –  
придёт потом, и не о чем будет петь.

## Терψιχόρα

Черты грубы и неумелы,  
как будто делал ученик,  
но тела, ветреного тела  
неподражаемый язык.  
Пляши, безмолвная подруга,  
не узнаваема никем.  
Ни имени, ни даже звука.  
Я нем.

## Петр РОДИН

*Воскресенское, Нижегородская область*

## Рубцову

Я взял захватанный журнал,  
Что в нём такого?  
И с первой строчки вдруг узнал  
Стихи Рубцова.  
Разгладил смятые листы,  
Глотаю строчки.  
Поэт, как мог, как можешь ты  
Расставить точки!  
Слова, так проще не бывать,  
Напевы тоже,  
Но отчего не удержать  
Мороз по коже?  
Нет, не обижен я судьбой,  
Товарищ Коля,  
Но всё ж хотелось быть тобой,  
Моя бы воля...

## Бабья Гора

Ах, зима ветлужская,  
Снега пелена —  
Будто выпил кружку я  
Белого вина.  
Троицкая старица —  
Китежская Русь.  
В белой прорве плавится  
Радость, боль и грусть.  
С берега соснового  
Прокричу Руси:  
— Здесь ли ты основана,  
Господи, еси?  
Вот толпа с хоругвями  
К храмам поднялась.

Крест несёт не сгубленный  
Светлоярский князь.  
Вот (глазам поверю я)  
В лоно светлых вод  
Церковка от берега  
Лебедем плывёт.  
Что ж ты не веселием,  
Русь моя, полна?  
Или как с похмелия –  
Смутою больна?  
Нет. В белёсой пустоши  
Вижу дивный свет.  
Это свет её души...  
Нет, сомнений нет!  
Правду, веру твёрдую  
Я в твоих очах  
Вижу. Поступь гордая,  
Силушка в плечах...  
Ах, зима ветлужская,  
Снега пелена!  
Мне судьбина русская  
С берега видна...

## Алексей ШИХАЛЁВ

*Ижевске*

### Молитва

Там в тишине у детской колыбели  
Чуть нараспев и слышимы едва  
Кружась в прозрачном воздухе летели  
Лишь к Богу обращённые слова

В ответ с небес мелодия звучала  
И падал снег  
Всё чаще, всё сильнее  
Природа спит укрывшись покрывалом  
Из кротких слов молитвы Матерей

### Память

Вижу белое солнце в зените  
Там под звуки серебряных струн  
Разорвав вековые граниты  
По ущелью грохочет Аргун

Вижу между высоток палатки  
Закопались в обрывистый склон  
Как огромные дачные грядки  
Только кончился дачный сезон

Летний дождь да туманы сырые  
Чай индийский на дне котелка  
Мы уходим совсем молодые  
Растворяя в себе облака

Нас связали суровые нити  
Каждый помнил и каждый хотел  
Чтобы ты никогда не увидел  
В двадцать лет человека в прицел

\* \* \*

На рассвете за птичьими стаями  
Пьяный ветер да крылья легки  
Серой дымкой сомнения растаяли  
Я вернусь в городок у реки  
По холмам над душистыми травами  
В облаках полечу не спеша  
Там укрывшись дождём да туманами  
В старой лодке уснула душа

## Александр ВЫСОЦКИЙ

*Нижний Новгород*

\* \* \*

Переселяются друзья в миры иные,  
приятели, знакомые мои,  
по духу неуютному родные,  
они уходят постепенно и —  
меня всё больше в запредельной дали.  
Они — мои предтечи в тех краях,  
откуда возвращаются едва ли,  
где дух живёт,  
с себя стряхнувший прах.

\* \* \*

Не лафитнику, не рюмке, не бокалу,  
не фужеру и не стопке ныне песнь;  
а причина восхищённого вокала —  
наш стакан граненый,  
Совесьть, ум и честь.

Волго-Балты кончились, Турксибы,  
вроде все вопросы решены...  
Вере Мухиной и партии спасибо  
за стаканизацию страны.

Он, граненый, бытовой ли, поминальный,  
эпохален на двенадцать граней все,

прост и скромен, хоть оригинальный.  
Чай иль водка в нём – во всей красе.

Наше время – пластиковых, блёклых,  
легковесных, разовых.

Но вот  
всеми гранями пока сверкают стёкла,  
наш стакан позиций не сдаёт.

## Мстислав ШУТАН

*Нижний Новгород*

*Из цикла «Две тысячи двадцать второй»*

\* \* \*

Беременная кошка,  
Нужна тебе не ложка,  
А в мисочке еда.  
Тебя мы очень любим  
И даже приголубим,  
Ведь бьёт огнём беда.

В военной обстановке  
Словесные уловки  
Ей-богу, не в чести:  
Патлатые Серёжки  
Хотели эту кошку  
Гранатой извести.

Супец она лакает.  
Он тает, тает, тает,  
Не льётся через край.  
Достойна уваженья  
Мамаша с кличкой «Женя».  
Живи, дыши, лакай!

Ведь это по-солдатски.  
По-нашему, по-братски,  
В суровый день и час  
Последним поделиться.  
И в небо удалиться.  
Кто там обнимет нас?

А кошки и собаки,  
Не знающие драки,  
Как замерли в тиши.  
В глазах не удивленье,  
В глазах не умиление,  
А горний вздох души.

\* \* \*

Мама, мама, а снег белый-белый,  
Помню, помню, как розовым мелом  
Рисовал на школьной доске  
И девчонку с забавной чёлкой,  
И задиристого мальчонку  
На приморском, сыром песке.

Мама, мама, я помню, я помню:  
По Крещатику шествовал пони,  
Но не помню, кто его вёл.  
Неужели сюжеты эти  
Дьявол хитрым значком отметил  
И с планеты в мгновенье смёл?

Мама, мама, летят снаряды,  
А со мною встречается взглядом  
Заблудившийся в городе пёс.  
Он – мой друг теперь самый, самый...  
Только нет в этом мире мамы,  
Только нет в этом мире слёз.

## Евгений ХАРИТОНОВ

*Белгород*

### Предатели

Один сказал: «Да что мне эта Рашка?» –  
Собрал узлы и двинул за кордон.  
Таким, как он, хрустящая бумажка –  
Давно уже и родина, и дом.

Другой подлец, войны боясь до дрожи,  
Сыскал в себе покорного слугу.  
Предав свой род, он лезет вон из кожи,  
Чтоб быть полезным чем-нибудь врагу.

А сколько их ещё средь нас томится,  
Пригретых на груди святой Руси?  
И нам осталось только лишь молиться,  
Чтоб Бог помог страну от них спасти.

### Разговор с Россией

Я не вправе Россию за что-то винить,  
Для неё что ни день – испытания.  
У какого креста мне колени склонить,  
Чтоб твои прекратились страдания?



Что у Господа мне для тебя попросить  
В час, когда моя жизнь обесточит?  
Прошептала она: «Пусть Он сможет простить  
Тех, кто смерть мне веками пророчит».

**Сергей УТКИН**

*Кострома*

### О прибытии расстояния

В зале долгого ожидания  
На вокзале с охапкой слов  
Ждёшь прибытия расстояния,  
На которое будь готов.

Темнота. На перроне ночь стоит.  
Морось шелестом по листве,  
Как по осени жёлтой простыни.  
На ветру сентября лист веет.

Это долгими разговорами  
Проезжает страну вагон.  
Это прячутся в смехе вороги.  
Это бег. Это смех и гон.

Редкий свет законный, станции.  
Дополняющий пассажир.  
Распечатанные квитанции.  
Пройден день. Ты его сложи.

Обернёшься наутро прожитым,  
Ожиданием новых дней.  
Только жизнь вопрошает: «Кто же ты?»  
И желает, чтоб стал ясней.

### Солнце как молодость старух

Так вот и катиться по рассвету,  
Подгоняя свой велосипед.  
К Солнцем освещаемому лету.  
Ехать мимо радостей и бед.

Пробудясь, природа по обочинам  
Веет, шелестит, стрекочет вновь.  
И пейзаж плывёт, ласкает очи нам,  
И кузнечик падает меж нот.

И почти никем не нарушаема  
И не оглашаема, заря  
Поднимает утро. И мешаешь сам  
В памяти с зарею декабря

Эту, восстающую июнями,  
По росе идущую жару.  
Пред её миллионом лет так юны мы,  
Что поймёшь и молодость старух.

И вот ты пройдёшь десятилетиями,  
А всего и было, что застать  
Это Солнце. Спросишь: «Сколько лет ему?»  
И уйдёшь сияющее молчать.

## Олег ИГНАТЬЕВ

*Москва*

\* \* \*

За мысом – сопредельная застава  
И, стало быть, вдоль берега не зря  
Проходят пограничники устало,  
За выступы цепляясь и скользя.

Сожжён июлем воздух. На граните  
Белеет птичий пух да кое-где  
Следы оборонительных укрытий  
Видны в бинокль на каменной гряде.

И тут железо с порохом навывет  
Землёю присыпало чью-то жизнь.  
Мне кажется, меня те годы кличут,  
Каким плечом я к ним ни повернусь.

Я уши не зажму. Я передёрну  
Затвор у автомата на ходу...  
А день слепит меня слюдой озёрной,  
И солнце жжёт, как только раз в году.

И ветер увивается за пылью,  
И ласточки не держат высоты,  
А складывают ножницами крылья  
И небо отсекают от воды.

\* \* \*

По краю озера – граница.  
Тупик согласия и раздора –  
Гектар воды.  
Весна. Солдатская зарница.  
Тропа защиты и дозора.  
Песок. Следы.  
Сыр-бор. Горючий, как живица.  
Чуть что – и вспыхнет! Но привычно –

Поймай поди! –  
Здесь птица вольная гнездится,  
Как будто верит безгранично,  
Что все – свои.

## Московская окраина

На трубе кочегарки – петух.  
Домоседства железная мета.  
Ржавый флюгер, всё время на юг  
Устремлённый хвостатой кометой.  
Прокопчённый диспетчер ветров,  
Краткий отдых транзитной вороны,  
Если выдохся дым, как ситро,  
Если бойлерщик ходит, как сонный,  
Или спит, прислонившись к стене,  
Сдвинув на ухо шапку по Сеньке,  
И нетрудно решить, что во сне  
Он идёт по своей деревеньке.

\* \* \*

Шумят, пошумливают ивы  
И взблёскивают на воде  
Полдневных высей переливы...  
Но где же лодка? Вёсла где?

Приметный след водою сглажен,  
Слепит глаза речная даль.  
Не лодки жаль. Бог с ней, с пропажей!  
Укравшего до боли

\* \* \*

Это чувство пришло из глубин  
Позабывших людьми сновидений:  
У того, кто дожил до седин,  
В жизни больше счастливых мгновений.

И ему, словно угли в золе,  
В небесах, что в ночи остывают,  
Как родне, заплутавшей во мгле,  
По-домашнему звёзды мерцают.

## Нон-фикшен

### Рустам МАВЛИХАНОВ

Родился в 1978 году в Салавате, Башкортостан. Учился в Башкирском госуниверситете. Работал в заповеднике, сюрвейером в инспекционной конторе, инструктором по туризму в экотуризме.

Публиковался в журналах и альманахах «Журнал Поэтов», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Балтика», «Сура», «Воскресенье», «Изысканная словесность», «ЛиФФт», еженедельнике «Истоки».

Живет в Салавате.

### СОБИРАЯ ПЛОДЫ

*Из триптиха «Страсти по Европе»*

*Homo fugit velut umbra*

*Человек исчезает как тень<sup>1</sup>*

(Слова на входе в университетскую часовню  
Св. Христа Доктрин в Алькала-де-Энарес)

Видное место на литературной карте России начала прошлого века принадлежит Василию Евграфовичу Чешихину-Ветринскому (1866–1923), историку русской и европейской литературы, переводчику, публицисту, краеведу, народовольцу и журналисту. И хотя родился Василий Евграфович в Риге Лифляндской губернии, большая часть его жизни связана с Нижним Новгородом (1903–1918).

Но главная загадка, которую он оставил своим потомкам, порождена далёкой Испанией...

Детство Василия Евграфовича прошло в интеллигентной семье. Его дед, Иродион Яковлевич, был профессором Санкт-Петербургской духовной академии, переводчиком (его перу принадлежит перевод первой песни «Энеиды» Вергилия) и поэтом; отец – краеведом, публицистом, издателем «Русского вестника», старейшего русскоязычного журнала в Прибалтике; брат – писателем, переводчиком (Гёте и Мюссе), музыкальным критиком (среди прочего он опубликовал фундаментальную «Историю русской оперы») и просветителем. Неудивительно, что и Ва-

<sup>1</sup> *Лат.* Homo fugit velut umbra, или *итал.* Passacaglia della vita («Пассакалья о жизни») – известное вокальное произведение XVII века, авторство которого приписывают итальянскому композитору Стефано Ланди.

сии Евграфович продолжил стезю своей семьи. Наиболее известен он кроме множества работ о русских литераторах XIX века переводом комедии нравов англо-ирландского поэта Ричарда Шеридана «Школа злословия». Намного менее известно о его интересе, переросшем в своего рода одержимость, к испанской поэзии позднего Средневековья.

Василий Евграфович окончил Рижскую Александровскую гимназию (с серебряной медалью) и физико-математический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета (примечательный факт: математический склад ума заставит его взяться за решение почти неразрешимой загадки; гуманитарная часть образования – найти ключи к ней). Как большинство образованных людей его эпохи, увлёкся революционными идеями и за участие в народнических кружках был выслан сначала в Ригу, после – в Глазов Вятской губернии (ныне – город в Удмуртии), где у него завязалась активная переписка, с одной стороны, с Максимом Горьким, с другой – с тем, кого Василий Евграфович в своих дневниках именует «отец С.» и кто познакомил его с псевдодионисийской традицией<sup>1</sup> общехристианской теологии (ещё один факт, чьё влияние скажется позже).

По окончании ссылки, после недолгого (1901–1903 годы) пребывания в Самаре, он осел в Нижнем Новгороде, где стал секретарём и фактическим редактором «Нижегородской земской газеты». Как землец вступил в 1905-м в Партию народной свободы, многим известную под названием кадетской; написал большую часть своих трудов (среди которых «Герцен», «Отечественная война 1812 года в родной поэзии», «Чернышевский») и в том числе монографию о выдающемся историкомедиевисте, заложившем основы научного понимания Средних веков в России, Тимофее Николаевиче Грановском. Работая над последней, Василий Евграфович как человек энциклопедического кругозора не мог не ознакомиться глубже со сферой научных интересов Грановского, среди которых были и история расцвета и упадка Испании при Габсбургах – «империи, над которой не заходит солнце», и Итальянские войны – первый конфликт общеевропейского характера, охвативший все страны от Шотландии до Турции. В своих поисках он встретил имя кондотьера, конкистадора и поэта, коими изобиловала та эпоха и которое было забыто в потрясениях бурного, под стать двадцатому, XVI века. Василий Евграфович отметил, что «первоначально не обратил на него внимания и предал бы его забвению вторично», если бы оно не всплыло в переписке с тем обществом, что сложилось вокруг Горького на Капри.

Здесь, в «литераторском центре богостроительства» (особого этико-философского течения в русском марксизме, развивавшемся Анатолием Васильевичем Луначарским и Владимиром Александровичем Базаровым), бывали Феликс Дзержинский, «цусимец» Новиков-Прибой, жили поэт и журналист Леонид Старк (Афгани; тот самый, кто в октябрьские дни 1917 года займёт телеграф и почтамп) и его жена, впоследствии библиотекарь Ленина, Шушаник Манучарьянц. К ней и обратился другой гость виллы «Спинола» – Михаил Коцюбинский, классик украинской литературы. Широкой публике он известен по поставленным по его произведениям фильмам «Подарок на именины»

<sup>1</sup> Псевдодионисийская традиция: Псевдо-Дионисий Ареопагит – неизвестный богослов V–VI вв., чьи труды о естестве Бога и его эманации оказали сильнейшее влияние на христианство (и православие, и католичество), особенно на исихастов на Востоке и таких мистиков Запада, как пантеистичные Иоганн Скотт Эриугена (IX в.) и Николай Кузанский, Пико делла Мирандола и др.

и «Тени забытых предков» («лучшая картина в мире, снятая до сих пор», как сказал Эмир Кустурица). Что интересно – и, скорее всего, является случайным совпадением с судьбами тех, о ком идёт здесь речь, – в финале картины Иван, главный герой, видит призрачные отражения Марички, своей погибшей возлюбленной, в воде и в лесу.

Коцюбинский много путешествовал. Он объездил едва ли не всю Европу – не только по зову души, но и из потребности в лечении: он медленно умирал от чахотки. И если Антон Павлович искал облегчения в ковыльных степях Башкирии, то Михайло Михайлович подался в просторы Иберийской Месеты – обширного, засушливого, малолюдного плоскогорья, с многочисленными замками (давшими имя стране – Кастилия) и полуразрушенными римскими виллами. В странствиях он познакомился с Мигелем де Унамуно, в ту пору – ректором университета Саламанки.

Последний, будучи баском по национальности, в одну из поездок на родину, в Бильбао, посетил долину Бастан на самом севере Наварры, у подножия Пиренеев, где в местечке Аriskун родился Педро де Урсуа, «губернатор» Эльдорадо. Его личность привлекла внимание философа и как жертва «испанского Иуды» – «гнева божьего» Лопе де Агирре (замечательно воссозданного Клаусом Кински в фильме Вернера Херцога), и как один из плеяды великих басков, лежавших в фундаменте славы Испании: Хуана Себастьяна Элькано, завершившего экспедицию Магеллана, Андреса де Урданеты, открывшего самый безопасный путь через Тихий океан к берегам Филиппин, Хуана де Гарая, основателя «Города Пресвятой Троицы и Порты Святой Марии Добрых Ветров» (Буэнос-Айреса), Игнатия Лойолы, основоположника «Общества Иисуса».

«Если баски, этот малый и загадочный народ, помогли кастильцам построить империю, то не нужно ли в их национальных чертах искать то, что поможет спасти Родину?» – отметил Мигель в гостевой книге в маленьком отеле на Берегу Храбрых, Коста-Брава (сын хозяина отеля сберёг автограф, спрятав книгу во времена франкистского террора).

Тут нужно пояснить, что после катастрофы 1898 года Испания впала в глубочайший экономический, политический и – главное – моральный, чуть ли не экзистенциальный кризис, сравнимый разве что с кризисом, поразившим Россию в 1990-х. Как и СССР в холодной войне, Испания потерпела унижительное поражение в скоротечной войне с США – несмотря на отчаянную храбрость пехоты, неделями сражавшейся в окружении на пляжах Кубы и Филиппин. Это была первая война, развязанная прессой (красочное изображение подрыва крейсера «Мэн» в газете Джозефа Пулитцера New York World позже послужило вдохновением для пропагандистских плакатов «Помни Пёрл-Харбор!» и «Помни 11 сентября»), первая война, запечатлённая на киноплёнку (пройдёт всего 93 года, и технологии позволят нам наблюдать бомбардировки в прямом эфире).

Нам в наследство от той войны достались коктейли «дайкири» (по имени местечка под Сантьяго-де-Куба, где янки высадились на остров) и стихотворение Редьярда Киплинга «Бремя белого человека». Испании же пришлось искать ответы на вопросы «что делать?» и «кто мы, откуда, куда идём?». И находить ответы: в возрождении поэзии, философии (что даёт и нам надежду на бронзовый век русской литературы), национализме, авторитаризме, анархо-синдикализме и социализме. Эти искания приводили пилигримов мысли на разные стороны баррикад, а заканчивались смертью на чужбине, расстрелом (националистами или республиканцами), примирением или резким конфликтом с новым режимом.



Однако, как и нам, испанцам, которых Пио де Бароха, ещё один выдающийся представитель Generación del 98<sup>1</sup>, изобразил в виде «пассажиров трамвая, входящих и выходящих из него, не знающих, куда и зачем они едут», гражданская война ещё казалась невероятной; Мигель де Унамуну ещё не мог знать, что всего через пару месяцев после начала мятежа правый генерал Хосе Мильян Астраи заткнёт его возгласом «Смерть интеллигенции! Да здравствует смерть!» (как окажется, навсегда: философ умрёт под новый год, во сне – итог его жизни показан в испано-аргентинском фильме «Mientras dure la guerra», «Пока длится война»); пока ещё над всей Испанией было безоблачное небо<sup>2</sup>, и Мигель, верховный жрец храма разума<sup>3</sup>, мог посвятить себя изучению эпохи испанской славы и её терций – такого же символа страны, как коррида и Саграда Фамилия.

Терции родились в плавильном котле Реконкисты – 800-летней эпопее войн за свою веру, окрашенных гордостью за своих пророков и свой народ и уважением к врагу (странно, но именно на стыке религий рождается взаимоуважение), воспетой, к примеру, в «Песне о моём Сиде» – одном из немногих эпосов, мало отступающих от исторической правды. Продолжившись естественным образом в конкисте, терции на полтора столетия стяжали славу непобедимых: невероятно стойкие в сражении, потрясающе упорные, с редким для эпохи терпением, «испанские дьяволы» наводили ужас на Амстердам, Париж и Лондон настолько, что это позволяло успешно снабжать войсками и припасами свои владения в Нидерландах сухопутным путём (море блокировалось английскими и голландскими пиратами) через далеко не дружественные земли в Альпах и Восточной Франции. Каждый солдат знал, что его жизнь находится в руках Господа, но его полк – бессмертен: его нельзя покорить, можно лишь истребить (известен эпизод, описанный в «Капитане Алатристе», когда французский офицер спросил умирающего испанского знаменосца: «Сколько вас было здесь?» – на что тот ответил: «Пересчитайте убитых – узнаете»).

Вот в таком соединении довелось строить свою судьбу на службе католическому королю и Хорхе де Урсуа – кондотьеру и поэту.

Хорхе приходился дядей (по другим источникам – кузеном) Педро де Урсуа, вероломно убитому своим заместителем, Педро де Агирре, в амазонской сельве. Значительная часть его жизненного пути связана с Итальянскими войнами, к тому же ещё в юности, отправившись пилигримом узреть новое чудо христианского мира – строящийся

<sup>1</sup> Поколение 98 года (исп.).

<sup>2</sup> ...над всей Испанией было безоблачное небо – En toda España el cielo está despejado, легендарный пароль к началу мятежа в Испании, переданный по радио утром 18 июля 1936 года.

<sup>3</sup> ...верховный жрец храма разума – из речи Мигеля де Унамуну 12 октября 1936 года в Университете Саламанки: «Генерал Мильян-Астраи – калека. Давайте скажем об этом без обиняков. Он инвалид войны. Как Сервантес. К сожалению, сейчас в Испании слишком много калек. И если Бог не внемлет нашим молитвам, скоро их будет ещё больше. И мне доставляет боль мысль о том, что генерал Мильян-Астраи будет определять психологию масс. Калека, лишённый духовного величия Сервантеса, он испытывает зловещее облегчение, видя вокруг себя уродства и увечья. Здесь храм разума. И я его верховный жрец. Это вы оскорбляете его священные пределы. Вы можете победить, потому что у вас в достатке грубой силы. Но вы никогда не убедите. Потому что для этого надо уметь убеждать. Для этого понадобится то, чего вам не хватает в борьбе – разума и справедливости. Я всё сказал».

собор Святого Петра, он влюбился в Италию – эту жемчужину Европы, это средоточие искусства и порока, – и не в последнюю очередь – в образ оказавшей ему покровительство в путешествии Катерины Сфорца, «львицы Романьи и тигрицы из Форли» (послужившей, кстати, реальным прототипом Моны Лизы), образ тем более прекрасный, что он не застал его носительницу в живых. Возмужав, Хорхе вернулся в Италию – сперва в качестве кондотьера (наёмника), в роли которого успел повоевать «за венгерское наследство» с янычарами Сулеймана Великолепного, а после перешёл на службу во вновь учрежденную в Ломбардии терцию, с которой прошёл поля баталий половины Европы – от войны Коньякской лиги до экспедиций в Тунис. Ему довелось как оборонять Ниццу от турок и Барселону от берберских пиратов, так и самому штурмовать города, крепости и корабли.

В перерывах между перемириями и кампаниями Хорхе с любознательностью *apasionado*<sup>1</sup> слушал лекции: юристов в Болонье, «князя гуманистов» Эразма Роттердамского при дворе своего короля (по совместительству – императора Священной Римской империи) Карла I (V), в чьей армии он охранял хирурга Филиппа Теофраста фон Гогенгейма (Парацельса) – и кто знает, не поделился ли с Хорхе этот великий алхимик секретом панацеи, полученным им в османском Константинополе от некоего Соломона Пфайфера (даже если последний и не дожил, как утверждают свидетели, до конца XVIII века, то Хорхе и на шестом десятке лет отличался завидным здоровьем, позволившим ему совершить путешествие через океан).

Тянувшимся уже 55 лет войнам, ставшим в итоге частью борьбы Испании и Германии с франко-турецким альянсом, не виделось конца. Все стороны выйдут из них ослабленными: король и последний настоящий император (то есть коронованный папой в Риме), разочаровавшись в идее объединить Европу, отречётся от всех престолов и уйдёт в монастырь, Франция покатится к религиозным войнам, а Италия останется разорённой и уже никогда не займёт место светоча мировой мысли. Однако все эти годы солдаты забирали из её горящих городов не только парчу и столовое серебро, но и жемчужины гуманизма, неся их за Альпы и высевая семена Северного Возрождения (собственно, и сформировавшего тот мир, который знаем мы).

Хорхе мог как ветеран терции продолжить службу во Фландрии, но предпочёл вернуться домой, взяв с собой трофей – Франческу Марию дель Васто, происходившую из боковой ветви пресекшегося рода маркиз-графов Салуццо (для нас будет любопытно, что эта династия по женской линии берёт начало от правнучки Ярослава Мудрого, а история одного из маркизов легла в основу сюжета о Гризельде<sup>2</sup>).

Юная Франческа покорила не столько силой, сколько молчаливой мудрости Хорхе, его верности и терпению – тем качествам, которые он унаследовал от своей терции. Он был очарован освежающим вольнодумством её мыслей – чего стоит только фраза из её письма: «О, если бы простые люди знали, как грешат мораль предрежающие!...»

По свидетельствам современников, девушка была очень миловидна. Она запомнилась им настолько, что, когда на мосту Святого Анже-

<sup>1</sup> *Apasionado* – страстный (исп.).

<sup>2</sup> *Гризельда* – образец супружеской покорности, послушания и преданности; она претерпевает жестокие моральные издевательства, которым её подвергает муж, но в итоге её терпение вознаграждается; фольклорный сюжет использовался многими – от Боккаччо до «Битлз» (песня «Golden Slumbers»).

ла отсекали голову знаменитой Беатриче Ченчи (отомстившей за надругательство над собой и после воспетой Перси Шелли и Юлиушем Словацким), многие, подозревая Хорхе в обладании панацеей и знании пути к источнику Жизни, считали, что казнямая и есть Франческа Мария – так они были схожи.

\* \* \*

«Эпиграммы Хорхе к Франческе напоминают мне стихи нашего великого Густаво Адольфо Беккера. Только вслушайтесь:

Когда коснулся Вашей тени,  
Я вновь уверовал в спасенье,  
Как в час безмолвия священный,  
Предавший Богу новый день,

– и сравните с этим:

Сегодня мне улыбаются земля и небеса.  
Сегодня в душе моей солнце, сегодня ушла тревога.  
Сегодня её я видел –  
Она мне взглянула в глаза.  
Сегодня я верю в Бога.

И почему-то мне рисуется образ “Девушки с жемчужной серёжкой”, хотя я отдаю себе отчёт в столетии, разделяющем картину и Франческу. Ещё это зашифрованное ритмическое (?) посланье (?) из баскских, испанских, латинских и арабских слов, образующих кресты (!) акrostихов (!)», – делился мыслями Мигель де Унамуно с молодым Хименесом, издателем журнала «Глобус». Хуан Рамон показал письмо Хуану Валера, писателю и дипломату, который, вспомнив о выдающейся математической школе в России (он служил посланником в Петербурге в начале царствования Александра II), посоветовал Мигелю связаться с русскими.

Как говорится, на ловца и зверь: в ту пору довелось проезжать по Месете Михаилу Коцюбинскому. Так, через его руки, через ту самую Шушаник Манучарьянц, через Капри копия «стихотворения» (будем условно называть его так) с пояснительными материалами, дневниками, письмами, реляциями попала к Василию Евграфовичу Чехину-Ветринскому. Он бегло ознакомился с ними и... забыл, будучи поглощён бурными событиями 1905–1907 годов; вспомнил, лишь когда столыпинские галстуки утихомирили стихию. В такие годы, отчаявшись искать справедливости на земле, обращаются к миру горнему. Вот и Василий Евграфович случайно (или нет) наткнулся в бумагах на гравюру из книги св. Иоанна Креста (Хуана де ла Крус) «Восхождение на гору Кармель», изображавшую путь души к высшему созерцанию как узкую тропу между делом, словом, славой, силой и т. д. и т. п., что сразу навяло ему аналогии и с суфийскими мистиками, и с псевдододионисийской традицией («Превыше Божественного света лишь Божественная тьма», – сказал Ареопагит в золотой век Византии), знакомой ему по переписке с упомянутым нами в начале статьи «отцом С.». Помимо прочего, слова о том, как «три добродетели усовершенствуют три области души и как устраивают мрак и пустоту в этих областях», что «вера является для души “тёмной ночью”», как нельзя более

перекликались с нынешним состоянием Василия Евграфовича, побудив его взяться за работу в надежде войти в «О воистину блаженная ночь, в которой соединяется земное с небесным, человеческое с Божественным!» (из поэмы, написанной Хуаном в заточении).

(Тут следует сделать небольшое отступление и помочь читателю вспомнить, откуда он знаком с именем Хуана де ла Крус, заслуженно названного Доктором Церкви. Когда святой был схвачен кармелитами, заточён в монастыре под Толедским алькасаром (и тем заново освятил его, что иносказательно отобразил на полотне Эль Греко<sup>1</sup>) и подвергнут пыткам (да, в любой церкви всегда идёт борьба, и далеко не всегда за материальное), один из охранников принёс, по просьбе Хуана, лист бумаги, и он нарисовал свой образ Христа – в необычном ракурсе, словно на Него смотрит Дух или Отец. В наше время этот рисунок лёг в основу картины позднего, «ядерного», Дали, которая так и называется: «Христос Хуана де ла Крус». Архив святого был спасён в начале гражданской войны южноафриканским поэтом Роем Кэмпбеллом, автором «Теологии Бонгви»: он дал обет Иоанну перевести его стихи, если тот поможет защитить семью Роя.)

Тем более странным показалось Василию Евграфовичу то, что на оборотной стороне листа с гравюрой обнаружилась калька с какой-то карты с названиями поселений (Агуас Кальентес, Эль Энканте, Шкалачецимин и др.), причём часть их была помечена как «здесь есть исконные воды», а от других тянулись стрелки к строкам написанного рядом стихотворения то ли алхимического, то ли «геологического» содержания. Ниже некто неизвестный оставил пояснение, что «как святой Хуан подсказал нам путь к спасению души, так эта карта поможет найти путь к источнику вечной молодости, в саду, на востоке», что она в точности, без искажений, за что комментатор ручается своей честью, срисована с карты, прилагавшейся к «Тринадцатому сообщению» Фернандо Альвы Иштильшочитля (автора фундаментальных трудов по истории тольтеков и других мексиканцев), составленной по приказу вице-короля Новой Испании Луиса де Веласко и прокомментированной «благородным доном Хорхе, сыном Хорхе, братом губернатора Эль Дорадо де Урсуа, да простит его Господь».

Загадки нарастали. Намечалась даже путаница в именах. После недолгих изысканий в публичной библиотеке Василий Евграфович понял, что на карту нанесена местность на Юкатане и в Петене (совр. Гватемала), а под «исконными водами» подразумеваются, видимо, священные сеноты (природные колодцы в карстовых провалах), считавшиеся вратами в Шибальбú, царство мёртвых. Но если связь молодости, жизни и смерти у краеведа, знакомого с мифологией поволжских финно-угров, удивления не вызывала, то содержание рифмованного комментария заставило его содрогнуться.

Дело в том, что стихотворение оказалось одновременно и любовной лирикой, и... инструкцией: как увидеть тропы будущего в плоти настоящего. «Как в наших сказках ведунья смотрит в чашу с водой, так они смотрели в море крови в грудной клетке, – писал Василий Евграфович в Саламанку. – Они соединили ацтекские навыки извлечения сердца, европейские металлы – и получили ритуал-франкенштейн! Самая безобидная строка здесь – “Рдеющей (то есть раскалённой) медью целовать в губы”. Ужас!»

<sup>1</sup> Имеется в виду картина «Толедо в грозу» (1596).

Мигель де Унамуно посоветовал не спешить с выводами и взглянуть на комментарий как на натальную карту: ту же медь на губах прочитать как Венеру в Тельце, семя, залитое оловом, – как Юпитер в Скорпионе, и т. п. В ответном письме Ветринский выслал два варианта расшифровки, сохранив в обоих астрологическую составляющую. Первый вариант, «инструкцию», мы привести не можем по этическим соображениям, но со вторым, лирическим, подаренным Василием Евграфовичем своей возлюбленной Марии Дмитриевне, ознакомим читателя:

Волос твой источает железо,  
Медью рдеет искус твоих губ.  
В терпкость влаги весеннего леса  
Гулкой нотой вливается дуб.  
Сердце рвётся куском красной ртути,  
Предвкушая оплавленный год,  
Звёздной бритвой раскроенной сути  
Подносящий запретный нам плод  
(Будто он отлучался на время,  
Будто знал, закаляя булат,  
Как под оловом скрытое семя  
Вспыхнет ярче золотых царских врат).  
Пусть сурьмы мои мысли чернее,  
Пусть свинцов в бронхах след от ребра,  
Кто из вас возразить мне сумеет –  
Крови, пьющей фонтан серебра?<sup>1</sup>

(Для облюбовавших курорты Канкуна читателей, если таковые здесь имеются, будет интересно пояснение Василия Евграфовича: «При наложении полученной натальной карты на карту Юкатана, с разворотом их на 180 градусов относительно друг друга, то есть так, чтобы Весы указывали на бухту Четумаль, искомый источник вечной молодости окажется в точке центра масс фигуры, обрисованной пересечениями медиан треугольников, образованных гармонично взаимодействующими (в астрологическом понимании) планетами обеих октав. Выделенный скобками фрагмент в построении учитывать не следует. Если мои вычисления верны, то “колодец жизни и смерти” находится в глубине Петена, где-то там, где отмечен Тайясаль. Это же тот самый город, который испанцы сумели захватить лишь через 170 лет после Кортеса?»)

Для тех же, кто не готов отправиться в экспедицию в джунгли Гватемалы и Мексики, продолжим повествование.

Загадки Хорхе де Урсуа увлекли Василия Евграфовича, да и сам он разменял пятый десяток – пора было думать о роднике живой воды. Он даже стал искать по окрестным губерниям озеро, если не похожее на Петен-Ица, то заключающее в себе «мотив сенота». Очевидный вариант – Светлояр – его не удовлетворил, как и Морской Глаз в марийском краю, как и озерко цвета гривы сказочного татарского коня у Сергиевска в Самарской губернии. Впрочем, с последним понятно – оно серное. Наконец, поиски увенчались наградой: Вадским. Кристально чистая, ледяная вода (что само по себе редкость в средней полосе), но главное – мощный поток, бьющий из бездны в центре и превращающий гладь

<sup>1</sup> Астрологические соответствия: железо – Марс, медь – Венера, ртуть – Меркурий, золото – Солнце, олово – Юпитер и само Небо, свинец – Сатурн. Сурьма – «мирской» металл, Земля.

Марс, Венера, Меркурий – планеты низшей октавы, Юпитер и Сатурн – высшей.



в выпуклую линзу, подобную осколку гигантского хрустального шара, из глубин которого будто вглядываются в будущее неведомые племена.

Ветринский приобрёл дачу на берегу, где стал проводить много времени.

«Приезжал Мих. Мих. (Пришвин. – *Прим. авт.*), – писал он в дневнике октябрьским днём 1909 года. – Путешествует по Заволжью. Показывал наброски книги о “граде невидимом”. Спорили о судьбах революции. Кажется, над Россией теперь навсегда “тень Люциферова крыла”. Гуляли берегом. Разговор зашёл об ужасном конце Мессины, и тут он обратил моё внимание на необычное отражение и без того кровавого заката в озере: словно предки, сказал он, сулят нам неслыханные перемены, невиданные мятежи...»

Эта случайная фраза укрепила Василия Евграфовича в решимости продолжать расследование. К тому же пришло новое письмо из Саламанки, в котором Унамуньо сообщал, что картографическое чутьё не подвело «моего русского друга», что, действительно, в указанной точке находится древний город, только не Тайясаль, а Тикаль, не замеченный Кортесом во время похода 1524 года и открытый лишь в 1850-х годах, что Хорхе де Урсуа мог от индейцев слышать о нём и о замечательном символе, воплощённом в архитектуре Тикаля, и что данное открытие объясняет смысл эпиграммы «Когда коснулся Вашей тени...»

Сегодня, когда нам дано читать письма майя, мы можем убедиться в верности догадки философа: эпитафия в заупокойном храме Хасав-Чан-К’авиия, правившего Тикалем в VIII веке, гласит, что он страстно любил жену, Иш-Лачан-Унен-Мо, и построил в честь неё храм напротив своего. И теперь дважды в год, когда день и ночь равны друг другу, восходящее солнце окутывает тенью его храма храм его жены, а храм жены шлёт ответное прикосновение храму мужа на закате. И так – уже 1300 лет – влюблённые, оставив тени своих усыпальниц взамен собственных теней, ушедших из-под Солнца живых, касаются друг друга сквозь небытие.

Возможно, этот мотив навеял Хуану Рамону Хименесу знаменитое «*Renaceré yo piedra, // y aún te amaré mujer a ti...*» («Вернусь я на землю камнем // и вновь полюблю тебя женщиной... // Вернусь я на землю волною // и вновь полюблю тебя женщиной») – поэт так же страстно любил свою жену, прожил с нею сорок лет, тоже не смог пережить её смерти и ушёл за возлюбленной в майский день 1958 года.

\* \* \*

Так неужели Хорхе был первым европейцем, увидевшим город, поглощённый джунглями? Неужели он нашёл путь к Роднику Жизни сквозь гиблые леса, между озёр, где находятся врата в Шибальбу – не только мистический потусторонний мир с Домом летучей мыши или Домом обсидиановых ножей, но и вполне реальное царство смерти, похожей, судя по описанию («владыки боли заставляют людей рвать кровью или сжимают их горло так, что их глотки наполняются кровью»), на переносимую рукокрылыми обитателями пещер геморрагическую лихорадку вроде Эболы?

Проследуем его тропой?

\* \* \*

Франческа вдохновляла Хорхе. Иначе и быть не могло с такой разницей в возрасте, когда старость не использует молодость для самоут-



верждения, а поёт свою лебединую песню. Её советы были не по годам мудры, а поведение переменялось в разумную сторону – сдержанность на людях, смирение на мессе, тщательно подобранная исповедь (в этом сказывался итальянский опыт). Преобразился и он: из циничного боевого офицера, кутившего с братьями по терции (или терпевшего жажду и голод наравне с ними), причащавшегося и убивавшего, он стал – в церкви и при дворе – идалго «с жёсткой верхней губой» (англичане, когда придёт их черёд править миром, позаимствуют эту манеру у своих врагов, придумывая образ джентльмена). Ему хотелось одаривать её: ферроньера<sup>1</sup> с крупной жемчужиной, золотой жазеран<sup>2</sup> с «рубинами» из Альмадена<sup>3</sup>; когда Франческа, желая подарить наследника супругу (они обвенчались в Сантьяго-де-Компостелла, куда девушка давно хотела совершить паломничество), попросила зибеллино<sup>4</sup> из непорочного зверька (то есть рожавшего через рот, по представлениям того времени), Хорхе не поскупился на соболя из глубин Великой Тартарии.

Но больше того хотелось свершений. Того, что можно бросить к её ногам, и, наконец, зажить спокойно и счастливо. Другой отправился бы на одну из бесчисленных войн во славу короля и веры, но и Хорхе, и Франческа всю свою жизнь видели, что чести в войне мало, а грязи и подлости – много. Она бы и не отпустила его в охваченную чумой, французской заразой<sup>5</sup> и ненавистью Европе.

Оставаться в Испании... было душно. Поток золота из Перу размывал здание государства, разорял ремесло и хозяйства крестьян и утекал дальше, к врагам веры (так изощрённо вершилась справедливость: Америка уничтожала завоевателей тем, что исполняла их мечту) и в аугсбургский дом Фуггеров, уже прибравших к рукам ртутные озёра Альмадена. Чем хуже шли дела внутри страны, тем больше инквизиция превращалась из органа исправления заблудших в приспособление для конфискации, которое могло в любой момент припомнить общение с алхимиками и заинтересоваться слухами об обладании Хорхе философским камнем.

Новый Свет! Даже в названии этой части мира звучало что-то, напоминающее о Новом, небесном Иерусалиме. К тому же – золото... ласковое, как осенняя Месета, через которую гонят овец, манящее, как очертания родных берегов в рассветной дымке, совершенное, как перезвон колоколов кафедрала... Уехать, занять огромные, пустые, без печати греха земли, принести Благую весть дикарям, выстроить рай, как пытался отец Бартоломе сорок лет назад в Венесуэле, пока немецкие конкистадоры<sup>6</sup> не подняли против него на мятеж индейцев.

<sup>1</sup> Ферроньера – украшение в виде цепочки или ленты с драгоценным камнем, надеваемое на лоб.

<sup>2</sup> Жазеран – золотая цепь с камнями, укладываемая вокруг стоячего воротника.

<sup>3</sup> ...с «рубинами» из Альмадена – кристаллическая киноварь, минерал ртути; Альмаден – рудники в Ла-Манче, где ртуть добывалась как минимум со времён Рима.

<sup>4</sup> Зибеллино – аксессуар из шкурки соболя (*лат.* Martes zibellina).

<sup>5</sup> Французская зараза – сифилис, одна из величайших эпидемий, главная причина смертей в эпоху Возрождения; была принесена моряками Колумба из Америки и вспыхнула в 1494 году, в самом начале Итальянских войн; французская армия, бежавшая от внезапной эпидемии из Неаполя, вынесла болезнь за Альпы; в 1497 году достигла Литвы (Быхов), в 1512-м – Японии; лечилась (успешно) ртутью из астрологических соображений.

<sup>6</sup> Немецкие конкистадоры – в 1528 году банковский дом Вельзеров получил в счёт долгов императора Карла колонию Klein-Venedig («маленькая Венеция», Венесуэла); спустя три десятилетия колония была конфискована по причине неэффективного управления, а также потому, что администрация колонии так и не крестила местных индейцев.

Такие картины рисовались Хорхе де Урсуа, когда он сопровождал Доминго де Сото, духовника императора, отпущенного последним домой, из Германии на хунту<sup>1</sup> в Вальядолид. Отец Доминго рассказывал о своём брате по доминиканскому ордену Бартоломе де лас Касасе, как тот, живя в Индиях, услышал проповедь другого брата, гневно обличающую обывателей в нехристианском отношении к индейцам, как он посвятил себя делам туземцев, как вопрос был вынесен на решение почившего в прошлом году папы Павла III, и понтифик раз и навсегда буллой «Выше Господа» постановил, что «индейцы Запада и Юга» имеют неотъемлемое право на свободу, собственность и мирное принятие истинной веры. Но господин из гуманистов де Сепульведа, к несчастью – воспитатель инфанта Филиппа, сеет смуту: он, взывая к авторитетам Аристотеля и Анджело Полициано, придворного гуманиста Медичи, утверждает, что грешное поведение индейцев свидетельствует о порочности их природы и неспособности к человеческому мышлению, что города они строят, руководствуясь инстинктами, подобно муравьям, а потому должны быть обращены в рабство любой ценой, ибо это – единственный разумный выход.

Да, добавим мы, никогда конкиста не была единым валом, в одержимости и жажде сметающим цивилизации, – у неё были свои изверги и свои святые. И как часто, как мы сумели убедиться за прошедшие 500 лет, идеи гуманизма топтали человечность: что в эпоху Просвещения, что в XX веке – столетии «двух крестов».

В дороге к ним присоединился отрок из Полонии, виконт какого-то княжества, с воспитателем и без охраны. Хорхе увидел в нём себя в молодости, тем более что Вацлав (так его звали) являлся протеже польской королевы Боны Сфорца<sup>2</sup>, племянницы донны Катерины, тоже покровительствовавшей его паломничеству в Италию. Отец Доминго обратил внимание на свет неистойой, хранящей их от разбойников и прочих опасностей, веры в глазах Вацлава: «Годы сделают из него или мудрого инквизитора, или жестокого ересиарха. Да простит его Господь!»

К возвращению домой у Хорхе созрел план: отправиться в Новый Свет, обосноваться там и вызвать Франческу Марию. Трудности не пугали. Напротив, вдохновляла слава великих аделантадо, первопроходцев, даже путь капитан-генерала Альвара Нуньеса Кабесы де Вака, после кораблекрушения прошедшего – в сопровождении трёх спутников, исцеляя больных и обретая почёт «сына солнца», – две тысячи лиг от Флориды до Сьюдад-Мехико.

Он уладил дела, купил дом с имением в Гранаде, в местности со здоровым климатом, составил у нотариуса завещание, которое следовало привести в действие при отсутствии известий или получении условного послания, купил снаряжение – одежду, сбрую, колесцовый пистолет (кстати, единственное изобретение Леонардо, признанное современниками), другие мелочи – и нежно попрощался с женой в Севилье, указав ей, в случае если понадобится помощь и совет в ведении дел, обращаться к отцу Доминго. Как она вспоминала, в ночь перед расставанием на город обрушился ветер, и наутро все улочки, паперть собора и берег Гвадалквивира были усыпаны лимонными бутонами.

В ту ночь она зачала.

<sup>1</sup> Хунта – собрание.

<sup>2</sup> Бона Сфорца – жена польского короля Сигизмунда Старого (1506–1548), королева польская и великая княгиня литовская в 1518–1556 годах.

\* \* \*

«Де Сото – представитель выдающейся школы католических экономистов, сложившейся при университете Саламанки, – выписал Василий Евграфович в дневник. – Они сформулировали теории паритета покупательной способности, свободного рынка, спроса на деньги как таковые и многие другие. Лишь потом их открытия переняли буржуазные экономисты Англии и Франции. Значит ли это, что в шифровке Хорхе де Урсуа содержится то самое “условное послание” или иное предписание финансового характера? Или здесь снова три разных прочтения? А если разбить на строфы по три строки? И не “омыть пророчицу (сибиллу) кислотой”, не алхимия, а...»

«Да, этот ключ подошёл, – записал он через день. – Третья строка закрывает строфу и одновременно открывает следующую. Как будто бы любовная элегия:

Твой образ я вижу. Ты – утра опал,  
Умывший Севилью лимонным дождём  
Мадонны Небес в ожерелье глазниц. (или зеркал?)  
Мадонны Небес в ожерелье зеркал  
Алтарь, и пред ним – ты, рождённая сном (рождённая во сне?)  
Наяда, чьи губы – ртутный рубин. (?)»

Мадонна в ожерелье... Станный для католика образ. Я чувствую, что вот-вот пойму его, когда вглядываюсь в зеркало Вадского – моего – озера. И порой мне кажется, что с той стороны, заглядывая в другое озеро, лежащее в “стакане” грубых известняковых скал, стал вглядываться в меня он – Хорхе де Урсуа, пятый аделантадо Эльдорадо».

\* \* \*

Отплыв из Сан-Лукара, к маю флотилия достигла Америки. По пути она заходила в лагуну Маракайбо – забрать забытых немецких колонистов из Нового Нюрнберга (тех, о ком лас Касас писал: «Немцы хуже самых диких львов. Из-за своей жадности эти дьяволы в человеческом обличье действуют гораздо кровавее своих предшественников»). Ночью небо на юге озарилось частыми вспышками света, началось светопредставление, продолжавшееся до рассвета. «Как маяк, зовущий к новой жизни, – писал Хорхе в первом письме Франческе с другого берега океана. – Это чудо зовётся молниями Кататумбо, поведал мне капитан дон Густаво, и бьют они постоянно. Воистину, нерукотворный маяк Господень, указывающий, что мне нужно на юг!<sup>1</sup>»

Мы не знаем точно, сколько времени он провёл в Нуэва-Испании<sup>2</sup> – но, по всей видимости, достаточно, чтобы поучаствовать в подавлении мятежа конкистадоров, познакомиться с науатль (языком ацтеков) и с кодексами (книгами мезоамериканцев) с помощью брата-францисканца Бернардино из Саагуна (он заваривал пиноле из белого майса, приговаривая, как заклинание, как молитву: «Я делаю пиноле. Я делаю пиноле

<sup>1</sup> ...молниями Кататумбо ...маяк Господень, указывающий, что мне нужно на юг! – Если провести прямую линию от горловины лагуны Маракайбо через молнии Кататумбо и продолжить дальше, то она укажет точно на Серро Отаре (910 м) на северной окраине Чирибикете между реками Гуавьяре и Какета.

<sup>2</sup> Нуэва-Испания – Мексика и окрестные страны.

из чиа. Я разливаю пиноле. Я готовлю пиноле»); и достаточно для того, чтобы совершить поход в Юкатан и составить лоцию к описанной выше карте. Где-то там же ему было видение, определившее дальнейший путь.

В Новом королевстве Гранада (в нынешней Колумбии) пришла радостная весть из Гранады Старой: у дон Хорхе родился наследник – со-боль всё же помог. Крестили, как и обговаривали когда-то, Хавьером – в честь Франциска Ксаверия, просветителя Китая, но не в последнюю очередь – в честь самой Франчески. Письмо успокоило и позволило с удесятёрёнными силами заняться подготовкой экспедиции.

Хорхе сдружился с правителем страны Гонсало Хименесом де Кесадой (вероятно, на него намекал Сервантес, указывая, кто стал прототипом бессмертного идадьго). Этот муж отличался добрым нравом, а потому пережил большинство покорителей Америк. Изумруды, собранные завоевателем земли чибча-муисков, изумляли и радовали сердце: казалось, в них, как комары в янтаре, увязли искры света Творения, а похожие на мельничные крылья *trapiche*<sup>1</sup> напоминали одновременно и о Любви, что движет солнце и светила, как если колесу был придан ровный ход<sup>2</sup>, и о видении Иезекииля<sup>3</sup>. И это был знак – из тех, что откряываются землепроходцам и никому другому.

Радовали и гости: как-то их посетили Родриго де Кирога с женою – выданной за него по приказу короля Инес де Суарес, любовницей Вальдивии и амазонкой, спасшей Сантьяго-де-Чили от дикарей-мапуче. Удивительно, но брак оказался удачным: прожив тридцать лет, супруги скончались в один месяц. Чили было небогатой страной, поэтому чета осторожно выразила заинтересованность в результатах похода.

Вот их троих (Гонсало, Родриго и Инес) Хорхе де Урсуа и назначил своими душеприказчиками – распорядителями нажитого в Индиях имущества: если он не вернётся или если его спутники не принесут известий от него по истечении трёх сезонов дождей, бумаги и деньги следует выслать его супруге Франческе и отцу Доминго де Сото.

Экспедиция должна была выйти из Санта-Фе-де-Богота, пересечь Пáрамо-Сумапас, спуститься в льяносы (прерии) по Рио-Мета до Ориноко, после чего повернуть на юг, в Лес. Официальной целью было объявлено Омагуа, Эльдорадо. Неофициально – с одобрения Кесады – Урсуа должен был проникнуть в страну плоских гор (тепуи) Чирибикете. Именно туда вело его видение.

Хорхе был энергичен как никогда. Он не сомневался в удачном – так или иначе – исходе предприятия и заражал уверенностью всех, изъясвивших желание пойти с ним за золотом и самоцветами. Словно там, на Юкатане, он сбросил груз прожитого и вновь обрёл радость, незамутнённую мудростью.

В начале сухого сезона долину Боготы покинули 50 испанцев и 4 священника в сопровождении 300 туземцев и 800 лошадей и мулов.

Больше их никто не видел.

<sup>1</sup> *Trapiche* (исп. жернов) – сросшиеся по шесть и более кристаллы изумруда.

<sup>2</sup> ...Любви, что движет солнце и светила, как если колесу был придан ровный ход – Данте, окончание «Божественной комедии» (неточная цитата).

<sup>3</sup> Видение Иезекииля: «...И вот, бурный ветер шёл от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня... Вид колёс и устройство их – как вид топаза, и подобие у всех четырёх одно; и по виду их и по устройению их казалось, будто колесо находилось в колесе. А ободья их – высоки и страшны были они; ободья их у всех четырёх вокруг полны были глаз».

\* \* \*

Василий Евграфович закончил расшифровку 28 июня 1914 года<sup>1</sup> и написал в дневнике: «Срочно уезжать отсюда. Что-то ужасное чудится в озере. Словно вода жизни в одночасье превратится в свою противоположность. И закаты, отражающиеся в нём, всё багровее».

«Дорогой Мигель! Высылаю Вам предварительный итог нашей работы. Как я уже писал ранее, в ребусе известного Вам сеньора каждую строфу следует членить третьей строкой на две строфы. Похоже, это тоже карта – географическая? Или карта некоего тела, первопредка, которого следует принести в жертву, чтобы будущее стало настоящим? В любом случае её ключевые точки образуются пересечениями выделенных вертикальных и горизонтальных строк. Схему прилагаю».

Письмо успело пересечь Европу до начала Великой войны – «неслыханных перемен», напроороченных Блоком и увиденных Пришвиным.

\* \* \*

«В Великую среду, после мессы, я вышел к берегу озера, на котором стоит город, к развалинам храма злых язычников. Я присел на камень этого храма и смотрел на восходящую луну, отражавшуюся в водах. Внезапно я ощутил себя молодым, полным сил мужем. Я был спокоен, словно только что плотно поел мяса. Вдруг луна стала приближаться, увеличиваясь в размерах. Потом она превратилась в Деву Марию в огненных одеждах, как неопалимая купина. Она сказала, что у меня сердце ягуара, – и я почувствовал золотую шерсть, покрывающую меня. Я ощутил ловкость, спящую в руках и ногах. И тогда я понял, что я тот Ягуар, о котором рассказывал брат Бернардино и который съел четвёртое солнце, и потому я чувствовал сытое блаженство. И тогда, чтобы съесть меня, из огня луны вынырнула синяя Змея. Она поглотила меня, как кит Иону, и понесла сквозь вечность. Я видел много странного. Я видел двух змей, между пастей которых было озеро словно звезда. Я видел женщину, раскинувшуюся до края горизонта. Я шёл по ней и смотрел, как она порождает существ и ужасных, и прекрасных, и чистых, и нечистых. И все те существа были любимы ею, хотя некоторые из оных впивались в плоть её, и люди среди них. И женщина была Змея.

И в то же время я видел обычный мир. Он был сложен из жёстких, острых узоров. Глаза на листьях деревьев смотрели в мир, как глаза Колесницы Иезекииля. И вновь меня поглотила Змея, и понесла, и изрыгнула к трону. На троне сидел человек в царских одеждах и с одной ногой.<sup>2</sup> Он говорил со мной. Я отвечал ему. Он предлагал всё золото страны. Я читал символ веры. Тогда он достал зеркало из радужного дыма и показал меня в нём. И я увидел себя, глядящего на себя с той стороны смерти, но не ужаснулся. И тогда из зеркала двумя языками полилась вода. И я понял, что муж на троне – это мой брат, близнец и противник. Я сражался с водой и был бы повержен, но тут вспыхнуло пламя, и я распался на четыре стихии-птицы. А пятой птицей было время.

И тогда я понял, что я распят, и распятие моё – весь мир. И что я – их главный бог, именем Кецаль-Змей, и что мною он принял Святое Крещение. И что я должен проникнуть в сад, что на востоке, и вынести семена древа. Потому что я, Человек, хранитель этого мира».

<sup>1</sup> Дата убийства эрцгерцога Франца Фердинанда.

<sup>2</sup> На троне сидел человек в царских одеждах и с одной ногой – Тескатлипока; мифология поздних майя и ацтеков.



\* \* \*

Франческа Мария дель Васто-и-Урсуа прожила долгую, спокойную жизнь. Хавьер, зачатый в бурю сын, выбрал духовное поприще. Эпидемии, бунты, репрессии, бури, землетрясения словно чурались местности, в которой стоял её дом с видом на снежно-белую Сьерра-Неваду, откуда ветер порой доносил аромат алеппских сосен и неясные, похожие на «Ave» песни. После смерти крестьяне стали тайно почитать её как заступницу перед Царицей ангелов.

\* \* \*

В 1923 году среди бумаг Василия Евграфовича было найдено стихотворение, посвящённое жене, Марии Дмитриевне:

Твой образ я вижу. Ты – утра опал,  
Омывший Севилью лимонным дождём

-----  
Мадонны Небес в ожерелье зеркал

-----  
Алтарь, и пред ним – ты, рождённая сном  
Наяда, чьи губы – альмаденский лал<sup>1</sup>.  
Твой образ – Мадонны небесный опал,  
Отблеск зари у лимонных морей

-----  
Над чёрною водою бездонных зеркал

-----  
Утренней дымкой весенних дождей  
Я, бриг без руля. Ты – девятый мой вал.  
Солью покроет эспады металл  
Пасынка Родины в дальнем пути

-----  
Ангелов грозных, дымящих зеркал

-----  
Снами в бутоны лимона вплети  
И – облаков андалузских опал.

Р. С. Несколько лет назад в джунглях Колумбии, к югу от Гуавьяре, было открыто гигантское, 12-километровое панно с наскальными рисунками, которое за величие и красоту называли Сикстинской капеллой древних. В 2019 году археологи обнаружили в узком, в метр шириной, проходе между скал останки человека в испанских доспехах XVI века. Он лежал на спине, погребённый лишь нанесённым песком и опавшей листвой. Его руки были сложены на груди, словно обхватывая и поддерживая растущее из её центра деревце сейбы. На вид будущему великану Леса не более семи лет.

1

Лал – рубин.



## Публицистика

### Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, философ, писатель. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор пятнадцати книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа, «Записки о русском» (Н. Новгород, 2020). Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

### ТРУДНЫЙ ПУТЬ СБЛИЖЕНИЯ?

#### Истоки социализма – в идеях христианства

Россия вновь на историческом перепутье. Насильно привитая, чуждая ей идеология либерализма – свободного рынка – европеизма меркнет на глазах, развеивается как болезненный морок. Военная операция на Украине стала мощным катализатором этого процесса. Бывшие «иконы» либеральной идеологии становятся иностранными агентами, эмигрантами, поносящими родную страну из-за границы, либо спешно «переобучаются» с той или иной степенью профессионализма и убедительности.

Предшествовавшая ей коммунистическая идея по-прежнему остается в тени, весьма бледно представленная компартией, существующей номинально где-то на политических задворках и вполне своим местом удовлетворенной.

Идеологическое поле, очищенное от коммунизма и либерализма, не может оставаться пустым. Преодоление духовного и культурного кризиса диктует необходимость обращения к корням, и в первую очередь к истокам религиозным. И в стране идет церковное строительство, храмы и монастыри стали привлекать массы людей. В бурную эпоху разрушения и созидания важно понимать направленность и смысл этих процессов.

Дополнительным поводом к размышлениям выступила недавняя отставка и перемещение митрополита Илариона (Алфеева). Он занимал важный пост начальника отдела внешних сношений Русской православной церкви, то есть своего рода министра иностранных дел РПЦ и начальника всецерковной аспирантуры. Неслучайно его воспринимали одним из наиболее вероятных претендентов в будущем на пост патриарха. При этом бросалось в глаза отсутствие обычной формулы в сообщении об отставке с поста митрополита Илариона. Обычно подобные кадровые

перестановки сопровождаются извещением, в конце которого следует фраза о благодарности за работу на прежнем месте. В данном случае такой формулы не было. Нельзя не заметить и то, что новое место служения митрополита явно не играет большой роли в православной жизни. Он становился митрополитом Будапештским и Венгерским и одновременно выводится из состава Святейшего Синода. Понятно, что собственно православных в Будапеште и Венгрии исчезающе малое количество. Даже из сказанного видно, что недавний влиятельнейший в церковной иерархии человек становится малозначимой фигурой.

Что же ставилось в вину митрополиту? Из массы весьма туманных сообщений можно было сделать вывод о том, что митрополит Иларион оказался слишком близок либерализму, европеизму и католицизму. Отсюда вывод: Церковь находится в поисках своего смысла, митрополит Иларион и его перемещение-смещение есть проявление этого процесса.

В чем состоят грехи либерализма, европеизма – американизма и католицизма с точки зрения православных? Это сребролюбие, излишняя терпимость к униатству, протестантизму, сектантству, ЛГБТ-сообществу. Все указанные грехи сегодня очевидны и предельно неприятны православным людям. Про секс-извращенцев написано достаточно, и эта тема не требует дополнительных толкований. Возникновение и уход украинской церкви от Русской православной церкви и Московского патриархата также довольно болезненно воспринят русским православием. Про католицизм достаточно вспомнить то, что римский папа объявлял в 1147 году крестовый поход на Русь и славян. А в четвертом крестовом походе в 1204 году руководимые якобы христоролюбивыми соображениями крестоносцы не стали воевать в Палестине, а вместо этого захватили Константинополь и разграбили Византию, захватив ее огромные богатства, которые и обеспечили дальнейший экономический подъем Европы. До сего дня в Венеции на соборе святого Марка (а до того на Дворце дожей) стоит знаменитая квадрига – четверка коней из Византии. Как видим, европейские христиане-католики нисколько не стесняются свидетельств этого исторического ограбления и своей безудержной алчности.

Византия возродилась в 1261 году и жила до завоевания ее мусульманами. Когда Мехмед-завоеватель вошел в Константинополь, то был настолько поражен его красотой, что от восхищения плакал. Он приказал своим воинам вернуть награбленное и постарался сохранить красоту города, конечно так, как он ее понимал. Подобного мы не видели у крестоносцев-католиков. Уникальные произведения ювелирного искусства они переплавляли в слитки золота и серебра для удобства вывоза. Забыть обо этом историческом преступлении Запада невозможно и сегодня. В этом отношении Русская православная церковь традиционно понятна и, видимо, правильно сориентирована своими руководителями.

Однако традиционализм Русской православной церкви сегодня этим не исчерпывается. В чем же состоит сегодня основное русло русского православия? Совершенно явно это основное русло включает и анти-советизм, и монархизм. И эти черты не могут не вызвать естественного удивления. Разве не русские императоры отменили патриаршество, были влиятельными европеизаторами, превратили церковь в чиновный отдел государства, были замешаны и виновны в крови своих отцов, своего народа? Например, возведение на пьедестал Александра I старательно уводит в тень его согласие на свержение и убийство отца, а недавно причисленный к лику святых Николай II неслучайно получил в народе кличку Кровавого (напомним Ходынку, Кровавое воскресенье 9 января,

две проигранные войны с неясными народу мотивами). О поклонении истине и монархизму в подобном ракурсе говорить не приходится.

И второе – предельный антисоветизм, а значит, и антикоммунизм.

В литературе отмечалось следующее. Япония, Китай, Индия довольно долго развивались параллельно Западной Европе. Однако никаких социалистических или коммунистических идей там не возникало. Моры, Сен-Симоны, Оуэны, Чернышевские, Марксы, Энгельсы там не появились. Социалистические и коммунистические идеи в Азию были занесены из Европы. В чем тут дело? Бросается в глаза, что христианства в этих странах тоже не было, оно практически не прижилось и в дальнейшем, несмотря на все усилия миссионеров. Весьма показательно и то, что основатель индийского национализма Дадабхай Наороджи написал свою главную книгу с примечательным названием «Нищета и небританское управление Индией». Это означает, что он ищет главный смысл не в социализме или коммунизме, а в совершенно буржуазной жизни Британии.

Видимо, ответ на вопрос об истоках социализма-коммунизма следует искать в христианстве. Именно учение Христа и является истоком гуманистических социалистических-коммунистических идей Чернышевского, Добролюбова, Маркса, Энгельса и других мыслителей. Ведь в чем, собственно, есть учение Христа? Первое положение, которое часто встречается как исходная надпись на церквях, гласит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11: 28). Мне встречалась на церквях и надписи на церковнославянском: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы». Бросается в глаза подчеркнутое обращение к людям труда и нужды. Вселенский отец церкви Иоанн Златоуст в своем толковании подчеркивает, что это обращение не ко всем, не к бездельникам, не к сытым прожигателям жизни. Это обращение к труженикам. В толкованиях религиозных деятелей нередко обращают внимание на «обремененных» и успокоение видят в выборе христианского учения. Вряд ли с этим приходится спорить, однако при этом затушевывается обращение к труженикам, а не к бездельникам и неработающим, но власть и богатство имеющим. А ведь здесь подчеркивается как раз то, что привлекает людей в коммунизме и социализме, тех, чей труд составляет смысл жизни всех эпох и основание любого общества. И за этим стоит, конечно же, понимание того, что власть имущие и бездельники не нужны христианскому объединению. Это положение неоднократно подчеркивается в Новом Завете: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2Фес. 3:10). Там же подчеркивается и справедливость подобного чина и порядка: «Некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся» (2Фес 3:11).

Именно на таком основании строится христианское общество: «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2, 44–45). Иное основание не является справедливым, ибо «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия?» (1Ин. 3:17). И объединяет людей не собственно религия или моления в храме, а любовь к ближнему своему: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин. 4:16). И речь идет, конечно, не о любезных словах, а о реальных делах: «не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1Ин. 4:20).

Что же мешают любви к ближнему? «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры» (1Тим. 6:10). И из оценки сребролюбия вытекают и слова осуждения:

«горе вам, богатые!» (Лк. 6:24), «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:24). Осуждение богатых в Новом Завете предельное: «Вы роскошествовали на земле и наслаждались... Вы осудили, убили Праведника» (Иак. 5: 5–6). Христос с его учением несовместим со сребролюбием.

Его учение есть учение о любви, без чего не имеет значение и силу все остальное: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею; то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы» (1Кор. 13:1–3). Ведь «теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1Кор. 13:13), вера должна опираться на любовь, а не наоборот. И намеренно запутать взаимоотношения веры с любовью могут и стараются лицемеры-фарисеи. Иисус Христос призывал беречься «закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лк. 12:1). Ведь «никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним» (Лк. 16:13–14). Внешне фарисеи прикидывались праведниками, а по сути своей оставались лицемерами, не имеющими любви к людям в душе своей.

Печально в этой ситуации то, что исследователи христианства и историки всех сортов до самого последнего времени не обращали внимания на социальное учение христианства. А ведь эта социальная сторона прямо бросалась в глаза при изучении истории многих народов. Вот история Византии. На нее мощнейшее влияние оказывало движение павликиан. Сами павликиане себя так не называли, но считали себя истинными христианами. Они взяли у апостола Павла его главные положения о роли труда, о роли общей собственности, о единстве христианских общин и единой общественной собственности, об отрицательном отношении к богатству и частной собственности. Движение павликиан в Византии было столь мощным, что они захватили одну из провинций полностью, по-своему организовали в ней жизнь. «И полки павликиан достигли стен Второго Рима, и сам грозный Лев Исавр вынужден был заключать с ними перемирия».

Я процитировал книгу «Византийская тьма» А.А. Говорова. К сожалению, А.А. Говоров не очень известный у нас писатель. А стоило бы обратить на него особое внимание – это кандидат филологических наук, доктор исторических наук, профессор, писатель, великолепно знающий материал, о котором он пишет в своих книгах. Ведь в Византии родилась христианская церковь, в ней жили вселенские учителя христианства, Византия была источником православия для Руси и т. д. и т. п. В то же время стоит взглянуть на программы обучения историков. Там есть отдельный курс о Риме, о европейском Средневековье, о множестве ересей и отдельных движениях. А вот о Византии такого многообразия курсов нет. А. Говоров специально отмечает, что в Византии существовали как бы две церкви: одна официальная, с патриархом и богатыми церквами, и вторая – в подполье, состояла из трудовых общин, из бедняков и неимущих. И официальная церковь вынуждена была учитывать влияние этой второй церкви, организовывать раздачу материальных пособий бедным и неимущим.

Долгое время власти в Византии с павликианами справиться не могла. Затем императорам удалось вытолкать множество последователей павликиан на Балканы. Там возникло мощное движение богомилов. Затем уже движение богомилов проникло в Европу и заразило неимущие слои. Появились катары и альбигойцы. Интересно, что на этом движении, идеалом которого являлись первые христианские общины, не остановилось. В Британии появились лолларды-виклифиты (помните вопрос Уота Тайлера: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?»). Затем появляются в Чехии гуситы.

Дальше вроде бы кончается Средневековье и начинается Реформация, однако исследователи сегодня обоснованно протягивают линию от средневековых движений к протестантизму и идеям бедной церкви и противостоянию католической церкви. А как же? Все эти движения – павликиане, богомилы, катары-альбигойцы, виклифиты, гуситы – видели свой идеал в первых христианских общинах, сами складывались из трудовых общин со всемерной помощью неимущим, с отрицанием частной собственности. Неслучайно власть имущие нередко называли подобные церкви бедняков состоящими из «ткачей». Исследователи этих движений нередко ограничиваются высокими теоретическими отвлеченными богословскими учениями (а эти учения как правило исходили от апостола евангелиста Иоанна). Однако социальное учение настолько находилось в тени и не исследовалось учеными, что сегодня особо стоит отмечать заслугу А. Говорова и в том, что он показал не только связь этих движений, но и подчеркнул трудовую и общественную суть этих учений, их схожесть, основанную на любви, отсутствии сребролюбия, и, следовательно, социалистическую суть христианства и народных христианских движений. Как правило, участники этих движений себя считали просто христианами, не принимали официальной церкви, были опасными для западного католицизма. Мне бросилось в глаза замечание одного графа на вопрос о том, почему он не может справиться со своими вассалами-павликианами. Граф ответил, что все его вассалы думают так, а он один думает по-другому. Неслучайно инквизиция как печально известная организация была рождена для борьбы с этими движениями. Римский папа и его последователи боролись под лозунгом: «Не тронь нашу власть и наше серебро!» А нынче много ли мы знаем о Византии, а уж тем более о павликианах?

Это учение было искренне воспринято лучшими русскими людьми и стало народным мировоззрением. Наиболее образцовым представил его святой Сергей Радонежский. Именно он в своем монастыре создал цветник и рассадник учения и учеников православия. Его монастырь стал общежительным, то есть своего рода образцом-примером общины христиан. В этой общине мало болтали, но больше делали. И все было общее, и все работали. Сам Сергей первый был примером работника. В писаниях передается рассказ о крестьянине, который пришел в монастырь повидать великого человека, а на вопрос о том, как ему увидеть святого, его послали в огород. И крестьянин не мог поверить своим глазам, ибо увидел трудящегося в поле человека. Он ли это? Не обманывают ли его? Но это был Сергей. Известно, что Сергей однажды подрядился срубить келью монаху, который мог ему оплатить работу только лукошком заплесневелых хлебов. И святой Сергей не просто согласился на подобную работу, но не съел ни кусочка, пока всю работу не выполнил. В этом же ритме-чине-порядке жили и все насельники монастыря, и настоятель Сергей вечером обходил кельи и строго



стучал по дверям, если слышал пустые разговоры. Удивительная суть этого монастыря сделала его известным, сделала его непререкаемым образцом для христиан. В результате из «школы» Сергия, как известно, вышло сто пятьдесят общежительных монастырей на Руси.

А в итоге и сегодня найти другой монастырь с другим – идиоритмическим – уставом на Руси стало весьма трудным делом. Идиоритм, или особножитие, особножительный монастырь – особый вид православных монастырей в противоположность общежительным монастырям. В идиоритмах монахи могут владеть личной собственностью, общее здесь только жилище и богослужение, во всем остальном каждый монах живет по своему личному усмотрению. Каждый «антропос идиотикус» (частный человек – греч.) может жить своей частной жизнью. Ведь в идиоритмическом монастыре монах не обязан трудиться, не обязан делиться своим богатством. Иными словами, это просто живущие вместе, но каждый сам по себе, фактически недалеко ушедшие от лицемеров-фарисеев себялюбивые и лишь внешне соблюдающие христианские порядки монахи. Фактически каждый монастырь, организованный и живущий по общежительному-Сергиевому уставу как бы воплощал мечту о совместной жизни общин первых христиан – жить всем вместе, трудиться, не иметь собственной отдельной жизни.

В таком монастыре не могло быть и тяги стать начальником, получить власть. Тогдашний начальник Русской церкви митрополит Алексий предлагал Сергию возглавить Русскую церковь после него. Сергей наотрез отказался. Интересно, что ему как раз власть и не нужна была, его и так слушали власть имеющие князья, и от его внушения зависело многое. Например, быть ли Куликовской битве или быть ли войне Рязанского княжества и Московского. Подобного влияния не могли достичь ни епископы, ни митрополиты сами по себе без личного авторитета, такого, какой был у святого Сергия Радонежского. Ведь то, что внушал «тихими словесами» Сергий, становилось самостоятельным мнением и поступком каждого, кто послушал святого. Иными словами, в итоге это было не внешнее влияние, а самостоятельное решение слушающего человека и князя.

Понятно, что основанное на общем труде и общей собственности община фактически является коммунистической.

Вспомним нынешних фарисеев. Горбачев, Ельцин, Кравчук – классические лицемеры – произносили слова о дружбе и равенстве наций, о коммунизме и равном труде, и на этих праведных словах возвышались, а затем легко открестились от них. Итог: социалистическое общество Советского Союза разрушено, после чего начались социальные нестроения, этнические войны, а уж воровство, замешанное на сребролюбии, достигло масштабов беспредельных. Легко заметить, что грехи этих фарисеев и лицемеров носят не только антикоммунистический характер, но и антихристианский.

Не увидеть родства коммунистических идей и христианского учения невозможно. Отсюда неслучайно в объяснительных записках арестованных священнослужителей в Советском Союзе встречались слова, что «церковь – не враг социализма, а может даже способствовать его продвижению...». Из контекста становилось ясно, что эти слова являются не желанием применить к своему положению, а вовсе наоборот: являются выношенными и выстраданными соображениями. Также становится ясно, что неслучайно выпускники православных семинарий и училищ выступали творцами социалистических учений. Напомню



имена Чернышевского, Добролюбова, Сталина. Интересно отметить, что объем православного учения, преподававшегося в гимназии, которую окончил В.И. Ленин (Ульянов), сравним с семинарским.

Выше отмечалось место православной церкви в бюрократическом устройстве императорской России, строительными принципами которой были заявлены «православие, самодержавие, народность». Фактически церковь стала одним из приводных ремней власти, а руководил церковью чиновник государственного аппарата – обер-прокурор Святейшего Синода, приравненный к министру. В результате вера превратилась во внешний закон, в веление власти, а не во внутренний голос совести и религиозное чувство. Недовольство властью приводило к ослаблению религиозного чувства, ослаблению православия.

Когда в 1917 году среди русских православных воинов в германском плену стало возможным не ходить к причастию (а это главный признак воцерковленного верующего), то продолжать причащаться стали только 10% военнопленных прихожан. Вряд ли кто будет возражать, если предположим, что половина стала ходить причащаться по привычке, а не по внутренней религиозной потребности. Иными словами, этот факт говорит об истощении православной веры в массе народной. Осталась одна суета.

Сходным образом обстояло дело и с коммунистической идеологией. Сращивание идеологии с властью (фактически первым лицом государства был первый, а потом генеральный секретарь ЦК КПСС), идеологические и экономические промахи, сплошное лицемерие власть имущих привело к тому, что существовал и ходил широко в обществе, например, «самый короткий анекдот – коммунизм». В результате, когда прямо разрушать страну стали первые лица государства, то сдержать этот процесс оказалось невозможно. От одной крайности власть кинуло в другую: Ельцин, как известно, в Конгрессе США провозгласил известную формулу: «Господи, благослови Америку!» Страну, наиболее проникнутую сребролюбием и властолюбием, спесью и агрессией, провозгласили ориентиром для России!

Приведу один пример из жизни. Мой дядя А.А. был призван в армию в 1937 году. В 1941-м он, понятно, был уже хорошо обученным воином, и когда в стране была объявлена массовая мобилизация (массовый призыв в армию), а командиров стало не хватать, дядя сделал быструю карьеру и стал старшим лейтенантом и командиром роты. Однако это привело к неожиданным поворотам в жизни. Начальство обратило внимание на то, что командир роты не является коммунистом. Непорядок.

– Хорошо воюет?

– Хорошо.

– Командир хороший?

– Хороший.

Обращаются к нему – командиру роты:

– В партию вступишь?

– Готов.

Дальше – партийное собрание. Зачитывается заявление вступающего и рекомендации.

– Есть еще желающие выступить? Нет? Слово вступающему.

И вот тут вступающий как истовый верующий вынимает Новый Завет, который носил с собой, и заявляет, что первым коммунистом был Иисус Христос. Собрание впадает в оторопь. Вступление откладывается. Дальше – очередное ранение, после которого старший лейтенант

попадает в другую часть. И там такое же вступление повторяется. История повторялась трижды.

Атеизм революционеров и коммунистов был во многом объясним чиновным, зависимым положением церкви при царе. И он в значительной степени потерял смысл после революции, однако по инерции продолжал казаться чем-то исключительно важным. Думается, что главное в официальном атеизме советского общества было возможное противоречие между двумя организациями – церковью и правящей компартией.

Сегодня же, в эпоху олигархического капитализма, ясно, что подобные ценности (в первую очередь сребролюбие и лицемерие) стали разрушать традиционные народные святыни, а значит, и церковные основания. Церковь, обозначив свой выбор в антисоветизме и монархизме, обрекла себя на страшные испытания и ослабление живой веры. Попытки же быть «современными» приводили опять же к подхватыванию затухающей тяги к европеизму и американизму. Например, подарили мне сборник аспирантских и магистерских работ нашей учащейся семинарии. К сожалению, он оказался настолько «современным», что читать его невозможно. Летом отменили, наконец, (временно?) индекс Хирша, то есть необходимость цитирования всех, кого можно. Чем больше и обильнее цитирование, тем выше индекс Хирша. Такой подход при написании научных работ дает возможность публикации сводных работ по теме, но исключает возможность новаторских. Ведь оригинальные работы заведомо будут иметь меньше цитирования. Ясно, что подобные попытки быть современными приводят к засыханию научной мысли. Конечно, сегодня сместили начальника всех аспирантов православной церкви митрополита Илариона. Однако от него ли одного все зависело?

Вот как пишет об этом протоиерей, кандидат богословия, президент Российского библейского общества А.И. Борисов: «...исключительная обращенность в прошлое. Психологический и религиозный настрой здесь таков, что “золотой век” христианства уже миновал. Это было время великих монахов-аскетов, Отцов Церкви, время Вселенских Соборов (последний из них, VII, состоялся в 787 году). И главной задачей современного христианства является лишь подражание, реставрация, возможно максимальное приближение к тому, как жили, молились и понимали Священное Писание Отцы Церкви, то есть идеалом христианской жизни объявляется византийское раннее средневековье».

Обращенность в прошлое – вряд ли лучший вариант выхода в современность. И тем более важно искать смысл в вечной жизни, а значит и в учении об основе жизни – труде, в общественной собственности, в любви и помощи униженным и труженикам. Легко заметить, что это путь к коммунизму или по крайней мере к социализму. Конечно, это вовсе не означает однозначного пути к современной коммунистической партии, которой самой нужно понять важное и избавиться от второстепенного, например от атеизма. Испытания России свободным рынком и искусом либерализма, а затем специальная военная операция на Донбассе неминуемо приводят к очищению народного сознания, восстановлению традиционных ценностей и в первую очередь совести и патриотизма. И дай Бог быстрой скорости этому движению!

## Вехи памяти

### Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского. Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика»), журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

### «РУСЬ, КАК МОЛИТВУ, ТВЕРДИ НАИЗУСТЬ»

Исполнилось 155 лет со дня рождения

Константина Бальмонта

Одна из ярчайших звёзд в созвездии писателей и поэтов Серебряного века русской литературы – Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942). В нынешнем году – 155 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти поэта.

Художественный мир Бальмонта – завораживающий, воздушный, волшебный «блеск стиха и поэтический полёт». Знаменательно, что создатель этого дивного мира, в котором таинственно соединяются с человеческой душой «линии света», «очертания снов», «перезвоны благозвучий»: «Переплеск многопennyй, разорванно-слитный, Самоцветные камни земли самобытной, Переключки лесные зелёного мая» – свой программный теоретический этюд назвал «Поэзия как волшебство» (1915).

Поэзия Бальмонта покорила его современников, вызвала настоящий восторг у читателей и собратьев по перу. «Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала: Поэт...» –

писала Марина Цветаева. Он, по отзыву Н.А. Тэффи, «удивил и восхитил своим “перезвоном хрустальных созвучий”, которые влились в душу с первым весенним счастьем». Своими изысканными, утончёнными стихами Бальмонт сумел влюбить в себя читающую публику. Он стал самым популярным, самым почитаемым. Среди поклонников возникло даже понятие бальмонтизм. Как свидетельствует Тэффи, «Россия была именно влюблена в Бальмонта... Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нащёптывали его слова своим дамам, гимназистки (их называли бальмонтистки. – А. Н.-С.) переписывали в тетрадки...» Поэты-символисты считали его своим кумиром. Один из основоположников русского символизма – искусства, наполненного таинственной образностью, недосказанностью, знаками-символами, – В.Я. Брюсов утверждал: «В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния».

Бальмонт сознавал своё художественное превосходство посреди современных ему литераторов. В своей вершинной книге «Будем как солнце» он создал творческий автопортрет с вызывающе-дерзкими, зримо подчёркнутыми повторами «Я –», с чередой поэтических самоопределений:

Я – изысканность русской медлительной речи,  
Предо мною другие поэты – предтечи,  
Я впервые открыл в этой речи уклоны,  
Перепевные, гневные, нежные звоны.  
Я – внезапный излом,  
Я – играющий гром,  
Я – прозрачный ручей,  
Я – для всех и ничей.  
<...>  
Вечно-юный, как сон,  
Сильный тем, что влюблён  
И в себя и в других,  
Я – изысканный стих.

А для самого Бальмонта, по его признанию, «лучшими учителями в поэзии были – усадьба, сад, ручьи, болотные озёрки, шелест листья, бабочки, птицы и зори». Всё это «красивое малое царство уюта и тишины» скромной дворянской усадьбы в глубине России впитал поэт в себя с раннего детства, пронёс через всю жизнь, наполненную не только триумфами, но и горестями, и невзгодами.

Кукушки нежный плач в глуши лесной  
Звучит мольбой тоскующей и странной.  
Как весело, как горестно весной,  
Как мир хорош в своей красе неожиданной –  
Контрастов мир, с улыбкой неземной,  
Загадочный под дымкою туманной.

Родовое имение Бальмонта – Гумнищи в Шуйском уезде Владимирской губернии – небольшой дом среди тенистого парка, медовых липовых аллей. Именно здесь ещё в счастливое время детства маленького Константина произошло зарождение его поэтического таланта. Впоследствии Бальмонт вспоминал: «Я начал писать стихи в возрасте десяти лет. В яркий солнечный день они возникли, сразу два стихотворения,

одно о зиме, другое о лете. Это было в родной моей усадьбе Гумнищи, в лесном уголке, который до последних лет жизни буду вспоминать как райское, ничем не нарушенное радование жизнью».

Бальмонт родился в начале лета – времени бурного цветения среднерусской природы, когда красуются и благоухают бело-розовые сады, чаруют волнами аромата и оттенками красок тяжёлые гроздья сирени. О ней поэт с любовью писал много раз:

О, весенние грозы!  
Детство с веткой сирени, в вечерней тиши соловей,  
Зыбь и шёпот листвы этой милой плакучей берёзы,  
Зачарованность снов – только раз расцветающих дней!

Упоминания о «сирени в цвету» рассыпаны во множестве стихотворений: «Мимо роз и гвоздик До сирени лазурной Пробегают родник» («Родник»); «Но уж цветёт душистая сирень, И барвинок, и ландыш серебристый» («Зарождающаяся жизнь»); «В лепете романса – цвет сирени» («Нежно-лиловый»); «“Фея”, – шепнули сирени, “Фея”, – призыв был стрижа, “Фея”, – шепнули сквозь тени Ландыши, очи смежа» («Трудно Фее») и др. В раннем детстве – «начальных днях» в родовом поместье – душистые заросли кустов сирени с её цветами-созвездиями представлялись Бальмонту чуть ли не целой вселенной:

В начальных днях сирень родного сада,  
С жужжанием вокруг неё жуков,  
Шмелей, и ос, и ярких мотыльков,  
Есть целый мир, есть звёздная громада.

Проведя годы в дальних странствиях («Я был там далёко, В многокрасочной пряности пышных ликующих стран»), десятилетия в эмиграции, поэт ностальгически думал об этих цветах, о своей юности, о родине, о России:

Берёза родная, со стволом серебристым,  
О тебе я в тропических чащах скучал,  
Я скучал о сирени в цвету и о нём, соловье голосистом,  
Обо всём, что я в детстве с мечтой обвенчал.

Осенью 1996 года – более 25 лет назад – мне довелось побывать в Гумнищах – недалеко, в восьми километрах, от старинного городка Шуя на древних землях родовитых русских князей Шуйских. К сожалению, от старинной усадьбы родителей Константина Бальмонта не сохранилось почти ничего. Остатки поместья – старый заброшенный парк, заросший маленький пруд, скромная могилка родителей поэта. Да памятный знак у просёлочной дороги: «Здесь родился и провёл юные годы поэт Константин Бальмонт».

Моим спутником был тогда итальянский профессор-славист Пьеро Каццола (1921–2015), известный у себя на родине как «адвокат русской культуры». Научные интересы – глубокое исследование русской классической литературы, взаимодействий Италии и России в общественно-политической и культурной областях – стали главным делом всей жизни учёного-энциклопедиста.

Творчество Бальмонта также включается в сферу русско-итальянских связей. Поэт бывал в Италии, восхищался её культурой, слагал

о ней стихи. И всё же он никогда бы не променял на пышное буйство итальянских красок «печальную красоту» своей ненаглядной родины.

Есть в русской природе усталая нежность,  
Безмолвная боль затаённой печали,  
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,  
Холодная высь, уходящие дали.

*«Безглагольность»*

Поэт писал матери из Рима: «Весь этот год за границей я себя чувствую на подмостках, среди декораций. А там – вдали – моя печальная красота, за которую десяти Италий не возьму».

Зная, как любил Бальмонт аромат сирени, росшей когда-то в его саду, итальянский профессор посадил у памятного знака русскому поэту молодой кустик душистой сирени. Если он прижился и уцелел, то за прошедшие годы должен был превратиться в сиреневые заросли.

Пьеро Каццола приезжал тогда и в Орёл – город Тургенева, Лескова, Бунина. Знаменательно, что в Орле в апреле 1917 года побывал Бальмонт – знаток и ценитель тургеневского творчества. Поэт написал стихи «Памяти Тургенева»:

Дворянских гнёзд заветные аллеи.  
Забытый сад. Полузаросший пруд.  
Как хорошо, как всё знакомо тут!  
Сирень, и резеда, и эпомеи,  
И георгины гордые цветут.

Посетил Бальмонт и легендарный «дом Лизы Калитиной», на «дворянском гнезде», как издавна именуется это тургеневское место в Орле. Описанный в романе Тургенева «Дворянское гнездо» дом, ныне уже почти разрушенный (несмотря на постоянное бахвальство местных чиновников о желании и готовности сохранять культурное наследие), был своеобразным центром паломничества почитателей тургеневского романа со всей России и из-за рубежа. Бальмонт сложил об этом доме изысканные стихотворные строки:

В том доме, где нежная грезил Лиза,  
С толпой молодёжи я медлил попутно.  
И мнилось: здесь тихая веяла риза.  
Как в прошлом красиво!  
Как в нежном уютно!

Вторя Бальмонту и подражая его образности, орловец Евгений Сокол описал впечатление от орловской встречи поэта в «доме Лизы Калитиной»:

И плавали, плавали милые тени  
В волшебности Ваших изысканных слов.  
И мнилось: чуть слышно дрожали ступени  
Под лёгкостью Лизиных тихих шагов.

Впечатление от посещения «дома Лизы Калитиной» выразил также современник Бальмонта Иван Алексеевич Бунин. В своём «нобелевском» романе «Жизнь Арсеньева» Бунин вспоминал, как в молодые



свои годы жизни в Орле он приходил со своей возлюбленной к заветному дому: «уже вечерело. “Вы любите Тургенева?” – спросила она. <...> Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в “Дворянском гнезде”. <...> И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом <...> Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот ещё редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе... Лиза, Лаврецкий, Лемм... И мне страстно захотелось любви».

Бальмонт, как и Бунин, умел передать в слове едва уловимый момент предчувствия любви, её зарождения. «Любовь есть желание красоты, таинственно совпадающей с нашей душой», – утверждал поэт. Он писал о всеобъемлющем характере любви как главной Божией заповеди и в полном соответствии с евангельской концепцией: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1Ин. 4:16); «любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога» (1Ин. 4:7); «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Ин. 4:6) – в стихотворении с призывным названием «Люби»:

«Люби!» – поют шуршащие берёзы,  
Когда на них серёжки расцвели.  
«Люби!» – поёт сирень в цветной пыли.  
«Люби! Люби!» – поют, пылая розы.  
Страшись безлюбья. И беги угрозы  
Бесстрастия. Твой полдень вмиг – вдали.  
Твою зарю теченья зорь сожгли.  
Люби любовь. Люби огонь и грёзы.  
Кто не любил, не выполнил закон,  
Которым в мире движутся созвездья,  
Которым так прекрасен небосклон.  
Он в каждом часе слышит мёртвый звон.  
Ему никак не избежать возмездья.  
Кто любит, счастлив. Пусть хоть распят он.

Искупительная самоотверженная любовь Христа к миру: «Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28) – для поэта единственный идеал высшей красоты:

Одна есть в мире красота –  
Любви, печали, отречения,  
И добровольного мученья  
За нас распятого Христа.

Один из 35 своих стихотворных сборников поэт назвал «Только любовь» (1903). В поэзии Бальмонта приоткрывается завеса в Царствие Божие, сокрытое в таинственных Небесах обетованных, – по слову апостола Павла: «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим» (1Кор. 2:9–10):

Донёсся откуда-то гаснущий звон,  
И стал вырастать в вышину небосклон.  
И взорам открылось при свете зарниц,  
Что в небе есть тайны, но нет в нём границ.

И образ пустыни от взоров исчез,  
За небом раздвинулось Небо Небес.  
Что жизнью казалось, то сном пронеслось,  
И вечное, вечное счастье зажглось.

*«Звезда пустыни»*

После того, как в молодости поэт пытался покончить с собой и выжил, ему в полной мере открылись милость Творца, Его заповедь о вечной и бесконечной жизни: «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). В автобиографическом рассказе «Воздушный путь» Бальмонт вспоминал: «Я понял в те минуты, что <...> жизнь бесконечна. <...> В долгий год, когда я, лёжа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чириканья воробьёв за окном и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших до моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда наконец я встал, душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над нею властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом». Вдохновение переполняло поэта. В письмах он делился своей творческой радостью, счастьем жить: «Ко мне пришло что-то более сложное, чем я мог ожидать, и пишу теперь страницу за страницей, торопясь и следя за собой, чтобы не ошибиться в радостной торопливости»; «У меня много новостей. И все хорошие. Мне “везёт”. Мне пишется. Мне жить, жить, вечно жить хочется. Если бы Вы знали, сколько я написал стихов новых! Больше ста. Это было сумасшествие, сказка, новое. Издаю новую книгу, совсем не похожую на прежние. Она удивит многих. Я изменил своё понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: я понял мир. На многие годы, быть может, навсегда»; «Как неожиданна собственная душа! Стоит заглянуть в неё, чтобы увидеть новые дали...»

Ночь ночи открывает знание,  
Дню ото дня передаётся речь.  
Чтоб славу Господа непопранной сберечь,  
Восславить Господа должны Его создания.  
Всё от Него – и жизнь, и смерть.  
<...>  
Свят, свят Господь, Зиждитель мой!  
Перед лицом Твоим рассеялась забота.  
И сладостней, чем мёд, и слаще капель сота  
Единый жизни миг, дарованный Тобой!

*«На мотив псалма 18»*

Вселенский масштаб Всевышней любви как источника жизни на Земле в стихотворении «Небесная роса» соединился у Бальмонта с очень простой, почти детской интонацией – в согласии с христианской заповедью «Будьте как дети»:

Ходят ангелы во мгле,  
Слёзы счастья шлют земле,  
Славят светлого Творца,  
Любят, любят без конца.

По воспоминаниям Бунина, «Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей “детскостью”, неожиданным наивным смехом». Эта душевная чистота, детская непосредственность выразились в стихах для детей. Бальмонт проявил себя как истинный детский поэт, который «совсем переселяется в детскую душу»:

Белки, зайки, мышки, крыски,  
Землеройки и кроты,  
Как вы вновь мне стали близки.  
Снова детские цветы:

Незабудки расцветают,  
Маргаритки щурят глаз,  
Подорожники мечтают –  
Вот роса зажжёт алмаз.

*«Детский мир»*

По отзыву А.А. Блока, Бальмонт создал «прозрачный мир, где всё сказочно-радостно и мудро детской радостью и мудростью». Таков поэтический сборник «Фейные сказки» (1905), написанный для малышки Ниники – четырёхлетней дочери Бальмонта Нины, – со следующим «Посвящением»:

Солнечной Нинике, с светлыми глазками, –  
Этот букетик из тонких былинки.  
Ты позабавишься Фейными сказками,  
После блеснёшь мне зелёными глазками, –  
В них не хочу я росинки.

Начинается причудливая сказка, и её главная героиня воплощает бальмонтовский поэтический идеал красоты, изящества, воздушной нежности:

Так как в мире я не знаю  
Ничего нежнее фей,  
Ныне Фею выбираю  
Музою моей.

Чудесная Фея – повелительница своего идеального миниатюрного царства. В то же время в её образе проступает постигающая окружающий мир шаловливая девочка-непоседа, в которой узнаётся маленькая дочка Бальмонта. Вся его поэзия – на грани сказочности, чародейства – в этом обворожительном стихотворном цикле обретает особенную трепетность, легкость:

Миг, – и в замок, до грозы,  
Фея весело вернулась  
На спине у стрекозы.

*«Находка Феи»*

В сказке Фейной, тиховойной,  
Лёгкий майский ветерок

Колыхнул цветок лилейный,  
Нашептал мне пенье строк.

*«Ветерок Феи»*

И почему так ландыш вдруг  
Вздыхнул, в траве бледнея?  
И почему так нежен луг?  
Ах, знаю! Это Фея

*«Чары Феи»*

Поэт помнил заповедь Христа: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 19:13). Любовь к «милому раю» его собственного детства в срединной России, сбережённая до последнего вздоха, помогала Бальмонту в тяжёлые годы эмиграции.

Первой эмиграции 1906–1913 годов предшествовали события, из-за которых поэт лишён был права проживания в столице и в университетских городах, а затем вынужден был покинуть Россию. Он принял участие в жестоко подавленной политической демонстрации, откликом на которую стало аллегорическое стихотворение «Маленький султан»:

То было в Турции, где совесть – вещь пустая,  
Там царствуют кулак, нагайка, ятаган,  
Два-три нуля, четыре негодяя  
И глупый маленький султан.

Поэт не принимал деспотизма самодержавной власти, не принял он и власть большевиков, ужаснувшись революционному кровавому хаосу и «урагану сумасшествия». В мае 1920 года Бальмонт покинул Россию навсегда.

С тех пор его постоянной спутницей стала ностальгия, мучительная тоска по желанной родине: «Я хочу России... пусто, пусто. Духа нет в Европе»; «Я хочу России. Я хочу, чтобы в России была преображающая заря. Только этого хочу. Ничего иного». Посылая новые стихи дочери Нине, Бальмонт писал: «Ты почувствуешь, как я всегда люблю Россию и как мысль о нашей природе владеет мною. <...> Одно слово “брусника” или “донник” вызывает в моей душе такое волнение, что одного слова достаточно, чтоб из задрожавшего сердца вырвались стихи».

В стихотворении «Алтарь», посвящённом И.С. Шмелёву, поэт обращался к автору «Лета Господня»:

Доброму другу от чистой души  
Крепкое слово: дыши и пиши,  
Все твои чувства – как Русь хороши.

Таковыми же чувствами был преисполнен и сам Бальмонт. Посреди скорбей, бедности, заброшенности на чужбине находил он утешение и отраду в ностальгических воспоминаниях – тех, что «сердцем взлелеяны, вечным овеваны», – и в искренней вере в Бога.

Под пером Бальмонта и ранее рождались поистине молитвенные стихи.

Создал Ты рай – чтоб изгнать нас из рая.  
Боже, опять нас к себе возврати,

Мы истомились, во мраке блуждая,  
Если мы грешны, прости нас, прости!

Не искушай нас бесцельным страданием,  
Не утомляй непосильной борьбой,  
Дай возвратиться к Тебе с упованием,  
Дай нам, о Господи, слиться с Тобой!

*«Молитва»*

В горячем покаянии даруется надежда на Божие прощение. Вечной заступницей для кающейся души становится Богородица со всепрощающей любовью материнского сердца:

Лишь в Матери Божьей вся ласковость взгляда.  
Да буду прощён я. От детства в том грешен,  
Что сердце не там, где возможности гнева.  
Одна мне улада, кем вечно утешен,  
С лицом материнским Пречистая Дева.

*«Покаяние»*

В «чёрные мгновения» жизни вдали от родины единственным утешением становилось упование на Высшую милость:

Я горю и не сплю. Неоглядна бездонная ночь.  
Колокольная медь задрожала растущей силой.  
Всескорбящая Мать, или ты мне не можешь помочь?  
Дай увидеть твой взгляд и в мгновениях чёрных помилуй.

*«В чёрном»*

В ежевечерних молитвах изливались прошения тоскующей души поэта:

Господь, Господь, внемли, я плачу, я тоскую,  
Тебе молюсь в вечерней мгле.  
Зачем Ты даровал мне душу неземную –  
И приковал меня к земле?

<...>

Велик Ты, Господи, но мир Твой неприветен,  
Как всё великое, он нем,  
И тысячи веков напрасен, безответен  
Мой скорбный крик: «Зачем? Зачем?..»

*«Зачем?»*

Но искренний молитвенный призыв никогда не остаётся безответным. В стихотворении «Звезда пустыни» Господь открывается взывающей к Нему душе:

«Я откроюсь тебе в неожиданный миг –  
И никто не узнает об этом,  
Но в душе у тебя загорится родник,  
Озарённый негаснущим светом.  
Я откроюсь тебе в неожиданный миг.  
Не печалься, не думай об этом.

Ты воскликнул, что Я бесконечно далёк, –  
Я в тебе, ты во Мне безраздельно.  
Но пока сохрани только этот намёк:  
Всё – в Одном. Всё глубоко и цельно.  
Я незримым лучом над тобою горю,  
Я желанием правды в тебе говорю».

Пламенное желание правды Божьей, следование христианским заветам – по слову апостола Петра: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6:68) – делало молитвенную поэзию Бальмонта подобной благовестию:

К Тебе, о Боже, к Твоему престолу,  
Где Правда, Истина светлее наших слов,  
Я путь держу по Твоему глаголу,  
Что слышу я сквозь звон колоколов.

Поэт слышал зов к последнему исходу, по ту сторону земного бытия – к жизни вечной. Одним из её «тонких знаков» были для Бальмонта цветы-бессмертники:

Бессмертники, вне жизни, я мальчик был совсем,  
Когда я вас увидел, и был пред вами нем.  
Но чувствовал я то же тогда, что и теперь:  
Вы тонкий знак оттуда, куда ведёт нас дверь.  
Тяжёлая, с замками, вся расписная дверь,  
С одним лишь словом в скрипе, когда отворишь: Верь.  
Бессмертники, я знаю. Чего нам медлить тут?  
Мы жили здесь. Довольно. Нас в новый мир зовут.

В лучший из миров – «новый мир» – Константин Дмитриевич Бальмонт перешёл в возрасте 75 лет. По свидетельству писателя-христианина Б.К. Зайцева, также завершившего свою жизнь во французской эмиграции, поэт «горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем в местечке Нуази-ле-Гран в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым». Предсмертная исповедь Бальмонта произвела на исповедовавшего его священнослужителя неизгладимое «глубокое впечатление искренностью и силой покаяния». Поэт считал себя «неисправимым грешником, которого нельзя простить». Однако, по учению Христа, «многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19:30). Даже раскаявшемуся разбойнику на кресте Господь дал слово: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). В завершение своих мемуаров о Бальмонте Зайцев выразил твёрдую несомненную веру в беспредельное милосердие Божие: «Всё христианство, всё Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь. Верю, твёрдо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту».

Его стихи, словно огоньки лампадки, и по сей день светятся пред алтарём святости – Родины:

В слове – в лампаде – лучистая грусть,  
Русь, как молитву, тверди наизусть.



## Галина МУХИНА

Родилась в 1939 году. Окончила исторический факультет Уральского госуниверситета, аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина. Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского до 2017 года.

Автор трёх книг и полусотни статей по истории и культуре. Живет в Омске.

### «ОН БЫЛ ПОХОЖ ТОЛЬКО НА РУССКОГО И ЕЩЁ НА СЕБЯ САМОГО»

Исполнилось 200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева

«Лучшее украшение нации – лица, богатые дарованиями и самобытностью», – утверждал К. Леонтьев. Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) был и сам «лицо», и все его сочинения были исканием «прекрасного в русской жизни и русском творчестве», «поэзии в самой русской жизни, а не в идеале». Его идеалом была «богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности», – писал мыслитель Н.Н. Страхов, не отрицая «наше, полуевропейское недавнее прошлое», к которому, однако, невозможно «относиться без теплоты», потому что «в нем мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы эти обилие элементы приняли бы более русские формы».

Леонтьеву нравилась и наружность литератора: «его плотность; его добрые глаза, его красивый, горбатый нос; покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой; когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего, умного купца, – конечно, русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженных бакенбардах!» Страхов добавлял к этому портрету своё любование: он был среднего роста, с прекрасной наружностью, поражающей «соединением силы и грации; в нем была грандиозность, так шедшая к его напряженной натуре». Серые глаза с необыкновенным блеском. Нос орлиный. Руки «малы, нежны и красивы, как у женщины».

Сам же А.А. Григорьев как русский человек нашёл наилучшее воплощение русскости в нашей литературе: это А. Пушкин – «единственный

полный человек, единственный всесторонний представитель нашей народной физиономии», потому что ему «было дано непосредственное чутье народной жизни и дана была непосредственная же любовь к народной жизни». «Пушкин не западник, но и не славянофил», а «русский человек, каким сделало русского человека соприкосновение с сферами европейского развития». Почвенность его коренилась в языке: он «свято чтит народ, религиозно боялся солгать на народ, на склад его мышления, чувства, на способ его выражения... Видно глубоко запали в эту великую и восприимчивую душу сказки няни». Дочь Бориса Годунова Ксения в его драме плакала о своём женихе «русским песенным складом», без всяких украшений: «Милый мой жених, прекрасный королевич...»

У Григорьева были основания судить так, ибо он сам рано изучил «все тонкости крепкой русской речи» и от кучера Василия наслушался сказок о батраках и их хозяевах, и этого кучера во многих отношениях он считал «своим воспитателем», почти наполовину равным своему первому учителю. Отсюда его негодование против фальши литературных романов о русской жизни. Его задевало, что М.Н. Загоскин как романист пользовался «совершенно невероятным и необъяснимым» успехом. И, считая этого автора одним «из отраднейших явлений нашего старого быта», натурой в высшей степени нежной и добродушной, хотя и ограниченной, Григорьев понимал, что он имел «карикатурное понятие» о быте предков и быте народа, тем более что испытывал «любовь к застою» и умиление перед ним, поскольку признавал у него «одно только свойство – смирение». Притом «смирение вовсе не в славянофильском смысле, смысле полнейшей общинности и законности – а в смысле простой бараньей покорности всякому существующему факту», «совершенно спокойное отношение ко всякому самодурству». Чем дальше, тем все ярче выступали в его произведениях черты «невежественного барства и умиления перед пошлостью доброго старого времени». Это вызывало протест у критика: «Бедный русский человек! Его показывали нам или нравственным евнухом, или дворовым скоморохом, или Юрием Милославским, или Торопкой Голованом!» Романы Загоскина «изображали понятия и нравы екатерининских времен, с подделкой под язык простонародья, без малейшего знания этого языка».

Вот и в «Ледяном доме» «все фальшиво (кроме чисто исторических фигур)». Зато в персонаже Волынском, «неверном исторически, неверном, пожалуй, и психологически – сколько удивительно угаданных черт русского человека, до того поэтических и вместе с тем истинных, что доселе еще Волынский Лажечникова – единственный тип широкой русской натуры, поставленной в трагическое положение...» Это сцены: «вставай народ», «умирай народ»; пирушки; ночной прогулки с ямщиком; свидания с женою, где беспощадно обличалась вся «бесхарактерность широкой русской натуры», недостаток выдержки ей свойственный. В нём вся целостность «могучей и бесхарактерной, широкой и вместе развратной личности».

Карамзин же для критика пример двойственной идентичности: русской и европейской. До 1812 года он является «первым вполне живым органом общеевропейских идей» и впервые прививает их к нашей общественной и нравственной жизни. Он был первый «живой и действительный талант» в русской литературе. Его «Письма русского путешественника» – «книга удивительная». «Впервые русский человек является в ней не книжно, а душевно и сердечно сочувствующим общечеловеческой

жизни» (не то что записки Фонвизина о его путешествии – «гениально-остроумные заметки» «дикого человека»). «В Европу из далекой гиперборейской страны впервые приехал европеец, и впервые же русский европеец передал своей стране свои русско-европейские ощущения» – не поучительно, а легко и общепонятно. Он перевернул нравственные воззрения образованного общества. Карамзин – «вполне русский человек», предъявил к жизни «требования высшего идеала», выработанные человечеством, взял за основу общезападные формы «доблести, величия, чести». Но идеал оказался несостоятельным. Став историком государства Российского, он взглянул на нашу историю под европейским углом зрения. У него нет мысли, что «мы – племя особенное». Его первые тома чужды мирозерцанию наших летописей, но затем он крепнет и чем больше сливается со старой Русью, тем более становится русским. Он русский европеец – «участник великой жизни, совершающейся на западе Европы». Он – «наш отзыв на всю кипучую умственную деятельность западной жизни». Вместе с тем, глубоко изучавший источники, «постоянно однако обманывает сам себя и своих читателей аналогиями и постоянно скрывает сам от себя и от читателей все неаналогическое с началами и явлениями западной, общечеловеческой жизни».

А. Григорьев вполне разделял мнение П. Чаадаева, отрицающего фальшивые представления о народности, однако укорял его: «Вместо того чтобы сказать как аналитик: “Русская жизнь, как и русская история, не подходят под те рамки общеевропейской жизни и общеевропейской истории, под какие подвёл их Карамзин: следует поэтому поискать в русской жизни и в русской истории особенных свойств и законов, на основании которых выведены будут или положительные различия, или более правильные аналогии с европейской жизнью и европейской историей”, – Чаадаев прямо сказал, что в нашей жизни и истории нет никакой аналогии с общечеловеческим, законным развитием», как у племен, отпавших «от целостности, от единства с человечеством». Критик защищал Чаадаева от тупоумия обвинений «Маяка», так как его вопрос был «не мозговым, а сердечным», и находил аргументы: «для Чаадаева идея единства человечества облечена была в красоту и величие католицизма», которым он увлекся «с жаждою веры», воспитанием же своим он «был совершенно разобщён с бытом своего народа», прельщённый католицизмом и его идеалами. «Удержаться в границах как Пушкин, он не мог: он обладал только отрицательной стороною пушкинского духа, а не носил в себе, как наш великий поэт, непосредственного чутья народности». В чём же, по мнению А. Григорьева, заключалась ошибка западничества? «Мрачную доктрину добродушного Загоскина считало оно за народное созерцание, клеветы на народность драм Кукольника и Полевого за выражение народности...»

Проблема западничества и народности заставляла Григорьева обратиться в 1861 году к «эпохе» Белинского, к его авторитету, когда отечественная критика стояла «почти всегда *по духу своему*» вровень с германской и «неизмеримо выше» французской, когда литература была «всё для нас», когда убеждения «гениального» критика только и могли считаться «благородными и современными убеждениями и взглядами». Чтобы вникнуть в его понимание народности и русского народа, Григорьев обращается к его статье в «Телескопе» Надеждина (1835) и цитирует автора со своими акцентами: «Я душевно люблю православный русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе, но моя любовь сознательная, а не слепая. Может быть, вследствие

очень понятного чувства, я не вижу пороков русского народа, но... не... его странностей». А в чем состоит главная странность русского человека? – «В каком-то своеобразном взгляде на вещи и упорной оригинальности. Его упрекают в подражательности и бесхарактерности; ...но этот упрек неоснователен... Русскому человеку вредит совсем не подражательность, а напротив – излишняя оригинальность... он никогда не подражал, а только брал из-за границы формы... и отливал в эти формы свои собственные идеи, завещанные ему предками». Григорьев признавал глубину его замечания о двойственном свойстве русской природы, но упрекал: вместо того, чтобы искать причины «уродливых внешних явлений», он только подводит их «под немилосердный суд западного идеала человека и человечности». Белинский не признавал сам, насколько непреложность идей, завещанных предками, и внешние формы свидетельствовали «в пользу самобытности народной жизни», что требовало «внимательного углубления в сущность этой самобытности». Отсюда Григорьев заключал, что «основной принцип убеждений Белинского и за ним всего западничества – принцип чисто отрицательный – ненависть ко всему непосредственному, ко всему природному или лучше сказать прирожденному», и что «только отрицанием нашей самости, мы вступаем в семью человечества, что истории у нас нет до Петра и до реформы», и до славян «нам нет дела, потому что они не сделали ничего такого... что наука могла бы видеть в их существовании факт истории человечества», – как говорит он в 1845 году. И он подтверждал это доводами самого Белинского, по мнению которого, русские – «наследники целого мира, не только европейской жизни... не должны... быть англичанами, ни французами, ни немцами», а должны быть русскими и взять «как свое все, что составляет исключительную сторону жизни каждого европейского народа», «как элемент для пополнения нашей жизни»: у англичан их промышленность, универсальный практицизм, у немцев науку, у французов моду, формы светской жизни, кухню, учась у них любезности и манерам.

По мнению Григорьева, Белинский приносил народное в жертву общечеловеческому и постепенно терял «всякое сочувствие к народной, непосредственной, безыскусственной поэзии, не только к нашей и славянской в частности, но ко всякой вообще». Отсюда – «все его выходки против народности вообще, против нашей народности, против возможности местной малороссийской литературы и поэзии, против значения Востока в человечестве...» По Григорьеву: нельзя быть русским, не будучи славянином, иначе разрываются «связи с своею сущностью», что ведёт к космополитизму. Доктрину Белинского опровергали факты: Шевченко, исследования Буслаева, общее сочувствие к народности. Заблуждения Белинского коренились в его исторических взглядах с идеей «отвлеченного человечества». Вот и на Грозного – «титаническую» и «вполне русскую личность», «не имея под рукою ни фактов, ни красок для этой фигуры», он набросил «общий байронический тон», отразивши запросы романтической эпохи. Григорьев не может простить ему попытку развенчать «девственно чистый и целомудренный лик Татьяны, – до сих пор еще самый полный очерк русского женственного идеала», попрекавшему её «сухостью и холодностью сердца».

Однако признавал, что «высокое художественное чутье» «выручало его почти всегда и, составляя главную его силу, делало его постоянно вождем жизни, а не служителем теории». «Все заблуждения, промахи, неистовые увлечения Белинского исчезали, сгорали в его огненной

речи, в огненном чувстве, в возвышенном, ярком и истинно поэтическом воззрении на жизнь и искусство». Ему было присуще высшее свойство натуры: «неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни».

Григорьев не соглашался с мнением западников о том, что Петр I «вдвинул нас в круг мировой общественной жизни». Напротив, считал он, нас хотели заставить «повторять чужую жизнь» и «рабски продолжать ее» в науке и быту. Ведь это унижает славянство, а оно – «целый особый отдел индоевропейской расы», «столь же значительный и древний, как эллинство или его любимое германство».

Чуждый европоцентризму, Григорьев поражался «нашей удивительной способности отрицаться от своей собственной жизни в пользу всякой чужой» – «из боязни показаться не европейцами». Он сетует: «Зная тогда много лишнего чужого, мы решительно не знали ничего своего, ни нашего быта, ни нашей истории, ни наших преданий», считая это даже «каким-то *шиком*». Поэтому был против «поверхностного энциклопедизма», «подражательности и пустого космополитизма», выступая за глубокое знание самобытности. Отсюда – его утверждение, звучавшее как заповедь: сила искусства – в органической связи с народностью.

Как постоянно читающий, критик высоко ценил книжную культуру, подчёркивал её значение для развития личности и общества: «Книги для нас не просто книги, предметы изучения или развлечения», так как переходят «непосредственно в жизнь, плоть и кровь» и «изменяют часто всю сущность нашего нравственного мира». И вспоминал о своей читательской жажде в начале 1850-х годов, в пору молодости, когда восстанавливалась обновлённая вера «в грунт, почву, народ»: «Я ожидал душою... я верил... рвался навстречу... великим откровениям... Островского... свежим ключам... Писемского». В 1854 году его очень взволновала только что вышедшая книга «Хождения и странствия инока Парфения» с Афона, которая ударила «по одной из самых глубоких струн души русского человека» – по «аскетической струне, которая создала изумительно поэтические обращения к “матери-пустыне”». Она оказалась «совершенно народною», сохранившей «растительную, коренную связь с бытовыми старыми началами» и «будто что-то от живой энергической речи протопопа Аввакума». И стала «наглядным фактом непрерывности органической народной жизни» от XII века до середины XIX, как «легенда, гимн, песня», корни которой уходят к хождениям паломника XII века игумена Даниила. В этой духовной связи времён и поколений, критику виделась «ненасытная жажда идеала, высшего, Бога» и возможность «учиться у жизни».

Для него дорог национальный характер нашей литературы. И хотя у нас литераторы – «жантильомы» (дворяне): Пушкин отождествляется «по какому-то удивительному наитию, с народной речью и даже народным созерцанием», Тургенев весь насквозь проникнут любовью к родной почве. А «жантильомы» Грибоедов, Гоголь, Лермонтов – все они, «неравных сил и неодинакового содержания, решительно не похожи ни на каких писателей других наций; ведь в их физиономии нечего долго и вглядываться, чтобы признать их особенною, русскою физиономией».

Пушкин – уникальный пример соединения европейского и национального начал. Пушкин – «это наше право на Европу и на нашу европейскую национальность» и «право на нашу самобытную особенность» в европейском кругу наций, как она «сложилась из напора реформы и осадков коренного быта», к которому критик готов применить мерки



антиподов Гончарова: Обломова и Штольца. Пушкин-Белкин, Пушкин «Капитанской дочки», «Дубровского», «Родословной» – «выразитель нашей почвы, преданий, реакция нашей родной обломовщины, которая, какова она ни на есть, все-таки жизненной штольцовщины». Пушкин весь – «стихия нашей духовной жизни, отражение нашего нравственного процесса, выразитель его, столько же таинственный, как сама наша жизнь...» Критик цитирует отрывок из путешествия Онегина по родным местам:

Иные нужны мне картины:  
Люблю песчаный косогор,  
Перед избушкой две рябины,  
Калитку, сломанный забор,  
На небе серенькие тучи,  
Перед гумном соломы кучи  
Да пруд под сенью ив густых,  
Раздолье уток молодых;  
Теперь мила мне балалайка  
Да пьяный топот трепака  
Перед порогом кабака.  
Мой идеал теперь – хозяйка,  
Мои желания – покой,  
Да щей горшок, да сам большой.

Григорьев восклицает: «Поразительна эта простодушная смесь ощущений самых разнородных, негодования и желания набросить на картину колорит самый серый, с невольной любовью к картине, с чувством ее особенной, самобытной красоты!» Это и есть «ключ к самому Пушкину, и к нашей русской натуре вообще». Это чувство – «наше типовое». «А Пушкин – наше всё», «представитель всего нашего *душевного, особенного*», «пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок», «везде соблюдавший меру, сам – живая мера и гармония», он «является русскою мерою чувств» – «и к чувству любви, и к женщине». «Все наши жилы бились в натуре Пушкина».

Последователь и почитатель А. Григорьева, критик Н.Н. Страхов, считал, что Пушкин «составляет величайшую задачу для русской критики», так как самостоятельной и народной русская литература «стала только в Пушкине», и Григорьев смотрел на развитие национальной литературы через объяснение значения Пушкина как центральной точки, показав, как «пробудилось в поэте наше типовое, народное».

Поиск идентичности сопрягался у критика с сопоставлениями авторов и их героев. Определяя Лермонтова как завершителя эпохи «русского романтического брожения», Григорьев находил и самом Лермонтове, и в его Печорине свойства русской натуры, которые доходили «до безысходной хандры, до лермонтовского ожесточения и зловещих предчувствий, до тургеневского раздвоения и расслабления, а в сферах более грубых – до полежаевского цинизма и до запоя Любима Торцова». Печорин был для критика одним «из самых ярких отражений» того типа, в котором выразились «все “необъятные” силы нашего духа» и который «всегда будет увлекать тем, что в нем есть физиологически нашего, а именно – брожением необъятных сил» и «почти демонского холода самообладания». В лермонтовских героях «чуются люди иной титанической эпохи, готовые играть жизнью... затем ли, чтобы оставить по себе страничку в истории, или просто так, из удали». Этим-то Печорин



«не только был героем своего времени, но едва ли не один из наших органических типов героического». Другим же типом критик считал «тип смиренного человека». И оба они сложились «в нашем душевном мире».

Печоринский тип Григорьев явно предпочитает (он ему наиболее близок по духу), и его воплощение он находит в других литературных образах: у Пушкина – в «гордой, вольнолюбивой и вместе восточно-эгоистической и ревнивой» натуре Алеко; у Тургенева – прежде всего выделял «демонически-унылого», «со зловещим блеском» Василия Лучинова из «Трёх портретов» (придавая ему «особенную важность», поскольку в нём «старый тип дон-Жуана, Ловласа... принял впервые наши русские, оригинальные формы, формы нашего русского XVIII века»), у Островского – это Любим Торцов и Петр Ильич, у Писемского – «Тюфяк». На его взгляд, «в этот тип вошли наши лучшие соки, наши положительные качества, наши высшие стихии, и в артистически-тонкую, мирскую жажду наслаждения пушкинского Жуана, и в критическую последовательность печоринского цинизма, и в холодное, северное самообладание при бешеной южной страстности Василия Лучинова, и в “прожигание жизни” Веретьева, и загул Любима Торцова». Только эти стихии находились «в состоянии необузданном». И все попытки «окончательно победить обаятельный тип, который в лице Печорина сознает в себе “силы необъятные”, растрачиваемые им на мелочи, тип сильного страстного человека», оказались несостоятельными. Для Григорьева немыслимо предпочесть обаятельному Печорину «очень хорошего» Максима Максимыча: «ведь он тупоумен и по простой натуре своей и не мог впасть в те уродливые крайности, в которые попал Печорин».

И критик аргументирует эти предпочтения: «Мы были бы народ весьма нещедро наделенный природою, если бы героями нашими были пушкинский Белкин, лермонтовский Максим Максимыч и даже честный кавказский капитан в “Рубке леса” Толстого. Значение всех этих лиц в том, что они – критические контрасты блестящего и, так сказать, хищного типа», и – «в протесте всего смиренного, загнанного, но между тем основанного на почве в нашей природе, – против гордых и страстных до необузданности начал, против широкого размаха сил, оторвавшихся от связи с почвою». «Придать этой стороне души нашей исключительное, героическое – значит впасть в другую крайность, ведущую к застою и закиси. Максим Максимыч и капитан Толстого – люди, конечно, очень честные и без всякой похвальбы храбрые», «но с ними немыслима никакая история. Из них не выйдут, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдут и Миныны. Увы! На одних добрых и смиренных людях... далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна». Не признание ли это одной из важнейших черт русской души – её страстности. А ещё: такое рассуждение очень созвучно концепции Льва Гумилёва о пассионариях, как о движителях исторических перемен.

Согласно своему представлению о двух типах русских Григорьев сравнивал не только героев, но и писателей: Пушкина с Достоевским. Натура Пушкина, сохранившая в себе «живую струю народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать и временами даже с ней отождествляться», была «по преимуществу синтетическая, одаренная непосредственностью понимания и целостностью захвата». Если Достоевский представил равно оба типа – страстный и смиренный, то Пушкин понял их синтезом – и «синтезом создал и “Русалку”, и Пугачева в “Капитанской дочке”, и старика Дубровского».

В череде литературных персонажей, которые проходят сквозь эпохи, Григорьев находит особое место Чацкому. Он «до сих пор единственное героическое лицо нашей литературы», «прежде всего – честная и деятельная натура, притом натура борца, то есть натура в высшей степени страстная», «правдивая», как старик Гринев, старик Багров, старик Дубровский. Более того, Чацкий имеет ещё историческое значение, поскольку является порождением первой четверти русского XIX века, он «прямой сын и наследник Новиковых и Радищевых, товарищ людей вечной памяти двенадцатого года, могущественная, еще глубоко верящая в себя и потому упрямая сила, готовая погибнуть в столкновении со средою, погибнуть хоть бы из-за того, чтобы оставить по себе “страницу в истории”... Ему нет дела до того, что среда, с которой он борется, положительно неспособна не только понять его, но даже отнестись к нему серьезно».

По мнению Григорьева, Лермонтов ещё «сильнее, искреннее» преуспел в создании другого типа: «необузданной, зверской страстности, широкого размаха; необузданных стремлений, неутолимой жажды жизни» (Мцыри, Арсений, Арбенин). Ибо с этим типом у критика связывалась «высшая правда» русской души: ответить отрицанием на самое отрицание, когда с точки правды – «только и возможен поворот к живому чувству... к сознанию идеального в самой жизни, к восстановлению в самом себе связи с ее коренными основами, к обретению их даже в самом себе... лежащими под наносным слоем души». Иначе говоря: дойти до края и вышибить клин клином!

Оценки критика соответствуют его представлениям об идентичности русских: «Мы народ какой-то неуёмный, какой-то грубо-первобытный народ. Мысль у нас не может еще как-то разъединиться с жизнью»; люди «чисто русского закала» – это люди «с серьезной жаждой мысли и жизни», способные «прожигать жизнь или ставить ее на всякую карту».

В этом признании немало чисто личного: известно, что его собственная «неряшливо-разгульная» жизнь в бедности, долгах и беспорядочности не подчинялась общепринятым правилам. Он утверждал, что русская натура «с богатыми стихийными началами и беспощадным здравым смыслом» «верит в свою стихийную жизнь» и способна «доходить до крайних пределов». Вот и Пушкин «всё наше перечувствовал» как цельная русская натура. Ему видится в русской натуре «едва ли не одинаковое, едва ли не равномерное богатство сил, как положительных, так и отрицательных». О наших качествах смирения, незлопамятности ему даже не хочется говорить: они «давно признаны всеми, хотя без всякой меры, до пересолу славянофилами», и на них одних, «хотя и действительно прекрасных», «мы бы далеко не уехали». Он больше говорит о чертах нашей «богатой стихийной природы», о её «тревожных, порывающих в широкую даль началах» вплоть – до крайних пределов, что порождает «состояние страшной борьбы» (как это характерно для русского романтизма). Эта борьба отразилась в Пушкине – как «момент нашей духовной жизни». И его Онегин – во многом «все-таки русский человек». В Онегине – «мрачный сплин и язвительный скептицизм» байроновского Чайльд-Гарольда заменился «хандрою от праздности, тоскою человека, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрее», который наделён «критической способностью здорового русского смысла» – «прирожденною, но не приобретенною». И его Дон Жуан – тоже другой, не европейский: тип, который создаётся «из южной, даже африканской страстности, но смягченной русским тонко-критическим чув-

ством, из чисто русской удали, беспечности, какой-то дерзкой шутки с прожигаемой жизнью, какой-то безусталой гоньбы за впечатлениями». Крайности русского человека находили у критика свои объяснения: мы «разоблачаем безжалостно и даже иногда легкомысленно безжалостно заветнейшие чувства наши, посмеиваясь над ними и многими дорогими образами», что происходит «от глубокого, вполне русского, то есть цельного увлечения великими идеалами». Тем самым он признавал духовность как высшую планку крайностей.

Насмешливость – тоже национальное свойство. Русские, «нещадно смеясь над всем», что несообразно с их «душевной мерой», отличаются от других народов, особенно от немцев, «совершенно не способных к комизму», даже в том, что, любя праздники и нередко прожигая целую жизнь, не могут «мешать дел с бездельем».

Вот и у родителя своего Григорьев находит такое качество: «Отец мой, несмотря на свой замечательный ум и на достаточное, хотя внешнее и потому совершенно заглушённое без пользы для него и для других образование, был по натуре юморист, и юморист, как всякий русский человек, беспощадный». Гоголевский юмор не сравним с английским, немецким, так как для русских неприемлемы европейские мещанские, сентиментальные, подчас пошлые, приторные герои. Русские тоже любят добрые образы. Но для них идеалы правды, красоты и добра в том виде, как они проявляются, например, у Диккенса, «чрезвычайно узки», а его «жизненное примирение» – «довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло». Русские не могут любить только за одну доброту, предпочитают соединять с ней «смышленость, здоровый ум, известный юмор», даже с примесью «маленькой грязи».

Русскую сущность, русскую душу как органическую целость (вопреки разладам между западниками и славянофилами, с их предпочтениями послепетровской и допетровской Руси) Григорьев чувствовал в народной песне: она – отражение народного сознания, первобытный источник литературы. Сам любил петь под гитару и разбирался в типах песенного исполнения. Ему доводилось слушать певцов-самородков, и он понял: «Никакие ученые диссертации не разъяснили бы мне характера великорусской песни как одна ночь этого пения, широкого, могучего, переливающегося тихим огнём по жилам». Особенно ценил тип «совершеннейший», для которого пение было «служением», не нарушавшим чистоту мотива. – «Весь пламень чувства у него в вибрации голоса... способного тянуться долго до бесконечности, подниматься фистулою на высоту и дрожать грудным тембром, колебаться волнообразно и даже ныть, как поет сердце», – вспоминал он. В отличие от европейских песен – предмета «археологического любопытства» – русская и славянская песня «доселе живёт и *растёт* в народе», «родится и живёт как растение». «Русская песня не так легко даётся в руки», «не любит выставляться напоказ», и кто сумел подойти к ней, она «льётся свободно, бесконечно, разнообразно», дышит «свежим воздухом великорусского края». Ей свойственна размашистость, заунывная или разгульная широкость, «человек почти совсем поглощён природою». Вот и «самые первые песни» Некрасова несут в себе «что-то такое своё, особенное, некрасовское», что коренится органически в самом существе русской национальности». Даже в плохой народной песне новых времен вдруг обнаруживается «самый верный исторический такт, самая странная политическая память», «столь ошеломляюще» действующая на образованных людей.

Для критика важнейшим вопросом является неразрывная связь искусства с нравственностью, с идеалом, мерой, гармонией: куда не вписывается ни Байрон, ни Санд. Искусство для него есть «выражение правды жизни», а в правде – его искренность, нравственность, объективность.

Историзм Григорьева поистине романтический, ибо историческому рассуждению века Просвещения он противопоставляет историческое чувство – наше, без нашего ведома непосредственное приобретение: это *«чувство органической связи между явлениями жизни, чувство цельности и единства жизни»*, неразрывное с идеалом и верой в историю.

Неслучайно Аполлон Григорьев запомнился его современнику, театральному критику Д.В. Аверкиеву больше всего теорией «органической критики», согласно которой литература и искусство должны вырастать из национальной почвы (отсюда и название «почвенники» для его последователей) и который находил органические черты прежде всего у Пушкина и Островского. Григорьев «любил все русское просто потому, что оно русское». «Органичная» русскость была для него «абсолютной ценностью». Так, и К. Леонтьев писал о нём: «Мы часто ищем русских лиц. Вот вам одно из них; он был похож только на русского и ещё на себя самого».

Н. Ильин – исследователь русской философии, признавал уникальность прозрения критика: «А. Григорьев был первым в русской философии (и, полагаю, так же и в европейской), кто совершенно ясно отвергнул какое-либо поклонение идолу “человечества” и не просто отвергнул, но и разоблачил этого идола силою самостоятельной мысли». Н.Н. Страхов считал Григорьева «истинным создателем русской критики», поскольку для него «каждое художественное произведение представляет отражение своего века и своего народа» и существует «неразрывная связь между настроением народа, его своеобразным душевным складом, событиями его истории, его нравами, религиею и прочим» и созданиями национальных авторов. Более того, по мнению Страхова, Григорьев видел, что все явления литературы имеют «один общий корень, что все они суть частные и временные проявления одного и того же духа», что художественные произведения способны отразить «душевную сущность» народа и вечные требования «души человеческой, ее неизменных законов и стремлений».

Лицо народа критик выразил в типах, которые органически вырастали «на корне национальности». Именно понятие типа у Григорьева стало «руководящей категорией для постижения национальности в ее конкретном культурно-историческом существовании». Одновременно происходило слияние темы народности и темы личности. Григорьев ставил вопрос о ведущем значении личности, о её передовом положении в борьбе за народность, так как искание своей народности составляло характерную особенность всех замечательных русских людей.

Воспринимая литературу как самый чувствительный инструмент познания общества, народа, человека, критик определял дух народа прежде всего по художественным произведениям. Григорьев сознавал свою национальную идентичность, доказывал, что литература и русские писатели являются главными носителями самоопределения нации, и тем вносил вклад в развитие русского самосознания.

## Литпроцесс

### Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

### ВДОХ И ВЫДОХ

О библейских и евангельских образах и сюжетах  
в русской литературе

Вектор русской литературы, огромная, длинная дорога ее существования сплетена из трех огненных нитей. Первая нить – фольклор. Он сакрален, невероятно жизнеспособен, ярко и слепяще символичен и уходит вглубь времен – туда, где трудно, тяжело, да и невозможно бывает рассмотреть истоки песни, танца, хоровода, обряда. Вторая золотая нить – религия, вера, храм; она стала разматываться в обществе с тех легендарных лет, когда княгиня Ольга в материнской горсти принесла православие на Русь. И третья нить – то, что мы зовем чистой лирикой; поэт пытается высказаться оригинально, а выходит так, что он радостно повторяет Иоанна Дамаскина и Анакреонта, Романа Сладкопевца и Сапфо. Два древнейших жанра внутри лирики – песня и молитва – давно уже стали прерогативой авторской поэзии, хотя издревле были народными и даже общенародными, объединяющими язык началами, дававшими людям архаическое – и бессмертное – чувство соборности, единства, родства.

Что для русского человека образы Библии, Ветхого и Нового Заветов? Кто только не включал библейские мотивы, мелодии, события, ассоциации в ткань своего искусства! Однако ведь эпоха Льва Толстого или Михаила Булгакова отличается от нашего сегодня. Времени нет, склонны мы думать, да и чувствовать так хотим, пожалуй; этим детски-наивным постулатом мы отвергаем возможность смерти, в то время как она рядом, она бродит среди нас. Библия не боялась этого древнейшего архетипа Жизнь-Смерть. Более того: она с ним работала. Величайшие



пророки, величайшие ветхозаветные поэты, вроде царя Давида или царя Соломона, впрямую, бесстрашно прикасались к этой огненной материи. И правильно делали! Они ничего не боялись. Брали Божий огонь голыми руками и несли людям; здесь они удивительным образом повторяли подвиг античного Прометея, только на другой религиозной основе (закваске, как бы сказали во времена Христа и Апостолов) и с другой священной сюжетной интонацией, в пространстве иной символики. Великие писатели создавали Ветхий Завет. Гениальны были Иезекииль, Иеремия, Исайя, Даниил. Что есть книга? Книга есть непонятный, но очень убедительный эквивалент времени. Времени нет, давайте поверим в это, мы не можем его поймать, мы не можем его дотошно, точно описать, очертить волей свободного определения, – а книга есть.

Если мы будем вспоминать русские художественные тексты, в которых появляется, к примеру, текст Евангелия или указание на конкретных героев Священного Писания, мы изумимся: так их много! Есть и всемирно знаменитые эпизоды. Достаточно вспомнить на память знаемые фрагменты великой нашей крупной формы – финал романа «Воскресение», где Нехлюдов читает Евангелие от Матфея, сцену в «Преступлении и наказании» Достоевского: Сонечка Мармеладова читает Раскольникову евангельскую притчу о воскрешении Христом Лазаря. Конечно, символично: автор дает проститутке и убийце проговорить и прослушать святы и вечные письма – как обещание будущей жизни: не только небесной, но и земной, подвластной слезному раскаянию и глубокому, глубинному покаянию, граничащему с нравственным потрясением и вторым рождением.

Но это девятнадцатый век, а что двадцатый, двадцать первый? В «Плахе» Чингиза Айтматова ярко и ясно, после гранд-паузы идеологии, где Богу не нашлось места, звучит лейтмотив Бога. Весь огромный пласт советского времени прошел под знаком богоборчества, и советская литература, как некая мистическая Атлантида, ныне одновременно и утонула, и не утонула, легла в странный дрейф: мы понимаем величие Шолохова, мы помним про трагические страницы Серафимовича и Артема Веселого, но нам внятно и то, что тематика Бога, Библии, веры, религии являлась в те поры откровенным табу, и это страдальное табуирование величайших ценностей христианской культуры длилось ведь не год и не два. Целая эпоха подпала под жесткий и жестокий запрет, под казнящий слоган «Бога нет» (и его продолжение звучало примерно так: «и уже не будет никогда»), под отрицание священного, когда бодрое, как утренняя зарядка, когда откровенно злое.

А потом, точно по Марксу, наступило отрицание отрицания.

И эпоха перескочила на качественно иной уровень.

Библия превратилась, будучи освобожденной из тюрьмы запретов, в необходимый культурный код. Конечно, кто-то и в красноречивые советские времена этот код, внутри простой жизни, внутри безбожного обихода, бережно хранил: крестил детей, тайком ходил на исповедь и причащался. Соборование, отпевание, венчание – все это существовало, все это было не изгнать, не вытравить из народа, и писатели, прекрасно видя-слыша это невытравимое народное бытие, включали его штрихи в собственную словесную летопись, вшивали его жемчужины в свою творческую исповедь. Однако

Купол церковной обители  
Яркой травой зарос...



– пишет в стихах Николай Рубцов, и какая же тоска, безысходная печаль звучит в этой почти песне в полях! И как это не соотносится с торжествующим, нимало не трагичным, многожды повторенным творческим возгласом Пастернака, который то вздыхает:

Слишком многим руки для объятья  
Ты раскинешь по концам креста...

– не кроется ли здесь таинственный, еще немного, и откровенно католический эротизм?.. – то насыщает изображаемое пространство оптимизмом метафоры и мощью видения грядущего:

Ко мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты...

В дореволюционной русской поэзии и прозе сильна, если не все-сильна, была православная составляющая. И это было ко благу литературы. Русский человек, и простой крестьянин, и великий художник, и аристократ, и работник, нес во времени, лелеял в душе Божий страх; это не тот бытовой страх перед ночной тьмой или перед убийцей из-за угла, – это тот трепет, что категорически не позволяет тебе сделать преступление. Преступить черту. Потому что Бог есть. И Он все видит. И ты – у Него – на ладони.

Русская душа – неразрешимая загадка только для человека западной культуры. Для нас тут никакой загадки нет. Душа русская суть христианка; принадлежать Христу, стремиться ко Христу есть ее первое, насущное, самое верное предназначение, и она, в особенности творческая, хочет не зря прожить земную жизнь, хочет успеть, перед переходом в Мирь Иной, сделать все, к чему чувствует себя призванной.

Николай Бердяев, сравнивая Льва Толстого и Федора Достоевского, говорил о том, что Толстой – певец всего мирского, плотского, материального, жизненного, житейского; для того, чтобы житейское стало житийным, Лев Великий должен был перейти вброд жизнь – и явить нам, в колоссальности своей, великие христианские мотивы в романе «Воскресение», в рассказах «Хозяин и работник» (вариация евангельского доброго самарянина), «После бала», «Отец Сергей» – в рассказе этом, точнее, в повести, Толстой вспомнил историю, поведенную нам в своем «Житии» грандиозным писателем семнадцатого века, опальным протопопом Аввакумом, когда впавший во «блудное разжжение» протопоп, принимая исповедь у красавицы, вышел прочь и долго держал ладонь над свечою, пока дикая боль не вернула его к самому себе из пылающей лавы вождения. У Толстого отец Сергей, удалившись от пышнотелой девицы, отрубает себе палец топором. Но разве важно различие сюжетных поворотов? Важен сам посыл: есть грех, и есть безгрешие, борись с грехом.

Лев Толстой очень любил писания протопопа Аввакума, сожженного в срубе по приговору царя Алексея Михайловича, называл его великим стилистом, читал «Житие» за столом, когда семья собиралась к вечернему чаю, и восхищался им... Да, общее есть в них, в двух могучих, раскидистых деревьях русской словесности...

Тот Христос «в белом венчике из роз», что появляется в финале поэмы Александра Блока «Двенадцать», реет, скользит, невесомо ступает по белейшему, холоднящему снегу, по звездной метели, как по водам Геннисаретского озера; Бог здесь свободно идет по временам, а не только

опекает (своим явлением молча благословляет...) двенадцать красноармейцев – двенадцать красноречивых апостолов. И ход Бога по выгибу времен есть ход самого человека по собственной, отдельно взятой жизни. Здесь Бог на секунду становится счастливым зеркалом несчастного человека, а не человек – подобием Бога. Сколько обвинений вылилось на этот пресловутый финал «Двенадцати» – с Христом, легко идущим над Мiромъ в метели! В вечной русской метели, она же символ самой матушки-Руси, где царит вечная зима, и символ белых риз горней чистоты. Революция – кровь и грязь, но она – дело благое, говорит нам Блок этим призрачным Божиим шествием.

Много людей высказывалось о том, что «Плаха» Чингиза Айтматова – беззащитная реприза булгаковского «Мастера...». Это и так, и не так. Народ у Айтматова не принимает слов Праведника, отрицает, отвергает их. И здесь идет прямая ассоциация скорее с подлинным Писанием, с бичеванием и заушанием Христа, изображенным евангелистами.

Мы пытаемся вернуться к мифологеме чуда. И заново понять: есть Божии чудеса, а есть соблазны, рядящиеся в одежды ангелов, как пишет о. Серафим Роуз. В свое время я восхищалась книгой о. Серафима «Душа после смерти». Однако наш святитель Игнатий (Брянчанинов) в своем «Слове о Смерти» достигает иных, звездных высот чувства Бога, и текст книги святителя Игнатия приподнимает занавес (или, если провести параллель с Литургией, приоткрывает Царские Врата) над привычными положениями Мiра, делая их Тайнствами.

Алексей Варламов в «Рождении», Евгений Водолазкин в «Лавре», Майя Кучерская в «Боге дождя» и целый сонм нынешних литераторов пытаются вернуться – и вернуть нас – в лоно Христа-Бога, но часто у авторов (не у всех!.. у иных...) получается такое игрушечное, наполовину сказочное, детски-святочное, сусальное православие, в котором нет силы Бога и крепости, и святого страдания, и святого праздника православия истинного. Я не призываю писателя бесконечно малевать, в стихах и прозе, Спаса в Силах и Христа Пантократора на мощном храмовом куполе. Но ведь это так и есть, увы – русская литература, потеряв за время ломки страны сакральную, священную (нравственную!) силу, сейчас страстно и часто безуспешно пытается к ней, истинной, пробиться, заменяя красотами стиля и опорой на христианскую сюжеттику вот эту драгоценную, неизреченную силу.

Что это за сила? Как точнее ее обозначить? Сила духа? Сила покаяния? Сила новой космогонии? Сила любви?

Любовь, пройдя через ипостаси эроса и мании, становится агапэ и сторге. Она становится троекратным целованием на Пасху Господню, ухаживанием за смертельно больным в хосписе, внимательным, с дрожью сердца, прислушиванием к тому якобы бессвязному лепету, что выбормочет, выкрикнет юридический. Она становится хлебом насущным, и его и вправду Господь дает нам днесь. Надо лишь не разучиться молиться. И любить.

Это есть благодать.

Библейских сюжетов череда, беспредельная россыпь созвездий. Евангельские образы ведут самосветящийся хоровод. Есть люди, есть Бог, есть Родина, есть народ. Этого уже с лихвой хватит на любое вдохновение: от громадного романа до малого, нежного выдоха колыбельного стиха.

## «СТАРИК ЕРЁМИН НАС ЗАМЕТИЛ...»

– ...и вот он мне и говорит так строго, и глядит пронзительно так: не кичитесь, студент Ерёмин, своим мужиковством!.. Не кокетничайте им!.. Что это вы на «о» ворочаете, как волжский грузчик на торговых пристанях, и зачем-то вместо «ведь» всё время вставляете «чать»! И коня называете не конём, а Гнедышкой!.. Прекратите, говорит, лукавить. Вы хотите быть литератором? Избавьтесь от нарочитого мужиковства и будьте мужчиной настоящим: наберитесь доверху культуры, чтоб она в вас кипятком булькала и чуть ли не через край переливалась. Чтобы культура пёрла из вас, как из рога изобилия; и при этом постарайтесь не сжечь – да, так он и выразился – не сжечь за собою эти великие земляные, речные, небесные сельские мосты, что дают вам силу жить, что держат вас у престола Бога... Да... И тут я, милашечка, и призадумался. Лет мне было тогда немного. В зеркало погляжу: ну раскосый калмык, да и только!.. Друг степей... Студент московского вуза. В самарской развышитой рубахе щеголял. Девки за мной гуртом бегали. Выбирал любую. И тут вдруг этот профессор меня ни за что ни про что отчитал. Деревенский, мол, я лапоть и не место мне в большой литературе, если не возымею мужества работы над собой. Ах, хрестоматийные эти строки – «не позволяй душе лениться»!.. Я обозлился. Я устыдился. Я стал, да, работать над собой. Так истово верующий бьёт в церкви поклоны. Так копают картошку дождливой осенью, голодной...

Он сидел передо мной на кухне в потёртых джинсах, худой, огромнолобый, кудлатый, загорелый, с хищным, стрелой летящим разрезом глаз калмыцкого кагана, и трудно было поверить, что ему уже восемьдесят лет, что я его могу по-прежнему потрогать и обнять, как в детстве, что это мой дед, брат моей бабушки, единственный из всех моих дедов живой-здоровый, – «ах, милашечка, мы с тобой прямо по Грибоедову – внучатая племянница моя!..» – что он – глыбастая, головастая знаменитость Москвы, к кому на поклон идут-бредут и юные щенки-поэты, и маститые мэтры, трясая в руках свеженаписанными стихами, ибо он – он! – Михаил Павлович Ерёмин! – считается наиболее точным и славным ценителем всех на свете стихов, а беспристрастие и величие его литературных оценок не знает границ, – что он, родной, бешено-веселый, горящий и сияющий, будет жить вечно, что он не умрёт никогда.

Студентом педвуза, в вышитой крестом рубашечке, ему удалось недолго побыть. Его взяли за анекдот. Донёс на него лучший друг. С которым – литературные споры до полуночи, пушкинская жжёнка, модный довоенный ликёр «Белый медведь» из сгущёнки, спирта и шоколада – по-военно-морскому. Пытошные тиски тюрьмы сжимались. Его мощный мозг напряженно искал выхода – лагерь и расстрел казались нереальщиной, булгаковщиной, однако реальнее и проще них тогда не было ничего. Он понял, что его дошлый следователь увлекается литературой. Он вычислил

его. Он поймал за хвост бегущую мышь. «Мышью» оказалась любовь следователя к пролетарскому поэту Маяковскому. И подследственный Ерёмин на допросах – а допросы длились иной раз всю ночь, до утра – часами напролёт читал угрюмому мужику в круглых бабушкиных очках и «Про это», и «Сто пятьдесят миллионов», и «Хорошо!», и «Флейту-позвоночник», и, когда следователь изумлённо вскидывал на него из-под очков острые глазки, – мол, неправильно, не так у Маяковского! – подследственный Михаил Ерёмин, набычив бугристый лоб, уточнял: «Собрание сочинений Владимира Маяковского, том такой-то, страница такая-то, седьмая строчка сверху... нет, там опечатка. А следует читать так-то», – и цитировал всё безошибочно. Угрюмец недоверчиво улыбался, подходил к книжной полке, справлялся по указанному тому. Заливался краской. Всё совпадало.

Его спасла его феноменальная, фантастическая память. На допросах он утверждал, что досконально помнит все вечера и разговоры со своим злосчастным другом. «Докажите!» В тюремной библиотеке наличествовало собрание сочинений Маяковского, – ну он и доказал. Иного выхода не было.

Его освободили. Верней сказать, опять приговорили. Началась война, и ему сохранили жизнь, присудив идти на фронт в штрафную роту. Сапёром. Все разминированные им поля, подлески, лощины и логи тоже требовали вдумывания, вчувствования, пристального, огненного внимания, как стихи.

За какие грехи Бог наказал его страданием? За какие благодати – спас ему жизнь? Почти математически он вычислял мины. Его интуиция горела и плавилась, заставляя работать мысль на уровне предвидения и пророчества. Он медленно продвигался по войне дальше и дальше, как перо продвигается по жёлтой бумаге романа. Конец войны застиг его в блестящей Вене, где около памятника Моцарту он выпил бутылку шнапса с запылённой, хохочущей братвой, близ памятника Шуберту – другую, а у памятника Иоганну Штраусу – третью. И ни в одном глазу.

Он был молодой, здоровый и весёлый, война кончилась, красивые девушки-регулирующие на дорогах Европы заглядывались на него, хоть и невеликого росточка он был, – зато дикий и бешеный нрав имел и ханский взор, а уж из перерусских русскую свою душу стремил страстно в Россию, к русским лицам, к русской поэзии.

...мне поэзия нужна для дела:  
 Чтоб она в глаза мне поглядела  
 И сказала, пальчиком грозя:  
 «Милый!.. этого – нельзя».  
 А потом, вздохнувши осторожно,  
 Молвила: «А это – можно».

Он прочитал мне это свое стихотворение, торопливо нацарапанное на клочке бумаги, смущаясь, назидательно подняв палец, разметав вокруг сияющей лысины кудлатость серебряных волос. Он прочитал мне тайком не стихотворение – кредо, завет, исповедание, символ веры. Давно, в пятнадцать лет, на Волге, в грозу, он сорвал с себя нательный крестик и закинул в воду, в бушеванье «беляков»: так он, юный и пламенный, восстал против Господа, усомнившись в Нём, уверившись в своей смерти, в своей невечности. И долгие годы – до возвратного прихода к нему Бога в силе и славе Своей – он веровал в великую поэзию, в русский стих, в крепкую рифму, в кровавое, дымное, страстное, звёздное слово, в первые строки Евангелия от Иоанна – «Въ начале бе Слово, и

Слово бе къ Богу, и Богъ бе Слово»; это были его вера и его художество, ибо вне Бога, хоть пацаном и отрёкся он от Него, он не мыслил Слова, а вне Слова, как ни старался и ни тщился, не мог лицезреть Божество.

Я усердно занималась в Консерватории: московские рояли, московские органы с лесом серебряно-золотых труб, московская концертная жизнь, похожая на Везувий – оркестры, певцы, скрипачи с мировой славой втягивали в цветную воронку Орфеева безумия!.. – а он, куря вечерами на кухне, нервно стряхивая пепел в чайные чашки и розетки, кричал возмущённо: «Нет на свете ничего выше музыки!.. это отверстые ворота прямо – ТУДА!..» – и величественно разводил руками, показывая, куда – *туда*, за облака, в Обитель Успенскую, – восклицал: «Ну зачем ещё слова всякие, вся бездна поэзии мира, если есть – музыка, если и без словес внятно и слышно Бога?!» – а прокричавшись, пропыхтев, искулив все дешёвые сигареты, выкушав розеточку липового мёда из Вёсьегонска, что ему влюбленная в него студентка привозила, – еле слышно выдыхал: «Пиши, милашечка, стихи, пиши, детка... пробуй свою мысль зажать – в кулак... режь себе жилы, пускай кровь... перевязывай – словами – чужие раны... и вот когда ты научишься писать о себе – кровью *других*, когда наберёшься мужества создать – и зачеркнуть навек; создать – и уничтожить... и снова родить, как мать, у которой дитя умерло!.. только тогда ты начнёшь писать, только тогда ты станешь – поэтом. А борзописцев – много... тучами, роями клубятся они... не примыкай к рою, не влетай в него!..»

Он дружил с Чуковским. Он до самой смерти Корнея Ивановича корпел вместе с ним в Корнеевом доме над составлением архива. Чуковский ли, или кто другой, или сам Бог натолкнули его носом – на Пушкина, влюбились до дна – в девятнадцатый век, окунули в пушкинское Море, и зашумело послушное ветрило мысли, и его блистательными, великолепными исследованиями о Пушкине – и про «Медного Всадника», и про «Историю Петра...», и про ранние, лицейские стихи – стал зачитываться весь литературный мир. Он собирал прижизненные издания Пушкина. Он плакал в квартире на Мойке, 12. К нему домой, в химкинский подмосковный барак, где в двух тесных комнатёнках ютился он с розовощёкой пышноволосой красавицей-женой и двумя детьми («живём, как в книжном шкафу!..» – орал он сердито, обводя рукою штабеля великих книг), приезжали Бонди, Цявловский, Благой, Раевский, Богданов – знаменитые русские пушкинисты, и его они в один ряд ставили с собой, и его они, восхищаясь бескорыстно, над собой – поднимали. Первое издание книги «Пушкин-публицист» он преподнёс моему отцу, художнику, с энергично-воззвательной надписью: «Преподобный отец Микола! Моли Бога о нас. Авось Он зла не попустит!» И ниже было приписано мелким почерком – будто таракашки разбежались в стороны: «А Нине и Леночке – просто привет. Потому что они – безбожницы». Ох и выпили же они, мой дед и отец, по выходе той книжки! Ох и попели они в застолье широких песен!

Ох и потерпели же от его острей, как калмыцкая стрела, мысли и Писемский, и Грибоедов, и Лев Толстой, и Чехов – всех он дотошно изучал, ко всем писал комментарии, примечания, предисловия, обо всех, неистово любимых, – статьи, эссе, многотрудные тома! Приезжая в Самару, в родовой наш дом, сработанный ещё прадедом Павлом, он обихаживал бабушек, приговаривая: «Святые старушки!..» – бегал на далёкий Татарский рынок за дынями, арбузами, солёными груздями, помидорами-огурцами – и варганил могучие салаты, куда въедливо, придиричиво



крошил – мелко-мелко, как выцарапывал свои буквочки в бесконечных рукописях – горы красивых, как с натюрмортов Ильи Машкова, овощей, заливал постным маслом и громогласно звал всех к столу: «Ешь, пока рот свеж!.. Заявнет – сам не заглянет!..» К тому времени он уже был возведён в ранг доцента Литинститута (и рьяно тряс головой: «Как можно научить писательству?!.. да никак и никогда!.. да кому что дано!..» – однако сам – *учил*, и его ученики – Юрий Кузнецов, Николай Рубцов – ему были: Юра, Коля, – и ворчал: «Коля славно пишет, славно... как у него: я забыл, как лошадь запрягают, я хочу её позапрягать... это точно сказано... а Юра загибает, перегибает... но в нём – жестокий Космос, жесткий, древний... послушай, нет, ты только послушай, милашечка: и сын воздел косую длань, подобную лучу... и сын сказал отцу: восстань! Я зреть тебя хочу!..»), и доцентуру опять отмечали шумным самарским застольем, пирогами – в полстола – с сомятиной и с вишнями, – и, восставая над столом во весь свой коренастый бетховенский, пушкинский рост, он восклицал, с рюмкой коньяка в руке:

– За моих студентов!.. За золотые перья русской поэзии, что обмакиваются в кровь!.. А вы знаете, что Юра Кузнецов намерен учудил?.. С шестого этажа общежития – вниз шагнул. И жив остался! Это он, озорник, Бога проверил: хочет ли Бог, чтобы Юра остался жить для русской литературы. Проверил: хочет!..

А рабочие, молодые ребята, что белили во дворе соседний дом и попутно, за плату, согласились старушкам святым дров напилить и наколоть, увидели – сидит лобастый мужик в окне, листы бумаги на подоконнике, что-то без конца карандашом карябает, – крикнули ему: «Ты что, писатель, что ли?» «Писатель», – ответил он, нимало не смутившись. «А вот какие романы ты написал?.. Что-то мы тебя нигде не читали», – не успокаивались ребята, перемигивались, стряхивали известку с роб. «Про Пушкина всё романы, – мрачно кинул он. – У вас кишка тонка их осилить». – «Э, да ты и не писатель! – разочарованно протянул один из парней. – Писатель – это тот, кто пишет романы. А если ты о других писателях пишешь, ты и не писатель вовсе! А так, притворяешься!.. К писателям – лепишься!.. Писатель должен о жизни писать. О нас! Чтоб нам про себя интересно читать было!» Он рассвирепел. Выбежал во двор в майке, вспотевший, перепачканный чернилами. Пнул в ярости поленницу дров – она рассыпалась восковыми, золотыми искрами. «А вы пилить не умеете!.. А рубить и подавно! Дайте, покажу, как!» До вечера он пилил бревна и на дубовом пне рубил дрова. Пот летел с голого лба в разные стороны. Потом, уже к ночи, мокрый как мышь, он пошёл на Волгу, взял лодку и плыл, на ночь глядя, против течения, в сторону Сокольных гор, Жигулей. И орал на всю реку: «А слева по борту!.. А справа по борту!..»

Высоцкий был его другом. Демидова была его другиней. Его почти-тельно пригласили сидеть в худсовете Театра на Таганке, ибо, когда Любимов ставил «Гамлета» и «Вишневый сад», выше и ценнее Ерёмина не было для него советчика. Высоцкий – с гитарой – выходил в чёрных спортивных трико к самой рампе, обводил маленький зал бешеным взором. Так же бешено глядел, как и дед. Я считала, что Высоцкий на деда даже похож, только, конечно, моложе и на лицо глаже; и голос такой же хриплый. Это был Гамлет? А может, парень из соседнего двора? Он жёстко и огненно бросал во тьму зала: «На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси». Я думала, что эти стихи сам Высоцкий-Гамлет и написал. Я ещё не читала Пастернака. Чья-то рука выбрасывала из круглого кулисного окна



белого петуха со связанными ногами, и петух оголтело кукарекал, возвещая новый день. Дании? России? «Вся Дания – тюрьма». Приплыв в Нижний из Москвы на пароходе и поднимаясь по крутому Почтовому съезду, дед, возрев на домики Каширина и кучкующихся вокруг него послушно-стадных туристиков, возопил, не хуже, чем тот гамлетовский петух: «Го-о-орький! Пролетарский писатель!.. Алёша Пе-е-ешков!.. Досыта уже накормлены!.. Досыта!..» Экскурсоводица затравленно озиралась. Туристы напуганно приседали. Дед в своём великолепном, искреннем, роскошно-театральном сумасшествии доходил до высот эпатажа вполне шекспировских. Седые власы разметались. Он орал на всю улицу, сопротивляясь косности и мраку советской энтропии. Он был – русский король Лир. Гамлет Щигровского уезда. А когда мы добрались, с чемоданами, полными книг и рукописей, до печальной, без крестов, Крестовоздвиженской церкви на Краснофлотской улице, в пушкинские и шалыпинские времена – Ильинской, он завопил сначала из Рубцова: «Купол церковной обители яркой травой зарос!..» – потом, склонив громаду головы, прошептал из Блока: «Свобода, свобода... Эх, эх... без креста...»

После иных лекций в аудиториях Литературного института, на Высших литературных курсах, студенты выносили деда из аудитории – на руках. Триумф Ерёмина! Это было столь же непреложным понятием, константой, как закон Ома, эффект Допплера. В те годы в Литинституте разрешались вольнослушатели, и на ерёминские лекции стекался жадный народ из ВГИКа, Консерватории, ГИТИСа, Гнесинки, Пушкинского института, где азы русского языка познавали иностранцы. У деда имелся в запасе такой испытанный прием, чтобы во время лекции перевести дух и собраться с мыслями: он доставал из нагрудного кармана большой белоснежный носовой платок, настоящий пушкинский фуляр, и долго, смачно, с наслаждением, с расстановкой, задумчиво сморкался в белый шёлк. Эпическое сморканье плыло над классом колоколом, гонгом. Все терпеливо ждали. Профессор подходил к широкому окну, из-за платка, скомканного в кулаке, наблюдал деревья, прохожих, Тверской бульвар. Молчание сгущалось. Поднималось. И когда достигало края чаши и проливалось – он, быстрее молнии, оборачивался к аудитории и неистово вопил, воздымая кулак над головой:

– Пушкин никогда не плыл по течению! Каждым своим стихом, каждой строкою он кричал: «Я не инерция! Я – свобода!» Перечитайте «Когда для смертного умолкнет шумный день...» Вникните в смысл этих слов: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуюсь, и горько слёзы лью, но строк печальных не смываю...» А знаете, как у него было в рукописи?! В подлиннике?! В первой редакции?! «Но строк *постыдных* не смываю». А что значит – для Пушкина! – «постыдных»?! Есть Божий стыд, так же, как и Божий суд. И вспомните, как ярился он, рассуждая о толпе, радующейся похвосту гения на неё, толпу: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!.. Врете, подлец: не так, как вы: иначе». Иной и стыд. Он жжёт сильнее огня. Иная и свобода. Её ветер всё сметает на пути своём. И что бы ни говорили ему под руку хулителю его и его бездарные любители, сладко, сиропно кричащие на весь литературный околоток: «Солнце русской поэзии!.. Сюсю!.. Солнышко наше, школьно причёсанное!..» – он, отменяя лыственный мусор, поднимаясь над мышьявой беготней, свободно, весело и могуче пойдёт дальше – дальше – дальше! – по своему Голгофскому пути!

И – вниз с кафедры, прочь, вон из класса, скуластый, коренастый, с распатланными метельными волосами, сгусток пустынного, пророчьего

огня, Иоанн Креститель русского слова, – а за ним – катящимся горохом – куча мала потрясённых студентов, каждый из которых себя гением мнит уж никак Пушкина не ниже: «Михал Палыч!.. Михал Палыч!.. Вы – гений!.. Нам – кажется – что – вы – Пушкина – живьем!.. – знали...»

А он, остановясь, смеясь раскосыми ханскими глазами, добро улыбаясь, вдругорядь зычно сморкаясь в знаменитый фуляр:

– Поскольку я родился в тысяча девятьсот четырнадцатом году, я, милашечки, помню заседание царской Государственной Думы!..

Кто придумал про него эти строчки, перефразировав Пушкина:

Старик Ерёмин нас заметил  
И, в гроб сходя, благословил...

Нет, в гроб он не собирался! Никогда не собирался! Только истово, часами, вставши рано, молился по утрам перед родовыми иконами прабабушки моей Насти. «Милашечка, всё молюсь, чтобы мне, не смейся, умереть во сне. Лечь ввечеру – и уснуть. Навек. То-то благодать! Но такое успение, видать, лишь святым положено. А какой из меня святой? Никакой. То-то и оно. Знаешь такие стихи: лёгкой жизни я просил у Бога – лёгкой смерти надо бы просить?.. Иван Тхоржевский. И ведь забыть!.. забыт!.. а только эти строчки и помнят. Да напиши ты хоть горы стихов, воздвигни хоть башни Вавилонские летучих рифм! А из тебя люди запомнят не цветистую кудрявую витиеватость, не громады созвучий, не материки слов, а лишь самое простое, слёзное и насущное».

Профессора из Англии, пушкиноведы из Франции, университетские боссы из Принстона и Лос-Анджелеса роями кружатся и жужжат вокруг него, в надежде, что отломит им он от своего тайного пушкинского пирога хоть кроху, хоть кусочек, – а он в пост встаёт рано, едет в Измайлово или Елохов к заутрене, и рыбу, любимую рыбку свою, ест по православным предписаниям, во дни, когда сие разрешено, – к примеру, в Благовещение, – тонко, тонко отрезает кусочек от копчёного рыбьего брёвнышка, вспоминая родную Волгу, поминая её, матушку, широкую, любимую, в ожерельях «беляков», с серо-жёлтой холодной водичкой, и то, как на самарских пляжах грелся пацаном под белым безумным солнцем на белом кварцевом песке, и то, как с ночевой уходил с отцом, нашим прадедом Павлом, в Жигули за стерлядкой, за язями, как вялили язей потом, из тузлука вынимая и развешивая меж осокорей на крепких бечевах, как потрошили шук, вынимая из брюх топазовые горы икры, – пройдя огни и воды великой и жалкой земной жизни, он узрел Бога воочию, он видел Бога и говорил с Ним, как апостол Павел, – и так же, как апостол, имя коего носил его отец и носит теперь его сын, он готов повторять без устали – и в празднично-пыльном свете солнечной литературной кафедры, и в медовой, тёплой, поцелованной сотнею свечей, живой тьме родного храма:

*«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я как медь звенящая или кимвал бряцающий.*

*Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.*

*И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.*

*Любовь долготерпит, милосердствует... не гордится... не ищет своего... не радуется неправде, а сорадуется истине...»*

– ...истине, которую нам не поймать, как голубя, не сжать в немощных голодных руках, не умертвить! Потому что она живая, истина...

Помнишь картину Ге? Лысого Пилата? Тощего Христа?.. Его беззащитный, нежный жест?.. Истине не нужно защиты. Она без брони, без корки. Без кольчуги. Она могуча без огня и меча. Но мы её сказать не можем. Ибо всё уже сказано: неизречённым Духом Святым.

У него была на курсе девочка. Студентка. Маша Чекина. Поэт. Из Самары родом. Ей было двадцать шесть лет. Ему – шестьдесят пять. Она влюбилась в него – всею жизнью, больше жизни. Она посвятила ему эти стихи:

О жизнь, звезда и маятник,  
Взгляд – и биенье сердца!  
Не умертви, сжимая  
В своей ладони детской.

И вымыслом, и сутью  
В твоей руке везде.  
Мы днём верны минуте,  
А по ночам – звезде.

Читая мне Машины стихи, дед закрывал глаза ладонью и плакал.  
Я слышала раскачку неумолимого маятника.  
Я видела ночную звезду.

...он вымолил себе лёгкую смерть.  
Он умер так, как и мечтал: во сне.

Помолился на сон грядущий, прочитал вечернее правило, лёг в чистую холодную постель, на белые снеговые простыни, уснул и не проснулся.

И было ему от роду восемьдесят пять лет.

...он многих благословил жить в искусстве. И меня; и меня.

Когда я возвращалась к нему домой, на платформу Левобережную, где у меня на кухне, близ плиты, был свой кургузый родной диванчик, на котором ночевать можно было только ноги поджавши, грустным кузнечиком, – он открывал мне дверь, на пороге смеялся от радости, что я пришла-приехала наконец-то, а то все волновались, – и вопрошал меня, хитро щурясь, скуласто, хански-узкоглазо: «Девочка, ты чья?» А я тоже смеялась, отряхивала капюшон от снега и отвечала так же весело, это у нас семейная шутка была такая: «Да своя я, своя, дядя Миша, неужели не узнаёшь!»

И повисала у него на шее, и он крепко обнимал меня.

А потом мы пили на кухне горячее молоко и ели весьегонский мёд.

И лилась из бормотного радио музыка: Бетховен. «А Любочка и Верочка уже спят. А Павлик днем звонил. Экая бледная ты! Надо мне тебе на рынке клюквы купить».

...Я не рассказ, не эссе о нем написала: я лишь корявыми живыми строками поцеловала его и посейчас живой, в смертной памяти моей, в бессмертной любви моей, в Мíре Иномъ, весёлый, родной, сияющий, бугристо-смуглый, изморщенный войной, временем и мыслью, открытый всем ветрам, гениальный степняцкий лоб.

## Татьяна КРИНИЦКАЯ

Окончила Горьковский государственный пединститут (историко-филологический факультет, выпуск 1980 года). Работала в СМИ – корректор, корреспондент и обозреватель в газетах «Саров», «Саровская пустынь», «Городской курьер», «Новый город» и «Вести города», редактор информационного «Центра развития Саровского инновационного кластера».

Лауреат ряда всероссийских журналистских конкурсов, дипломант межрегионального литературного конкурса «За далью – даль» и международного литературного конкурса «Русский Гофман». Живет в Сарове.

## ЧЕЛОВЕК ДОЛГОЙ ДОРОГИ

*О книге Евгения Шишкина «Николай Булганин. Рядом со Сталиным и Хрущевым»*

Биографии реальных людей некоторым образом относятся к области истории. А история, по Николаю Михайловичу Карамзину, «есть священная книга народов: главная, необходимая; ...дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего».

Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей ... Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не разрушалось... История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим» (из «Истории Государства Российского»).

Недавно изданная книга Евгения Шишкина «Николай Булганин. Рядом со Сталиным и Хрущевым» (научно-популярное издание, М.: АФК «Система», 2022) начинается так: «История любит победителей, героев и негодяев. О них больше всего и ведётся речь. Но саму ткань истории, её фактуру – общественный устрой, экономику, политику, культуру – создают люди другого качества. Они не совершили громких подвигов (подвиг – это ведь только поступок, момент в историческом или даже житейском плане), они люди долгой дороги – это исполнители важных

решений, руководители разных уровней, дипломаты и учёные, военные и гуманитарии. Тот самый трудовой люд истории, которая подчас не хочет их замечать». «Николай Булганин...» – книга именно о такой «рабочей лошадке» истории, не совсем уж незаметном и не замеченном историей человеке, но недооцененном – уж точно.

Любая книга задумывается как способ поговорить о какой-то проблеме, идее, судьбе, личной драме. О чем беседует с читателем Евгений Шишкин в книге «Николай Булганин...»? О весьма и весьма значительном периоде истории нашей страны – большей части XX века, периоде пяти войн и трех революций, периоде перехода от «России с сохой» к «СССР с атомной бомбой». Герой Е. Шишкина – современник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, финской кампании, Великой Отечественной. Однако об этом периоде отечественной истории написано столько, что ввек не перечесть. Написано в той или иной степени компетентно, в той или иной степени объективно и эмоционально... Так что мы исторические события станем рассматривать лишь как декорацию для действий героя исследования Е. Шишкина.

...Тысячелетнюю православную традицию в российской культуре не замаскируешь ничем и никак – бесполезно и не нужно. Потому даже биографии реальных людей, будь они хоть семь раз безбожники и святотатцы (автор впрямую не упрекает в этом своего героя), пишутся по образу и подобию житий. Только если в житиях случается недостаток фактов, который камуфлируется общими местами и панегириками, то в биографической литературе – вот как в случае «Николая Булганина...» – фактов, причем достоверных, документально подтвержденных, – предостаточно; вместо духовных подвигов, как в житиях, упоминают, трактуют и оценивают реальные дела. В нашем случае – грандиозные!

Герой книги Е. Шишкина Николай Булганин – из наших, из нижегородских, а автор долгие годы работал в Нижнем, потому осведомлен прекрасно, насколько Нижегородчина щедра на незаурядных людей. Автор, словно под микроскопом, рассматривает своего героя и проходит с ним путь от ученика реального училища, конторщика (что это в современной трактовке – бухгалтер, экономист на предприятии? не последние, знаете ли, люди!). Затем – нечто вроде сотрудника транспортной милиции, сотрудник ЧК, начальник транспортной ЧК Туркестанского военного округа, затем – Москва... И – по экспоненте: председатель Моссовета, глава Государственного банка, председатель Совета министров РСФСР, министр обороны СССР... и – пенсионер, который вынужден (по разным причинам) выпрашивать у хама Хрущева квартиру, поскольку жить Булганину под старость лет оказалось негде. Е. Шишкин проводит читателя по нелегкой жизни своего героя, оставляя нам самим оценивать Булганина по делам его.

Н. Булганин из семьи староверов, старообрядцев. Повлияло ли происхождение на личность Булганина? Е. Шишкин рассматривает это со многих точек зрения. Автор упоминает и клановость старообрядцев, и их коммерческую жилку... А еще – умение приспособливаться (триста с лишним лет гонений и притеснений), но до неких пределов. Цитируем: «Всё, что касалось царской власти, стиралось с лица земли. За памятниками пошли храмы и монастыри: их закрывали, разбирали, взрывали. Были уничтожены Страстной монастырь, Никитский, частично Зачатьевский, Златоустовский, Сретенский и многие другие. Те, что не стирались с лица земли, закрывались, и в “освободившихся” зданиях размещались какие-нибудь культурные организации, а также



склады или производства. Был ли причастен к разрушению памятников и храмов Н.А. Булганин? Разумеется, был!» И что мог сделать в этом положении Н.А. Булганин? Только промолчать... Ну, может, что-то защитить, схитрить и саботировать ликвидацию той или иной позиции при реконструкции города. Но принципиально пойти против не мог. А посему: к варварскому сносу – причастен. «И всё же это была какая-то коллективная ответственность. Сам же для себя Булганин мог отстоять только личное пространство». И в этом его личном пространстве сдвинуть его с прародительских принципов не представлялось возможным: «И примером тому этот факт. В 30-е годы атеист Хрущёв предложил семье Булганиных переехать на дачу в подмосковное село Огарево. Там по распоряжению Хрущёва перестроили для этой цели церковь. Получилось две квартиры, одну из которых заняли Хрущёвы. Булганин всячески сопротивлялся переезду и так и не переехал. Дочь Хрущёва Рада в своих воспоминаниях по этому поводу сказала: «Видимо, побоялись осквернить храм, хоть и пустующий».

Евгений Шишкин с безгливостью рассмотрел версию рождения своего героя. «По мнению некоторых нижегородских краеведов, будто бы Николай Булганин является внебрачным сыном купца Николая Александровича Бугрова». Миллионщика Бугрова. «Владельца заводов, газет, пароходов» – а если серьезно, то владельца лесов, речного флота и громадного мукомольного производства, а по выражению А.М. Горького, «удельного князя Нижегородского». Ну да, нехотя признает Е. Шишкин, есть такая версия... Ну что ж, раз она есть, рассмотрим...

Ни одного резкого слова автора в адрес сплетников и любителей «клубнички» в книге я не увидела. Однако увидела сожаление, что неистребимо в людях досужее любопытство и желание заглядывать в чужие кошельки и постели. Хотя так и слышится авторское: мели, Емеля, твоя неделя, или: на чужой роток не накинешь платок. И, как может, Е. Шишкин отстаивает доброе имя матушки Николая Булганина.

Чуть ранее мы упомянули об участии Николая Булганина в разрушении московских храмов, монастырей, памятников архитектуры. И как бы в противовес автор подробно рассказывает, как в 1930-е годы директор Булганин в Москве наладил производство двух московских заводов, а затем, став председателем исполкома Моссовета, участвовал в реконструкции столицы, строительстве Московского метрополитена. Это были надёжные ступеньки к дальнейшему подъёму по карьерной лестнице. Его избрали кандидатом в члены ЦК ВКП(б) и председателем Совета народных комиссаров РСФСР. Автор так трактует каторжную работу Булганина: «Историю вспять не поворотить, прежнюю войну не отменишь. Но и у любой войны есть конец. Что ж делать-то, люди добрые? Жить дальше! Это как после пожара: надо разобрать пепелище и заново строить дом. Делать то, что за тебя никто никогда не сделает. Такова русская доля. Бороться, воевать, созидать, учиться. Хотя здесь только мои слова да суждения, в жизни всё больнее, жесточе, слёзнее... И всё же русское общество, народ, кто-то сознательно, кто-то вынужденно, кто-то полусознательно, полувынужденно, ринулся, именно ринулся возрождать страну». Вот автор и подчеркивает, что карьера карьерой, а его герою всегда – всегда! – было «за державу обидно». И снова характеристика от Е. Шишкина на Булганина-руководителя: «На поприще председателя Моссовета проявились главные качества Булганина как управленца и политика – он отлично умел исполнять поставленные перед ним задачи, не пускаясь в споры,



не пытаясь демонстрировать собственные амбиции. Он ещё обладал одним удивительным качеством: не был злопамятен и умел достойно, без скандалов, справляться с критикой в свой адрес. кому-то казалось, что это слабость его натуры. но в жизни, по факту, получалось, что эта слабость оборачивалась в нужный момент безотказной силой. Гибкий, адекватный политик, не интриган, не карьерист. С философией исполнителя и подчинённого».

Каково ему давалась эта самая адекватность, мы можем только предполагать: об эмоциях в архивных документах, ссылками на которые изобилует книга «Николай Булганин. Рядом со Сталиным и Хрущевым», не написано. Автор прослеживает карьерный путь Н.А. Булганина, который, по его словам, стал возможен – отчасти – благодаря сталинским «чисткам» конца 1930-х годов. Так, летом 1937-го он вошел в кабинет председателя правительства РСФСР, но принимать дела было не у кого – его предшественника Д.Е. Сулимова арестовали накануне. Часть кабинетов правительства России пуста – обитатели арестованы. С кем работать? Булганин создает команду, только кто ж ему гарантирует, что и из нее не станут вытаскивать кадры?! Никто... Кроме того, родственники Булганина из Горьковской области (г. Бор) были репрессированы. Родня наверняка просила московского чиновника заступиться, посодействовать, помочь... Он был бессилен.

Председателем правительства РСФСР Булганин пробыл немногим более года. Этот пост был для него трамплином в номенклатуру союзного уровня. Не запачкался кровью. Назначен заместителем председателя правительства СССР и председателем Госбанка.

Вот на этой-то должности Николай Александрович развернулся!.. На этой должности он был на месте. Предложил усовершенствование кредитной системы СССР. Видел он также и то, что экономику поднимать надо не только приказными мерами, не только волонтаристскими. Умный, сведущий в политике и экономике, Булганин понимал, скорее всего, порочность системы и в ней самой заложенный ее крах. Но – работал, работал, работал. Таким его автор и представляет читателю: делай что должен, и будь что будет.

Самое страшное испытание страны и каждого ее гражданина в XX веке – Великая Отечественная...

Мы помним, что подзаголовок книги Е. Шишкина – «Рядом со Сталиным и Хрущевым». Так вот, о Сталине: автор своего героя вовсе не щадит, пишет нелицеприятно и резко: «Позднее, уже после войны, в 1949 году, будучи в качестве министра обороны, Булганин в горячке угодливости так обрисует приезд Сталина на Западный фронт: “Товарищ Сталин лично руководил всем ходом каждой операции...”» и дополнительно цитирует Георгия Константиновича Жукова: «Конечно, Сталин понимал, что это далеко не находка для Вооружённых Сил, но ему он нужен был как ловкий дипломат и беспрекословный его идолопоклонник. Сталин знал, что Булганин лично для него может пойти на всё». Он был нужен Сталину для реформы армии.

Итак, Е. Шишкин пишет о Булганине – министре обороны СССР. И вновь – не без ехидных свидетельств: «Приведу подтверждение из воспоминаний всё того же Кагановича: “После войны министром обороны стал Булганин, который не умел ездить на коне, а парады на автомобилях ещё не принимали. Стал Николай Александрович Булганин учиться ездить верхом, и за этим занятием его как-то увидел Сталин. Посмотрел, посмотрел и говорит: “Ты сидишь на лошади, как начальник

военторга”. Наездник и рубака из Н.А. Булганина не вышел, и это, наверное, для него было очень хорошо...» С одной стороны, может, и сидел Булганин на коне, как собака на заборе. Но с другой – что-то не позволяет безоговорочно поверить. Булганин в молодости служил в Туркестане. Да, в транспортной ЧК, но в 20-е годы XX века железнодорожные рельсы там были проложены не везде. Так что верхом, полагаю, ему немало пришлось отмахать. Вновь процитируем: «Но в транспортном ЧК он был не последним человеком, и басмачей, должно быть, врагов новой власти, повидал немало. Скольких он “погромил”, ему только известно – думаю, как это происходило, никому узнать уже не удастся.

Многие историки с язвительностью, обычно мимоходом, когда Н.А. Булганин станет министром обороны СССР, будут говорить, что он был исключительно гражданским человеком и никогда не служил... Это не совсем так: служба в ЧК приравнивалась к службе в армии. Да и без оружия чекисты никуда не ходили. Другое дело – боевые действия. Но ведь и на железной дороге хватало бандитов, спекулянтов, воров, саботажников, шпионов. Там всё время “играли с огнём”...» И далее: «Однако пока скрыта вся конкретика: где, в каких операциях принимал участие Булганин, находясь на Туркестанском фронте. Доступ ко всем архивам ЧК невозможен. Где-то они и вовсе уничтожены – особенно в азиатских регионах. А где-то ещё засекречены. Но, со слов Кагановича, наверняка Булганину приходилось участвовать и в подготовке боевых действий, в оперативных, следственных мероприятиях, и миндальничать там не позволялось». В связи с этим – да, впрочем, и с анализом Е. Шишкина деятельности своего героя – вспоминается фраза из любимого в юности «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких: «Если бог берется чистить нужник, пусть не думает, что у него будут чистые пальцы...»

«Булганин в тот период готов был терпеть, ему было обещано место председателя Совета Министров, а ещё к юбилею “замаячила” Звезда Героя Социалистического Труда... Звезда долгожданная. Другие-то маршалы все со звёздами... (Пусть это будут мои вольные размышления о тщеславии Николая Александровича. Думаю, от реальности они не далеки.)» – это Е. Шишкин о 1955 годе, когда Звезду Булганину дали. А вот далее... В 1957 году карьера Николая Булганина пресеклась. Е. Шишкин пишет о незаслуженном забвении Булганина – председателя Моссовета: «В общем-то, “московская” судьба благоволила Н.А. Булганину. А вот последующая история, после его отставки и выхода на пенсию, оказалась с ним несправедлива. Имя его всячески затиралось. Есть известная книга “История Москвы” под редакцией С. С. Хромова. Там, несмотря на то что в булганинский период в столице произошли грандиозные перемены и Булганин был на острие этих перемен, о нём упомянуто лишь вскользь и всего один раз, мол, был такой председатель Моссовета... Впрочем, в указанном издании “История Москвы” И.В. Сталин, Л.М. Каганович, Н.С. Хрущёв и вовсе не упомянуты. Даже вскользь» (издана в 1980 году. – Т. К.). «Даже вскользь» – это да... Это по-нашему!.. Однако мне одной кажется, что миновали времена, когда о России говорили, что это страна с непредсказуемым прошлым?

Евгений Шишкин со сдержанной злостью и иронией рассказывает о закате карьеры «Николая III», намеренно выбирая самые жёсткие высказывания современников: от свата адмирала Кузнецова – через высказывания массы иных государственных мужей – до певицы Га-

лины Вишневской, которую стареющий волокита Булганин называл своей лебединой песней. Вновь, словно нехотя, приводит скользкие факты, которые нельзя обойти, – амурные похождения Булганина-ловеласа: шлюшки-балеринки, Галина Вишневская, «фронтовая жена» – баптистка... Так ведь был мóлодцу не укор! Пишет Е. Шишкин о реальном человеке, а белых ангелов среди нас не водится. Но сам он формулирует это в строгой, сдержанной тональности, присущей всей книге: «Впрочем, рассуждать о пристрастиях и слабостях исторического персонажа – дело неблагодарное. Исторических персонажей не по этой шкале ценят».

Кстати, об оценках: историк Андрей Полонский так оценил время, в которое жил и работал государственный деятель, уроженец Нижегородской губернии Николай Александрович Булганин: «В сталинской России была сделана попытка преодоления человеческой природы, попытка, которая не только увлекла весь современный ей мир, но и поставила Россию в центр истории. Это был невиданный порыв – почти всегда с военным напряжением, жестокими жертвами, религиозным горением производственных подвигов, полным и окончательным отрицанием равнинного течения жизни – под страхом расстрела. XX съезд уничтожил прежде всего это ощущение осмысленной жертвы, невиданной страсти, накала решающей исторической битвы. И “реальный социализм” в СССР оказался обречен».

Евгений Шишкин: «Очень жаль, что Николай Александрович не оставил после себя мемуаров... Булганин был, безусловно, историческим деятелем. На самом острие судьбоносного XX века».

## О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

*О романе Елены Арсеньевой «Лукавый взор»*

«От героев былых времен / Не осталось порою имен». Вот именно так зачастую и обходится история с героями. А по простым действующим лицам она и вовсе шагает не задумываясь, втаптывая их в небытие.

...Вот, скажем, Троянская война – в истории человечества первая, пожалуй, о которой дошли сведения. Слепой поэт рассказал историю о долгой осаде небольшого приморского городка – она даже не записана! Так что осталось в поэме-истории от героев древности? Два-три десятка главных действующих лиц: царь Приам и его супруга, плодovitая Гекуба. Трагедия их дочери Кассандры. Противостояние их сына Гектора и полубога Ахилла. Мошеннические проделки Одиссея, царя Итаки, и патовая ситуация царя Менелая, супруга прекрасной Елены. Похититель Елены Парис... Ну, плюс еще несколько персонажей. От остальных – а их были тысячи – действительно даже имен не осталось.

Со времени Отечественной войны 1812 года прошло двести с лишним лет. Всего двести или уже двести? А много ли осталось имен? Ну-у-у... значительно больше, чем, скажем, со времен великой Смуты на Руси. Или с Полтавской битвы... Память героев Отечественной войны 1812 года золотом выбита на плитах в храме Христа Спасителя. Все имена? Нет...

Просто замечательно, что во все времена находились люди, которые понимали, насколько важно о них рассказывать, и копали, копали завалы истории, чтобы «поднять» заслуживших не забвения, а славы и поклонения.

Недавно нижегородский писатель Елена Арсеньева опубликовала новый роман «Лукавый взор». Это история о работе сотрудников дипломатической миссии Российской империи во Франции, в Париже, накануне и после Наполеоновских войн. Не самый значительный (по чинам) сотрудник – «Дмитрий Видов, секретарь при посольстве Российской империи в Париже» спешно покидает французскую столицу, оставляя Жюстину, возлюбленную. Как оказалось впоследствии, в интересном положении. Дмитрий по трагической случайности умрет в дороге, а его невеста выйдет замуж за преданного поклонника Филиппа Бовуара. Фразы – Евфросиния – Видова-Бовуар вырастет, и судьба сведет ее с русским гусаром, а затем и агентом Иваном Державиным, ставшим журналистом и редактором бульварного листка Жаном Араго, любовью всей ее жизни. Об их совместной службе во славу и во благо России, о тайных операциях против врагов империи заговорщиков-шляхтичей – этот роман.

Как определить жанр произведения? С одной стороны, на электронных ресурсах его обозначили любовно-историческим романом. С другой – все не так однозначно: он и военно-исторический, и приключенческо-авантюрный с легким налетом мистики, и любовный. А по мне так увлекательнейший боевичок на историческом материале. На материале, заметим, отечественной истории. И не просто с использованием исторической канвы и упоминанием полудюжины исторических персонажей, но – что особенно значимо – на основе архивных материалов; не с пошлой эксплуатацией любовной линии «для связки слов в предложении», а с яркой, страстной, а где-то печальной историей любви. («Он погибнет в Красноярске через год. Она...») Фактуру для книги Е. Арсеньева «накопала» в парижских архивах.

И, как любая хорошая книга, «Лукавый взор» чрезвычайно злободневна.

Скажите, мол, этот ваш «Лукавый взор» – низкий жанр, боевик. А вы попробуйте, как Арсеньева, легко – о сложном, глубоком и трагичном.

Скажите, мало ли этого добра – боевиков – издается! Да, довольно. Однако давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Ведь боевик «Лукавый взор» – хороший боевик, канонический, можно сказать! Завязка романа – события, происходящие за двадцать с лишним лет до основных. Эти самые основные события – не что иное, как описание работы агента под прикрытием. С «говорящими» деталями, с иронией (а где-то и откровенной насмешкой!), со знанием быта и нравов описываемого времени: Финал в стиле «наши победили» (триумфально победили!). И – спокойный, как Волга, эпилог.

В тексте же романа – и погони, и дуэли, и подлые убийства, и отчаянная любовь. А еще – начатки технологий «цветных революций» (мы же упоминали, что роман «Лукавый взор» злободневен), дипломатические игры, угроза терроризма в отношении первых лиц государства и так далее.

Человечество меняется, не меняясь. Те же войны, те же шпионы – от «Одиссеи» и до Елены Арсеньевой. Вот и в книге «Лукавый взор» – всё то же самое, но образца 1804–1832 годов. Ну любит читатель рыцарей плаща и кинжала и с интересом читает о них. Однако неубиваемый «Бонд, Джеймс Бонд» в сравнении с Араго – просто двумерный картонный персонаж, правда, расчетливо, грамотно и агрессивно раскрученный и распиаренный. Можете, конечно, поспорить, но перечитайте Йена Флеминга и прочтите Арсеньеву.

Подкупает еще и то, что «Лукавый взор» не просто написан на материале отечественной истории, но сугубо в положительном ключе – нечастое явление в современной российской литературе. Кстати, есть об этом и в самом романе:

Евфросиния Дмитриевна воспитывала сына и дочь, держала литературный салон и прославилась своими трудами в области изящной словесности. Ее перу, в частности, принадлежал приключенческий роман «Лукавый взор», написанный под псевдонимом Фрази Араго. Роман привел в восторг читателей, но критики бранили его за избыточное русофильство (оно в России среди так называемой образованной публики никогда не было в моде!) и посмеивались над некоторыми эпизодами, которые сочли выдуманными и неправдоподобными, хотя в них не было ни слова лжи.

История Елены Арсеньевой просто обречена на успех у читающей публики. Плюс ещё один момент – неизвестный герой Иван Державин –



Жан-Пьер Араго. О представителях этой профессии необходимо рассказывать, особенно в такие моменты, как сейчас.

А вот теперь о том, что поначалу слегка задело при чтении. Польская линия в романе. Русские-то персонажи в романе как на подбор «белые и пушистые», «без страха и упрека», в отличие от антигероев. Однако сложно, знаете ли, воспитываться интернационалистом, иметь литературных друзей в Польше, всю сознательную жизнь читать Ярослава Ивашкевича, Тадеуша Новака, Александра Минковского, Игоря Неверли, да того же Болеслава Пруса – и получить в качестве ушата ледяной воды на доверчивую головушку описание зверской расправы шляхтича над русской крестьянкой Катериной от Елены Арсеньевой!.. И не только эта сцена – садизм Юлиуша Каньского, вероломство его сподвижников, безнравственность, беспринципность и утробная ненависть к России и русским... Наши западнославянские «небратья» в «Лукавом взоре» однозначно – на темной стороне.

Но именно в этом жанре подчеркнутая поляризация не просто на руку, а в плюс роману. И держим в уме, что характеристики героев и антигероев, безусловно, право автора, а архивные материалы и документы (мы уже упоминали об этом) – аргументация сильная.

...И вспомнился свой эпизод. Нет, нас в польском Решеле не били, не пытали, не обижали и не унижали, но истинное отношение к русским некая пани выразила. Итак, тот майский день тянулся медовой ниткой. За окном автомобиля мелькали рапсовые поля, миленькие городки и хутора. К Решелю, намотав на колеса не одну сотню километров, мы зверски оголодали. Ввалились в кафе на центральной площади – пахло упоительно: журеком, жареной рыбкой, травами, свежим хлебушком и кофе. Ура! А вот и не срослось... Немолодая хозяйка заведенница, услышав русскую речь, сощурилась, поджала губы и заявила, что кормить нас не станет – у нее через час заканчивается рабочий день, а наши хотелки готовить дольше. И пусть панове поищут здесь же, на площади, другое кафе. Когда через полтора часа мы, сытые, выпали из соседней пиццерии, ревнительница трудового кодекса и не думала закрываться... К нам относились в Польше и совсем по-другому, буду честной, но эпизод в Решеле ну никак не забывается!

Побежденные почувствуют себя обиженными этим великодушием «царя дикарей» – чрезмерным, даже с их точки зрения, великодушием. ...Кичливый галльский петух не сможет выдержать такого оскорбления. Его гордыня непомерно уязвлена, и эта язва будет саднить – чем дальше, тем сильнее. Память о том, как он потоптал почти всю Европу, словно слабую курочку, но был заклеван... Так постепенно народы Европы – и побежденные, и те, кто был с нами союзниками, – будут поглощены ненавистью к нам, великодушным победителям. Вряд ли скоро Европа решится огнем и мечом воевать с нами вновь,

– пишет Е. Арсеньева в романе «Лукавый взор». Ну да, за двести с лишним лет, минувших со времен Отечественной войны 1812 года, много всего случилось. Балканские войны, франко-прусские, две мировые войны. Мои коллеги-журналисты ерничают, что дорогие наши европейские (и, увы, не только) соседи призрастились к опасному для жизни и здоровья спорту – «танцам на граблях», или «подразни медве-



дя в берлоге». И вот они – бодро, радостно и весело – раз в 50–70–80 лет идут на Россию «с мечом». А далее все ожидаемо происходит в соответствии с цитатой, приписываемой князю Александру Ярославичу Невскому.

Вот очень хочется спросить: ребят, что ли вы не видите, у моей страны, кроме прочих, есть еще одна миссия – особо зарвавшихся разжालовать из великих держав. Вспомним: XVII век – Польша, XVIII век – Швеция, XIX век – Турция, XX век – Германия.

Кто-то сильно хочет стать следующим? Вот вам оно это надо?

А пакостничать, как наши дорогие небратья 9 Мая в Варшаве, – мелко и грязненько.

Только что им еще остается?

...Такие вот соображения возникают по прочтении романа нижегородки Елены Арсеньевой «Лукавый взор».

Вот казалось бы – любовно-исторический роман, боевичок. Только зря, что ли, А.С. Пушкин написал: «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок»?

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

**О. А. Рябов**

ШЕФ-РЕДАКТОР

**Андрей Иудин**

МАКЕТ

**Арсения Костромина**

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

**Анатолий Гришин**

КОРРЕКТОР

**Лев Зелексон**

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**Павел Басинский (Москва)**

**Владимир Безденежных**

**Валерия Белоногова**

**Николай Бенедиктов**

**Дмитрий Бирман**

**Диана Кан (Новокуйбышевск)**

**Елена Крюкова**

**Захар Прилепин**

**Андрей Рудалёв (Северодвинск)**

**Роман Сенчин (Екатеринбург)**

**Евгений Эрастов**

## ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

**Олег Беркович**

**Сергей Горин**

**Олег Захаров**

**Людмила Калинина**

**Владимир Седов**

**Наталья Суханова**

**Надежда Шевелилова**

## УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

**ООО «КНИГИ»**

Адрес редакции и адрес издателя:  
603057, Нижний Новгород,  
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»  
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции  
или по электронной почте:  
[jurnalnn@yandex.ru](mailto:jurnalnn@yandex.ru)

Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и библиографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен  
по заказу  
правительства  
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий  
и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 05.08.2022.  
Выпущено в свет 26.08.2022.  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 21.  
Тираж 800 экз. Заказ  
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,  
428019, Чувашская Республика,  
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13



«КНИГИ»  
НИЖНИЙ НОВГОРОД  
2022